РОССИЙСКИЙ ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТРУДЫ ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И СОЦИОЛОГИИ

Выпуск 12

Европейский университет в Санкт-Петербурге
Факультет политических наук и социологии

Российский гендерный порядок: социологический подход

Коллективная монография

Санкт-Петербург · 2007

Авторский коллектив: Е. Здравомыслова, А. Роткирх, И. Тартаковская, А. Темкина, О. Ткач, Ж. Чернова

Ответственные редакторы: Е. Здравомыслова, А. Темкина

Издание осуществлено при финансовой поддержке фонда Форда

Российский гендерный порядок: социологический подход : Коллективная монография / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной — СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — 306 с. — (Труды факультета полит. наук и социологии; Вып. 12).

ISBN 978-5-94380-060-3

В книге представлены концептуальные и методические разработки, выполненные в рамках образовательной программы «Гендерные исследования» факультета политических наук и социологии ЕУСПб. Авторы знакомят читателей с такими категориями, как гендерный порядок, патриархат, гендерное неравенство, гендерная власть, гендерный контракт, предлагают концептуальную рамку социологического анализа гендерных практик. Анализируется советский гендерный порядок и тенденции его трансформации в постсоветском российском обществе. Авторы предлагают различные методики качественного исследования гендерных отношений.

ISBN 978-5-94380-060-3

© Кол. авторов, 2007
© Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 7

Глава 1. Теоретические подходы в гендерных исследованиях 9

Социальное конструирование гендера как методология феминистского исследования (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 9

Гендерная теория практик: подход Р. Коннелла (*И. Тартаковская*) 34

Объединительный (структурно-конструктивистский) подход в гендерных исследованиях (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 56

Патриархат и «женская власть» (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 68

Глава 2. Советский и постсоветский гендерный порядок 96

Советский этакратический гендерный порядок (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 96

Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания (*Ж. Чернова*) 138

Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России (*А. Роткирх, А. Темкина*) 169

Неотрадиционализм(ы) — трансформация гендерного гражданства в современной России (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 201

От лицемерия к рационализации: трансформация дискурсивного режима сексуальности (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 213

Глава 3. Качественные методы исследования гендерных отношений 227

Анализ нарративного интервью: реконструкция биографической работы (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 227

Категоризация взаимодействий: конструирование гендерной идентичности в сексуальной сфере (*Е. Здравомыслова, А. Темкина*) 250

Изучение истории семьи как стратегия качественного исследования (*О. Ткач*) 265

Библиография 289

Сведения об авторах

Здравомыслова Елена — кандидат социологических наук; доцент (Европейский университет в Санкт-Петербурге), содиректор Программы гендерных исследований, координатор исследовательских проектов Центра независимых социологических исследований; zdrav@eu.spb.ru.

Тартаковская Ирина — кандидат социологических наук; старший научный сотрудник ИСИТО (Институт сравнительных исследований трудовых отношений), ведущий научный консультант ИСГП (Институт социальной и гендерной политики), содиректор Гендерного центра Самарского Государственного Университета; i_tartakovskaya@mail.ru.

Темкина Анна — Ph.D. (социальные науки); доцент (Европейский университет в Санкт-Петербурге), содиректор Программы гендерных исследований; temkina@eu.spb.ru.

Ткач Ольга — магистр социологии (Европейский университет в Санкт-Петербурге); научный сотрудник Центра независимых социологических исследований; tkach@eu.spb.ru.

Чернова Жанна — кандидат социологических наук; научный сотрудник Программы гендерных исследований; nota@eu.spb.ru.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге представлены концептуальные и методические разработки в рамках образовательной программы «Гендерные исследования» факультета политических наук и социологии ЕУСПб. Авторы знакомят читателей с такими категориями, как гендерный порядок, патриархат, гендерное неравенство, гендерная власть, гендерный контракт, предлагают концептуальную рамку социологического анализа гендерных практик. Анализируется советский гендерный порядок и тенденции его трансформации в постсоветском российском обществе. Предлагаются также различные методики качественного исследования гендерных отношений.

В первой главе анализируются социологические теории гендерного порядка. В ней представлены основания социально-конструктивистского и структурно-конструктивистского подходов. Гендерные стратегии и практики действующих лиц рассматриваются во взаимовлиянии со структурными условиями. Обсуждается категория патриархата и власти подчиненных (женская власть) как неотъемлемая составляющая системы гендерного неравенства.

Во второй главе авторы исследуют советский и постсоветский гендерный порядок. Рассматриваются этапы развития гендерного порядка в условиях советского общества, формирование базового контракта «работающая мать» и его трансформация, гендерная политика в отношении отцовства. Советский гендерный порядок описывается как этакратический, т. е. определяемый гегемонией государственной политики и идеологии в формировании гендерных практик. Авторы рассматривают неотрадиционалистские тенденции постсоветской трансформации, а также диверсификацию современных гендерных моделей и контрактов. Социальная организация сексуальных отношений анализируется как существенная характеристика гендерного порядка. Прослеживаются противо-

речивые тенденции изменения дискурса о сексуальности в постсоветский период.

В третьей главе представлены методики качественного анализа разных аспектов гендерных отношений. Первая из них может быть использована для реконструкции биографического опыта, вторая применяется для изучения гендерной идентичности, третья дает возможность изучать процессы социальной мобильности с учетом гендерного подхода.

Авторы благодарят Фонд Форда, при поддержке которого появилась данная коллективная монография. При подготовке этой публикации неоценимыми явились обсуждения и консультации с коллегами по сообществу. Поддержку нам оказали С. Айвазова, Д. Асратян, Т. Барчунова, О. Воронина, В. Воронков, Е. Гапова, Т. Герасимова, В. Голофаст, Т. Гурко, Т. Жданова, С. Жеребкин, И. Жеребкина, Г. Зверева, О. Здравомыслова, Л. Кабанова, Т. Клименкова, Н. Козлова, И. Кон, А. Клецин, И. Клецина, Е. Кочкина, Е. Лагунова, Ю. Лернер, М. Лильестрем, О. Липовская, М. Маколи, Е. Мезенцева, Е. Мещеркина, И. Новикова, Е. Омельченко, И. Освальд, Л. Попкова, Н. Пушкарева, Г. Рахманова, М. Риттер, А. Розенхольм, П. Романов, Й. П. Руус, М. Середа, А. Усманова, В. Успенская, С. Ушакин, Э. Хаавио-Маннила, З. Хоткина, С. Шакирова, Н. Шахназарян, О. Шнырова, Л. Штылёва, И. Юкина, С. Ярошенко, Е. Ярская-Смирнова. Мы признательны женским организациям, с которыми сотрудничали и связи с которыми продолжаются. Наши исследования на разных этапах поддерживали Фонд Д.и К. Макартуров, Фонд Форда, Фонд Карнеги, Фонд Г. Бёлля, Женская сетевая программа Фонда «Открытое общество», Финская Академия Наук. Мы благодарны за сотрудничество московскому Центру гендерных исследований, гендерным центрам Самарского, Тверского и Харьковского государственных университетов, Европейского гуманитарного университета в Минске, Армянской ассоциации «Женщины с высшим образованием». Мы благодарим также всех аспирантов программы, без которых эта работа не была бы возможна.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Социальное конструирование гендера как методология феминистского исследования[1]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

Задача статьи — представить социологические основания одного из феминистских подходов, получившего название теории социального конструирования гендера. Сначала данный подход будет рассмотрен как феминистская критика эссенциализма в интерпретации полов и как когнитивная практика феминистского движения, затем будут проанализированы его теоретические основания и главные положения.

Социальное конструирование гендера как феминистская критика

В «Энциклопедии феминизма», опубликованной в 1986 году, социальный конструктивизм определяется в самом общем виде как «представления, что статус женщины и кажущееся естественным различие между мужским и женским не имеют биологического происхождения, а, скорее, являются способом интерпретации биологического, легитимным в данном обществе» (Tuttle 1986: 305).

Положение о том, что отношения между полами социально сконструированы, основано на отрицании биологического де-

[1] Версии данного параграфа опубликованы в сборнике «Женщина. Гендер. Культура» (под ред. З. Хоткиной, Н. Пушкаревой, Е. Трофимовой. М., 1998. С. 46—65), в «Социологическом журнале» (2001. № 3—4. С. 171—182), в учебном пособии «Введение в гендерные исследования» (Ч. 1. Под ред. И. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 147—173).

терминизма. Сторонники теории социального конструирования гендера подвергают сомнению тот факт, что отношения в обществе, складывающиеся между полами, являются дериватами принадлежности к биологическому полу, что все социальное биологически фундировано и поэтому считается *естественным и нормальным*. Тем самым они критикуют внеисторизм и эссенциализм (сущностную неизменность) сложившихся отношений между полами и социальными группами, различающимися по биологическим признакам.

Феминистские сторонники социального конструктивизма развивают свой подход в оппозиции к нескольким группам взглядов. Во-первых, они оппонируют так называемой позиции здравого смысла, во-вторых — основному руслу социальной теории, в-третьих — тем феминистским направлениям, которые мыслят гендер как культурные корреляты биологического пола. Феминистская критика представляет собой один из аспектов когнитивной практики женского движения второй волны, цель которого — объяснение несправедливости существующего гендерного порядка и выработка средств для его изменения.

Итак, феминистская теория оппонирует *здравому смыслу*, опирающемуся на позиции биологического детерминизма или фундаментализма. Природа человека, согласно этой позиции, имеет двойственный характер, иными словами — «все на свете делится на мужское и женское». Моральная дихотомия полов (Goffman 1997a) признается как основание разделения всей социальной реальности на мужскую и женскую не только в сфере биологического воспроизводства, но и в сфере культурного и социального (вос)производства.

В обыденных представлениях «анатомия — это судьба»; следовательно, в основании культурной интерпретации пола, возраста, этничности содержится некая биологическая сущность, аскриптивный (предписанный) статус. Половые роли сконструированы: и мужчины и женщины создаются, ими не рождаются — этот тезис, парадоксальный для эссенциалистов, отстаивают критики. Они утверждают, что не существует ни женской, ни мужской *сущности*. Биология — не судьба ни для мужчины, ни для женщины (ни для всякого *иного* — ребенка, старика); нет изначально заданного и навеки предопределенного женского/мужского вопреки предположениям «здравого

смысла». Все мужское и женское, молодое и старое создано в разных контекстах, имеет разные лица и наполнено различным содержанием опыта и разными смыслами.

Сторонники теории социального конструирования гендера выступили и *как критики основного русла социологических теорий,* большинство из которых эксплицитно или имплицитно содержит эссенциалистские предпосылки трактовки отношений между полами. Поясним это на примере таких классических направлений социальной теории, как марксизм, структурный функционализм и драматургический интеракционизм.

Логика марксистской социологии при всех вариантах приводит исследователей к утверждению, что гендерные отношения, т. е. отношения между полами, это один из аспектов производственных отношений, которые мыслятся как отношения эксплуатации. При этом разделение труда между мужчиной и женщиной рассматривается как первичное, необходимое для существования человеческого рода. «Вместе с этим (ростом потребностей. — *Авт.*) развивается и разделение труда, которое вначале было лишь разделением труда в половом акте, а потом — разделением труда, совершавшимся само собой или "естественно возникшим" благодаря природным задаткам (например, физической силе), потребностям, случайностям» (Маркс, Энгельс 1955: 30).

Э. Дюркгейм связывает изменение положения полов с общественным разделением труда и развитием цивилизации. В результате социального развития, считает он, «один из полов завладел эмоциональными функциями, а другой — интеллектуальными» (Дюркгейм 1991: 61). В основании диссоциации функций находятся «дополняющие друг друга (т. е. природные. — *Авт.*) различия» (Там же: 58).

Колоссальное влияние на осмысление отношений между полами имели труды Т. Парсонса, особенно его совместная монография с Р. Бэйлзом (Parsons 1949; Parsons, Bales 1955). Этот подход стал парадигмальным, получив название полоролевого. Согласно ему, женщина выполняет экспрессивную роль в социальной системе, мужчина — инструментальную. Экспрессивная роль означает, говоря современным языком, осуществление заботы, эмоциональной работы, поддержание психологического баланса семьи. Эта роль является монополией домашней хозяйки, относится к сфере ответственности

женщины. Инструментальная роль мужчины заключается в регуляции отношений между семьей и другими социальными системами, это роль добытчика и защитника. Типы ролевого поведения определяются социальным положением, ролевые стереотипы усваиваются в процессе социализации и интериоризации норм, или ролевых ожиданий. Правильное исполнение роли обеспечивается системой поощрений и наказаний (санкций), положительных и отрицательных подкреплений. При этом исходным основанием поло-ролевого подхода является имплицитное признание биологического детерминизма ролей, отсылающее к фрейдистскому представлению о врожденных мужском и женском началах.

Поло-ролевой подход оказался настолько востребованным в социологии, что и в его рамках, и за его пределами вплоть до настоящего времени используются понятия мужской и женской роли. Данный подход стал *общим местом* научных и повседневных обсуждений мужского и женского[2]. Как указывает австралийский социолог Р. Коннелл, биологическая дихотомия, лежащая в основе теории ролей, убедила многих теоретиков в том, что отношения полов не включают измерения власти, женская и мужская роли молчаливо признаются равнозначными, хотя и разными по содержанию (Коннелл 2000: 262).

Драматургический интеракционизм И. Гофмана считается источником социально-конструктивистской интерпретации гендерных отношений. Однако и в его работах можно усмотреть эссенциалистские тезисы. Половые различия, рассматриваемые им на уровне социального взаимодействия, воспринимаются как выражение естественной половой сущности индивидов. «Гендерная игра», осуществляемая в социальных взаимодействиях, становится естественным проявлением сущности (биологического пола) актеров, которая организована социально. Половые различия наделяются социальным смыслом в соответствии с принципами институциональной реф-

[2] В работе «Ролевая структура и анализ семьи» (Nye et al. 1976) «группа американских социологов приводит удивительный список ролей, которые они обнаружили в американской семье, включая "роль заботы о детях", "роль родственника", "сексуальную роль", "рекреационную роль", не говоря уже о ролях "добытчика" и "хранительницы очага"» (Коннелл 2000: 259).

лексивности (Goffman 1997a, 1997b). Гендерная институциональная рефлексивность рассматривается как встроенность гендерных стереотипов во все институты общества.

Итак, до распространения феминистской критики в 1970-е годы интерпретация полов в социологии в своем основании так или иначе содержала эссенциалистские принципы. Это касается и марксистской социологии, и структурно-функционального анализа, и социологии микроуровня. Социология практически всегда включала в свое поле рассмотрение отношений полов, которое зависело от общего теоретического подхода, пол при этом интерпретировался как аскриптивный (предписанный) статус.

Феминистский гендерный подход сформировался как критика представлений классической социологии о природе отношений между полами. В его рамках статус пола перестает быть аскриптивным. Гендерные отношения рассматриваются как социально организованные отношения власти и неравенства. Именно в рамках социально-конструктивистского подхода было сформулировано такое понимание гендерных отношений и определен предмет гендерных исследований.

Как указывает немецкая исследовательница Р. Хоф, те, кто изучает гендерные отношения, задаются прежде всего вопросом о значении, которое приписывается различиям между мужчинами и женщинами. Исследователи отрицают наличие причинной зависимости между мужской и женской анатомией и определенными общественными ролями, которая принимается как естественный порядок вещей. Общественная организация, в которой мужчины и женщины играют определенные роли, не может быть понята без анализа соответствующих властных систем (Хоф 1999: 42).

Кроме того, социальные конструктивисты оппонируют *предшествующим направлениям феминистской мысли*, противопоставляющим гендер полу как культурное — биологическому. Тезис о том, что «женщиной рождаются», подвергается критике уже Симоной де Бовуар в работе «Второй пол» (1949) (Бовуар 1997). Однако в феминистской литературе вплоть до начала 1970-х годов доминировало представление о том, что гендер является культурным коррелятом пола, в основании которого находятся природные (анатомические) характеристики. В контексте различения пола и гендера считалось, что

гендерная константа формируется у ребенка к пятилетнему возрасту. Дальнейшая социализация заключается лишь в обогащении базовой роли соответствующими опытами, посредством чего гендерная константа воспроизводится и укрепляется. Гендерная идентичность становится личностным атрибутом, который фиксируется и остается неизменным и неотчуждаемым. В этом смысле гендерная константа может быть с успехом уподоблена биологическому полу. Если гендер достигнут к пятилетнему возрасту и дальше уже не изменяется, то, по существу, он функционирует как аскриптивный статус.

Под влиянием социально-конструктивистской феминистской критики происходит проблематизация анатомических и других биологических оснований пола. Сомнение в том, что пол и гендер различаются как предписанный и достигаемый статусы, приводит к новой интерпретации этих понятий. Гендер определяется как причина и как результат повседневных взаимодействий, которые контролируются обществом.

Биологический детерминизм представляется феминисткам неприемлемым *по политическим мотивам*. Теория как когнитивная практика движения ориентируется на социальные изменения, т. е. на изменения гендерной стратификационной системы. Социальная теория призвана предоставить обоснование изменения гендерного порядка и соответствующих коллективных действий.

Социальный конструктивизм оказался той теорией, на основании которой стали концептуализироваться различия между разными категориями женщин и мужчин. Во второй половине 1980-х годов в рамках женского движения был подвергнут сомнению доминирующий тогда феминистский дискурс, — дискурс общности женского опыта страдания, или дискурс *женского универсализма*. Декларация женской общности, выражаемая обращением «сестра» и категорией «женщина», была поставлена под сомнение. На этом этапе вызов доминирующей феминистской позиции был обусловлен активизацией в движении и дискурсе цветных женщин, в том числе и чернокожих американок. Они определили весь предшествующий феминистский дискурс как обсуждение белыми женщинами, принадлежащими к среднему классу, своих проблем, не связанных с опытом женщин других этнических, социальных и религиозных групп. Частные опыты, утверждали они, имеют локальный

характер, его генерализация всегда приобретает идеологический смысл. Приписывание всем женщинам опыта американок, принадлежащих к среднему классу, интерпретируется как попытка белых женщин элиты утвердить свое дискурсивное господство над разного рода меньшинствами.

В ответ на доминирующий феминистский дискурс возникают национальные, локальные и этнические феминизмы. Иллюстрацией этой позиции является высказывание афроамериканской феминистки белл хукс, которая утверждает, что в большинстве текстов по женскому вопросу, написанных белыми женщинами, начиная с XIX века и до сих пор авторы пишут о людях (вообще), а имеют в виду лишь белых, при этом говорят «женщины», но имеют в виду белую женщину. Соответственно термин «черный» часто употребляется у них как синоним «черный мужчина». В монографии «Феминистская теория: от края к центру» в 1984 году белл хукс приходит к заключению, что в США белые мужчины являются угнетателями белых женщин, но вместе белые мужчины и белые женщины являются угнетателями всех черных (bell hooks 1984; см. также: белл хукс 2000); таким образом, система господства конструируется и воспроизводится на разных уровнях в рамках одной расы и между расами.

В основе нового представления цветных феминисток о гендерных отношениях лежит опыт депривации (обездоленности) определенных групп женщин, который не вписывался в сложившуюся парадигму. Меньшинства феминистского движения (цветные) оказались немыми, лишенными голоса в дискурсе феминизма. Политически осознанное *переживание и осмысление несправедливости* становится сильнейшим стимулом для формирования нового теоретического подхода. Единственная возможность стать видимыми и слышимыми для *других* женщин заключалась в переосмыслении теоретических оснований концепции, оставившей их опыт за пределами публичного дискурса, который, по Ю. Хабермасу, является дискурсом о справедливости и правах человека.

Итак, задачей новых сил феминистского движения конца 1980-х годов становится анализ значений, приписываемых *различиям мужского и женского* в разных контекстах, а также и изучение отношений власти, которые создаются социальными взаимодействиями. Исследователи осознали, что необходимо

прояснить основания существующих гендерных отношений, ответить на вопрос, как возможны гендерные отношения в данном обществе, каким образом они создаются, принимая вид естественных и имманентно присущих индивиду, группе, социуму. Если признать, что гендер сконструирован как общественные отношения властного взаимодействия, то можно поставить вопрос об изменении данных отношений. То, что встроено в социальный порядок, может быть не только проанализировано, но также подвергнуто сомнению и перестроено.

Теория социального конструирования гендера, как всякая феминистская теория, содержит политический мотив и ориентирована на политический результат. В этом смысле мы можем считать ее идеологией — т. е. ориентацией на социальные изменения. Сторонники этого подхода, в частности американская исследовательница Дж. Лорбер, утверждают, что необходимо построить новый социальный порядок, ибо существующий социальный порядок пронизан гендерными отношениями неравенства и базируется на них (Lorber, Farrell 1981). Социальный порядок будущего должен быть основан на принципе гендерного равенства. Это означает, что различия, в том числе и между полами, перестанут реализовываться как иерархические, как предполагающие разный статус и разные возможности.

Основные источники теории социального конструирования гендера

Чтобы прояснить суть той или иной специальной теории, надо показать ее место в современной социологии. Социально-конструктивистская интерпретация гендерных отношений не является автономной, она вырастает из более широкого постклассического социологического дискурса. Можно выделить по крайней мере три социологические теории, которые стали питательной почвой для формирования данного феминистского исследовательского направления.

Социально-конструктивистский подход П. Бергера и Т. Лукмана

Основной тезис теории П. Бергера и Т. Лукмана, изложенный ими в работе 1966 года «Социальное конструирование реальности» (Бергер, Лукман 1995), сводится к следующему. Со-

циальная реальность является одновременно объективной и субъективной. Она отвечает требованиям объективности, поскольку независима от индивида, и ее можно рассматривать как субъективный мир, потому что она постоянно созидается индивидом.

В середине 1960-х годов Бергер и Лукман поставили под сомнение господствующую американскую социологическую парадигму — парсонсианское представление о том, что́ есть социологическое (по)знание. Основой социологии как таковой они объявили социологию знания, что отражено в подзаголовке их книги: *трактат по социологии знания*. Социология знания возникла в 1920-е годы и рассматривалась прежде всего как изучение социального происхождения идей, концепций и теорий (Sheler 1960). Бергер и Лукман, вслед за К. Манхеймом (1994), расширяют это понимание. Они заземляют саму трактовку знания: для них сфера знания — это не только высокие сферы теоретических концептов, но и обыденное знание, т. е. весь запас навыков, опытов и стереотипов, которым оперирует человечество в мире повседневности. Таким образом интерпретированная социология знания суть социология *per se*, поскольку ее предметом оказывается происхождение и механизмы создания ныне существующего опыта и социального порядка.

В феминистском дискурсе эта теория приобретает сильные позиции во второй половине 1980-х годов. Феминистские исследователи ставят перед собой ту же самую задачу, что и авторы указанного выше трактата. Гендер для них — это повседневный мир взаимодействия мужского и женского, воплощенный в практиках, представлениях, предпочтениях бытования. Гендер — это системная характеристика социального порядка, от которой невозможно избавиться и от которой нельзя отказаться; она постоянно воспроизводится и в структурах сознания, и в структурах действия и взаимодействия. Задача исследователя — выяснить, каким образом создается мужское и женское во взаимодействии, в каких сферах и каким образом оно поддерживается и воспроизводится.

Рассмотрим аргументы в пользу нового подхода. С чем связано сомнение в том, что пол является врожденным и неизменным и что человеку можно однозначно приписать тот или иной пол? Первым вызовом такой позиции является гомосексуализм — и не столько сама практика гомосексуальных отноше-

ний, сколько изменение дискурса об однополой любви. Второй вызов — это обсуждение проблемы транссексуалов. Третий вызов связан с осмыслением новейших биологических исследований, согласно которым однозначное приписывание пола по хромосомным и генетическим признакам затруднителен. Все явления, прежде рассматривавшиеся как аномалии, болезни или перверзии, в постсовременном дискурсе нашли место как варианты нормы, как проявления многообразия жизни. Новые дискурсивные факты приводят феминистских авторов к выводу, что не только роли, но и сама принадлежность к полу приписывается индивидам в процессе взаимодействия.

Новый тезис заключается в том, что пол является социальным конструктом. Представление о социальном конструировании гендера существенно отличается от теории гендерной социализации, разработанной в рамках поло-ролевого подхода Т. Парсонса, Р. Бейлза и М. Комаровски (Komarovsky 1950; Parsons 1949; Parsons, Bales 1955). В центре поло-ролевой теории социализации — процесс научения и интериоризации культурно-нормативных стандартов, стабилизирующих социум. Научение предполагает усвоение и воспроизведение существующих норм. Подоплекой этого концепта является представление о личности как относительно пассивной сущности, которая воспринимает, усваивает культурную данность, но не создает ее сама.

Первое отличие теории конструирования гендера от традиционной теории гендерной социализации заключается в акценте на активность научаемого индивида[3]. Идея конструирования подчеркивает деятельностный характер усвоения опыта. Субъект создает гендерные правила и гендерные отношения, а не только усваивает и воспроизводит их. Он может и воспроизвести их, но он в состоянии и их разрушить. Сама идея *создания* подразумевает возможность изменения социальной структуры. То есть, с одной стороны, гендерные отношения объективны, потому что индивид их воспринимает как внеположенную данность, а с другой — они субъективны как социально конструируемые каждодневно, ежеминутно, здесь и сейчас.

---

[3] У Бергера и Лукмана термин «социализация» рассматривается неортодоксально — не только как процесс усвоения ролей, но и как процесс выработки новых правил.

Второе отличие обсуждаемого здесь подхода заключается в том, что гендерные отношения понимаются не просто как различие-дополнение, а как конструируемые отношения неравенства, в рамках которых мужчины занимают доминирующие позиции. Дело не только в том, что в семье и в обществе мужчины выполняют инструментальную, а женщины экспрессивную роль (Parsons, Bales 1955), а в том, что исполнение предписанных и усвоенных ролей подразумевает неравенство возможностей, преимущество мужчины в публичной сфере, вытеснение женщины в сферу приватную. При этом сама приватная сфера оказывается менее значимой, менее престижной и даже репрессированной в западном обществе периода модерна.

Гендерные иерархии (вос)производятся на уровне социальных взаимодействий. Факт «производства гендера» («doing gender») становится очевидным лишь в случае коммуникативного сбоя, поломки сложившихся образцов поведения.

Этнометодология Г. Гарфинкеля: случай Агнес как категоризация и осуществление гендера в повседневности

Концептуализация проблем гендерных отношений представлена анализом случая транссексуализма Агнес (Garfinkel 1967). Рассмотрим его подробнее. До восемнадцатилетнего возраста Агнес воспитывалась как мальчик, с рождения имея мужские гениталии. В 18 лет, когда сексуальные предпочтения и телесная идиома привели к личностному кризису, он(а)[4] поменяла идентичность и приняла решение стать женщиной. Наличие мужских гениталий она интерпретирует как *ошибку природы*. Эта «ошибка», по мнению Агнес, подтверждается тем фактом, что везде ее принимали за женщину, и сексуальные предпочтения, которые она испытывала, были предпочтениями гетеросексуальной женщины. Смена идентичности приводит к тому, что Агнес полностью меняет образ жизни: она покидает родительский дом и город, меняет внешность — стрижку, одежду — и имя. Через некоторое время Агнес убеждает хирургов в том, что ей

[4] С этого момента наш рассказ на русском языке затруднен в связи с гендерной заданностью родов существительных; язык предполагает использование мужского и женского рода, и мы не можем выйти за пределы данных дискурсивных структур.

необходимо сделать операцию по смене половых органов. Происходит хирургическая реконструкция гениталий. У нее появляется сексуальный партнер мужского пола. В связи с изменением биологического пола перед ней стоит жизненно важная задача – стать *настоящей женщиной*. Ей очень важно, чтобы ее никогда не разоблачили, – это залог ее признания в обществе, вписывания в рутину повседневности. Это задача, которую новая молодая женщина должна решить, не имея «врожденных сертификатов» женственности и изначально женских половых органов, не пройдя школу женского опыта, который известен лишь частично, поскольку во многом незаметен в материи человеческих взаимоотношений. Выполняя эту задачу, Агнес осуществляет постоянные действия по созданию и подтверждению новой гендерной идентичности. Именно эта стратегия становления настоящей женщины становится предметом анализа Гарфинкеля.

Случай Агнес, проанализованный в феминистской перспективе, позволяет по-новому понять, что́ такое пол (sex). Для того чтобы выяснить, каким же образом создается, конструируется и контролируется гендер в рамках социального порядка, исследователи аналитически различают три главных понятия: *биологический пол (sex), приписывание пола (категоризация по полу)* и *гендер* (Уэст, Зиммерман 1997).

Биологический пол – это совокупность биологических признаков, которые являются лишь предпосылкой отнесения индивида к тому или иному биологическому полу. Категоризация по полу, или приписывание пола в отношении индивида, имеет социальное происхождение. Наличие или отсутствие соответствующих первичных половых признаков не гарантирует того, что индивида будут относить к определенной категории по полу. Агнес сознательно строит собственный гендер, учитывая механизмы категоризации по признаку пола, действующие в повседневной жизни. Она все время пытается убедить общество в своей женской идентичности. Гарфинкель называет Агнес методологом-практиком и истинным социологом, потому что, попадая в проблемную ситуацию гендерного сбоя (gender trouble[5]),

[5] Термин «gender trouble» заимствован из книги Д. Батлер (который на русский язык переведен также как «гендерное беспокойство») (Батлер 2000).

она начинает осознавать механизмы «делания» социального порядка. Ее опыт, фиксируемый и анализируемый Гарфинкелем и его исследовательской группой, приводит к пониманию того, что социальный порядок держится на различии мужского и женского, т. е. гендерно сконструирован.

Различение биологического пола, категоризации по признаку пола и гендера позволяют исследователям выйти за пределы интерпретации пола как биологической данности, как *аскриптивного статуса,* противопоставленного гендеру — *достигаемому статусу.* Гендер мыслится как результат повседневных взаимодействий, требующих постоянного исполнения и подтверждения; он не достигается раз и навсегда в качестве неизменного статуса, а постоянно производится и воспроизводится в коммуникативных ситуациях. Одновременно это «культурное производство» скрывается и выдается обществом за проявление некоей биологической сущности. Однако в ситуациях коммуникативных сбоев факт «производства» и его механизмы становятся очевидными.

Процедура приписывания пола постоянно сопровождает повседневное человеческое взаимодействие. В пользу данного тезиса американские феминистские исследователи К. Уэст и Д. Зиммерман (1997) приводят другой пример «гендерного сбоя». Клиент-социолог приходит в компьютерный магазин и обращается к продавцу за консультацией. Однако он сталкивается с затруднением при коммуникации лицом к лицу, поскольку не может определить пол человека, к которому адресует свой вопрос. Рассказчик-клиент ощущает чрезвычайное неудобство от невозможности идентифицировать пол продавца-партнера по взаимодействию — он сталкивается с тем, что может быть названо «gender trouble». Покупатель-социолог осознает, что эффективная коммуникация по законам и нормам общества, в котором он живет, требует определения пола взаимодействующих. Он испытывает потребность в категоризации, необходимость отнести этого продавца к женскому или мужскому полу. В ситуации неопределенности в процессе взаимодействия возникает вопрос о критериях отнесения того или иного лица к категории пола.

Ситуация в магазине оставила клиента-исследователя в недоумении. Он не смог определить пол продавца, но сформулировал методологическую проблему. Ситуация коммуника-

тивного сбоя позволила зафиксировать потребность идентифицировать агентов взаимодействия по признаку пола, возникающую в процессе коммуникации. Когда пол того, с кем взаимодействуешь, известен, коммуникация работает. Если возникает проблема идентификации, коммуникация дает сбой. Таким образом, исследователи приходят к выводу, чрезвычайно важному для микросоциологии гендерных отношений, а именно: приписывание пола (категоризация по полу) является базовой практикой повседневного взаимодействия; она становится нерефлексируемым фоном для коммуникации во всех социальных сферах и избавиться от нее не представляется возможным. Категоризация по полу атрибутивна социальному взаимодействию. Когда она затруднена, возникает коммуникативный срыв.

Рассказ о продавце и покупателе — это нарратив о проблемной ситуации коммуникации, позволяющей различить пол и категоризацию по полу (или приписывание пола). Пол индивида далеко не всегда совпадает с той категорией принадлежности к полу, которая ему приписана. Если биологический пол определяется через наличие биологических признаков — анатомо-физиологических, то в ситуации взаимодействия лицом к лицу приписывание пола происходит по другим признакам.

Понять, каким образом конституируется категория принадлежности к полу в том или ином контексте, мы можем лишь если проанализируем механизмы работы той или иной культуры. Отсюда становится ясным, что гендерные отношения — это конструкты той культуры, в рамках которой они работают. Или, иными словами, эта работа культуры по приписыванию половой принадлежности и называется гендером.

Приведенное выше рассуждение позволяет конструктивистам сформулировать следующее понимание гендера. *Гендер — это система межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых категориях социального порядка* (Уэст, Зиммерман 1997).

Драматургический интеракционизм И. Гофмана: гендерный дисплей

В теории социального конструирования гендера ответ на вопрос, как создаются категории мужественности и женствен-

ности, дается на основании представлений символического (драматургического) интеракционизма И. Гофмана (Goffman 1997a, 1997b). Утверждая, что гендер созидается каждый момент, здесь и сейчас, исследователи приходят к выводу, что для понимания его оснований необходимо обратиться к анализу микроконтекста социального взаимодействия. Гендер в рамках этого подхода рассматривается как результат социального взаимодействия и одновременно — его источник.

Гендер проявляет себя как базовое отношение социального порядка. Чтобы осмыслить процесс строительства этого социального порядка в конкретной ситуации межличностного взаимодействия, Гофман вводит понятие *гендерный дисплей*. В коммуникации лицом к лицу обмен разного типа информацией сопровождается фоновым процессом созидания гендера (doing gender). По утверждению Гофмана, гендерный дисплей является основным механизмом создания гендера на уровне межличностного взаимодействия лицом к лицу.

Используя понятие «гендерный дисплей», конструктивисты вслед за Гофманом утверждают, что гендерные отношения невозможно свести к исполнению половых ролей, что механизмы гендера более тонки и что гендер нельзя сменить подобно платью или роли в спектакле, так как он сросся с телами агентов взаимодействия[6]. Дисплей — это многообразие представления и проявления мужского и женского во взаимодействии. Гендерный дисплей как представление половой принадлежности во взаимодействии (как спектакль) столь тонок и сложен, что его исполнение не может быть сведено к определенным репликам, костюмам, гриму, антуражу и т. д. В гендерном дисплее проявляется хабитус действующего лица. Эта виртуозная

---

[6] Феминистские тексты содержат много метафор, проясняющих смысл утверждений. Используем этот прием и приведем метафору. Миф о смерти Геракла сводится к тому, что герой надевает на себя плащ кентавра Неса, пропитанный ядом. Яд мгновенно проникает в тело Геракла, пытающегося в ужасных мучениях сорвать с себя плащ. *Напрасно! Плащ срастается с телом, его можно сорвать только с кожей.* Гендер в интерпретации Гофмана напоминает плащ Неса. Феминистки также подчеркивают не только неразделимость гендера и коммуникации, но и болезненность приписанного пола. Срывание плаща Неса — слом гендерной идентичности — всегда вызывает боль.

игра выучена актерами давно и стала неотъемлемой частью их жизни, поэтому она выглядит естественным проявлением их сущности — выражением не гендера, но естества (биологического пола). В этом и заключается загадка конструирования гендера — каждую минуту участвуя в маскараде представления пола, мы делаем это таким образом, что игра кажется нам имманентно присущей и отражающей нашу сущность.

Феминистские исследователи оппонируют, как уже было сказано, биологическому детерминизму и не считают гендерный дисплей выражением биологической сущности пола. Дисплей, явленный в многообразии жестов, мимической игре, а также в материально-вещном оснащении исполнения, не является продолжением анатомо-физиологического пола, поскольку он не универсален, а культурно детерминирован. Разные широты, разные истории, разные расы и социальные группы обнаруживают разные дисплеи. Различия гендерных дисплеев затрудняют сведение их к биологическим детерминантам, но зато заставляют обратить внимание на властное измерение отношений между полами, явленное в дисплее. Гендерный дисплей как механизм создания гендера на уровне взаимодействий должен быть «исполнен» таким образом, чтобы партнеры по коммуникации были правильно идентифицированы — как женщины или мужчины с уместным стилем и поведением в конкретной ситуации.

Для эффективной коммуникации в мире повседневности необходимо базовое доверие по отношению к тому, с кем происходит взаимодействие. Коммуникативное доверие зиждется на возможности идентификации, основанной на социальном опыте агентов взаимодействия. Быть мужчиной или женщиной и проявлять это в дисплее — значит быть социально-компетентным человеком, вызывающим доверие и вписывающимся в коммуникативные практики, приемлемые в данной культуре. Условием доверия (а значит, коммуникации лицом к лицу) является неартикулированное допущение, что каждое действующее лицо обладает целостностью, обеспечивающей постоянство, когерентность и преемственность в его действиях. Эта целостность, или идентичность, мыслится как основанная на некоей сущности, которая является в многообразии дисплеев женственности и мужественности, выражая принадлежность к полу и создавая возможность для категоризации.

Средства, которые используются в обществе для выражения принадлежности к полу, Гофман называет *формальными конвенциональными актами*. Формальные конвенциональные акты представляют собой модели уместного в конкретной ситуации поведения. Они построены по принципу «утверждение—реакция» и способствуют сохранению и воспроизводству норм повседневного взаимодействия. При этом предполагается, что исполнителями конвенциональных актов являются социально-компетентные действующие лица, включенные в данный социальный порядок, гарантирующий им защищенность от посягательств безумных (социально некомпетентных) индивидов. Примеры конвенциональных актов — контекстов гендерного дисплея — неисчислимы. Всякое ситуативное поведение, всякое *сборище* (*gathering*), по Гофману, мыслится как гендерно окрашенное. Официальная встреча, конференция, банкет — один ряд ситуаций; деловой разговор, исполнение работы, участие в игре — другой. Воспитательные практики, сегрегация в использовании институциональных пространств — еще одна группа примеров. Гендерный дисплей представляет собой совокупность формальных конвенциональных актов взаимодействия.

Осознание связи гендерных проявлений с контекстами эффективной коммуникации привело к использованию конструктивистами понятий *подотчетность* или *объяснимость* (accountability). Процесс коммуникации предполагает некоторое количество негласных допущений или условий, создающих возможности взаимодействия. Когда взаимодействующее лицо вступает в коммуникативный контекст, оно демонстрирует себя, сообщая о себе некую информацию, способствующую наведению коммуникативного моста, формированию отношения базового доверия. Начиная общение, коммуникатор представляет себя как лицо, которое должно вызывать доверие. Его дисплей — это рассказ о себе, отчет перед другими, который своей уместностью делает человека приемлемым для коммуникации. Дисплей — это сертификат, гарантирующий признание взаимодействующего лица как нормального, не нуждающегося в социальной изоляции и лечении.

Социальное воспроизводство дихотомии мужского и женского в гендерном дисплее гарантирует сохранение социально-

го и интерактивного порядка. Как только дисплей выходит за пределы подотчетности, как только перестает вписываться в общепринятые нормы бытования, его исполнитель попадает в ситуацию гендерной проблемы. Если женщина попробует стать тамадой в грузинском застолье, если в сегодняшней России мужчина-отец возьмет бюллетень по уходу за грудным младенцем при живой-здоровой матери, если мальчик в детском саду открыто выразит свое предпочтение игре в куклы — все эти персонажи столкнутся с сомнением общества в их социальной компетентности как мужчин или женщин. Это сомнение обусловлено тем, что их поведение не укладывается в созданные обществом нормы гендерного дисплея. Нарушение гендерного дисплея грозит остракизмом, но способствует формированию эмержентных норм[7].

Гофман полагает, что в ситуации взаимодействия гендерный дисплей работает как «затравка». Демонстрация принадлежности к полу предшествует исполнению основной практики и завершает ее, работая как переключающий механизм (scheduling). Исследователь считает, что гендерный дисплей является включением в более важную практику, выступая своего рода прелюдией к какой-то конкретной деятельности. Феминистские конструктивисты Уэст и Зиммерман критикуют Гофмана за недооценку *проникающей способности* гендера. Анализируя взаимодействия, они показывают, что явление половой принадлежности происходит не на его периферии, работает не только в моменты переключения видов деятельности, но пронизывает взаимодействия на всех уровнях. Такая вездесущность, всепроникаемость гендера связана в том числе и с дискурсивным строением речи.

Грамматические формы родов, присутствующие во всех письменных языках, закрепляют женственность и мужественность как структурные формы и создают базовую основу для исполнения партий мужчины и женщины в многообразных контекстах. Обозначение профессиональной принадлежности,

---

[7] Вспомним мадам Кукшину — непривлекательный образ эмансипе из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», противопоставленный истинно женственной Одинцовой. Стиль Кукшиной, сколько бы он ни осуждался писателем, давно утвердился в нашем обществе, расширив допустимые нормы проявления женственности.

снабженное гендерным маркером, — доктор и докторша, врач и врачиха — вызывают работу воображения, опирающуюся на опыт повседневности. Используя гендерные языковые формы, мы актуализируем представление о том, как должна себя вести женщина-врач и чего мы ожидаем от мужчины-доктора. То же самое можно сказать о любой социальной ситуации. Всякая реально существующая или виртуальная ситуация взаимодействия гендерно специфицирована, и избавиться от этого не представляется возможным. Для изменения такого социального порядка надо изменить не только практики повседневности, но и дискурсивные структуры языка, что пытаются делать радикальные феминистки.

Итак, необходимость производства мужественности и женственности коренится в представлениях о социальной компетентности участников взаимодействия. Это производство непрерывно, оно не сводится к ролевым исполнениям, но характеризует личность тотально и выражается в гендерном дисплее. Гендерный дисплей конвенционален и способствует воспроизводству социального порядка, основанного на представлении о мужском и женском в данной культуре. Данный тезис конструктивизма основан на микросоциологии социального взаимодействия и подтверждается исследованиями Гофмана, Гарфинкеля, Бергера, Лукмана и других социологов феноменологического направления.

Некоторые положения теории социального конструирования гендера

Гендер и власть

Одним из самых существенных тезисов феминистского конструктивизма является тезис об инкорпорированности властных отношений в гендерные различия. В основе гендерной организации социальной реальности, утверждают феминистские исследователи, лежат отношения власти. В современном обществе отношения мужского и женского — это отношения различия, сконструированного как неравенство возможностей. Асимметрия отношений подчеркивается гендерным дисплеем, который маскирует дискриминацию под различие. Большинство ситуаций взаимодействия демонстрирует разные шансы

для мужчины и женщины, причем в публичной сфере шансы мужчины очевидно выше. В западной литературе приводятся многочисленные доказательства данного тезиса. Так, анализ беседы с участием мужчин и женщин показывает, что женщина менее активна, больше слушает, меньше говорит. Анализ распределения рабочих мест демонстрирует, что женщины по преимуществу занимают исполнительские позиции неключевого характера в отношении принятия решений. То же самое относится и к сфере политики. Итак, начиная анализировать гендерные отношения на уровне межличностного взаимодействия в контексте формальных конвенциональных актов, феминистские исследователи говорят о том, как конструируется гендер на макроуровне социальных институтов.

Анализ социального производства пола показывает, что гендерные отношения представляют собой отношения стратификации. Таким образом, конструктивистский взгляд на гендерное измерение взаимодействия приводит к методологически обоснованному отказу от двух предшествующих концепций социально-половых различий — концепции социальных (гендерных) ролей и концепции психологических половых различий.

С точки зрения конструктивистов гендер нельзя мыслить как социальную роль. Роли ситуативны и в принципе сводимы к набору операций. В одной ситуации эта роль может быть ролью врача, в другой — супруга (или супруги), в третьей — спортсмена (или спортсменки). При этом гендерная вариация присутствует в исполнении каждой из ролей. Гендер оказывается квазиролью, пронизывающей все остальные ролевые спецификации и являющейся базовой идентичностью, на которую нанизываются все другие роли. В этом отношении гендер — это категория, подобная *этничности*, она точно так же является контекстом исполнения конкретных ролей.

Гендер нельзя свести и к совокупности психологических черт личности (соответственно мужских или женских). Сторонники конструктивизма утверждают, что психологизация гендера препятствует анализу того, каким образом социальные институты становятся гендерно-специфицированными. Гендерные отношения как социальные отношения неравенства по признаку пола встроены в социальный порядок таким образом, что приписывание психологических черт является лишь аспектом этих отношений.

Итак, гендер — это не роль и не совокупность психологических черт, а базовая идентичность. Гендерные отношения — это отношения стратификации, в основе которых лежат отношения власти. Различие мужского и женского сконструировано как неравенство возможностей.

Сферы конструирования гендерных отношений и задачи конструктивистского анализа

Данная методология предполагает формулировку соответствующих исследовательских задач. Прежде всего необходимо выяснить *ресурсы создания гендера.* Если мы рассматриваем гендер как постоянно создаваемое взаимодействие, то следует рассмотреть те средства, которые могут быть использованы обществом для создания иерархических отношений мужского и женского. Необходимо исследовать весь набор практик взаимоотношений между людьми с точки зрения ресурсов, которые сознательно и бессознательно используются для получения преимуществ и определения своего места в обществе. Предметом анализа феминистских конструктивистов является создание гендера в разных сферах социальной жизни — публичной и приватной. Приведем несколько примеров.

Публичная сфера условно дифференцирована на политический, экономический и символический миры. Каждый из них продуцирует отношения между полами. В сфере оплачиваемого труда области для анализа гендерного маскарада многообразны: мир рабочих мест и профессий; мужские и женские сферы занятости; квалификационная иерархия в рамках одной или нескольких профессий. Гендерная стратификация означает различие в количестве и содержании жизненных шансов социальных мужчин и женщин, а также в их стратегиях. Даже в рамках одного и того же набора профессиональных действий мы сталкиваемся с трудно артикулируемым различием в стиле мужского и женского исполнения — с гендерным дисплеем. Соответственно задача исследования — выяснить, как стилевые особенности влияют на шансы изменения социальной позиции.

В сфере политики мы также можем рассмотреть гендерное измерение. Здесь важны не только цифры, иллюстрирующие соотношение мужчин и женщин в электоральном поведении и подсчет результатов голосования мужчин и женщин за разные партии. Для конструктивистов важны диспозиции в полити-

ческой элите, ходы политических карьер, механизмы компенсации дефицитов власти за счет ресурсов гендерного маскарада. Построение имиджа политического лидера-мужчины как супермена (например, В. Жириновский) и использование обаяния как козыря в политической карьере женщины (И. Хакамада) — в арсенале ресурсов создания гендера в политических отношениях (Темкина 1996).

Средства массовой информации воспроизводят и усиливают образы гендерного мира. Они создают однозначно относимую к тому или иному полу и заряженную сексуальностью символику. СМИ используют символический капитал в производстве гендера. Образы супермужчины и суперженщины, Барби и Шварценеггер, феминистки и традиционные женщины создают диапазон возможных выборов и показывают, каковы шансы мужчин и женщин в управлении порядком.

Гендер утверждается вербально. Феминистские культурологи, пытающиеся реформировать «гендернопораженный» язык, прослеживают, каким образом он создает и воспроизводит дискриминационный дискурс.

Приватная сфера предоставляет еще одну сферу создания гендерного порядка. Семья, дружеские отношения, сексуальность, отношения заботы — это сферы, где феминизм видит квинтэссенцию женского опыта и одновременно источник подавления женщины. Подавление связано с вытеснением женщины в домашний мир в контексте модернизационного проекта. *Дом* как категория является миром женщины и в традиционном обществе, и в обществе периода модерна. Как он устроен, какое место занимает в социуме в целом, какое место в *мире дома* занимает мужчина — все это становится предметом анализа гендерных практик данного общества.

И наконец, соотношение приватной и публичной сферы в данном социуме является ключевым для конструирования власти в отношениях между полами. Например, неразвитая публичная сфера ведет к кризису традиционной маскулинности, которая не в силах реализоваться в чуждой ей приватной сфере — нищей и бедной, но традиционно занятой женщинами, и прежде всего женщинами старшего поколения (Здравомыслова, Темкина 2000б).

Еще одно исследовательское поле — *рекрутирование гендерных идентичностей*. Это понятие приходит на смену понятию

поло-ролевой социализации. Последняя подвергается критике еще и потому, что предполагается социальный консенсус по поводу поло-ролевой дифференциации. Социальные различия полов рассматриваются как справедливые и предполагающие взаимодополнение. При этом вне рефлексии оказывается социальное неравенство. Недаром Гофман, перефразируя Маркса, писал, что не религия, а гендер является опиумом для народа: мужчина современного капитализма, страдающий от подавления в разнообразных общественных структурах, всегда найдет женщину, выполняющую функцию заботы и обеспечивающую уход, — женщину, которая является обслуживающим персоналом по призванию (Goffman 1997a: 203).

Однако устойчивость гендерного консенсуса подвергается сомнению новыми образцами социального развития, в том числе и практикой феминистского движения. Люди творят свой гендер, изменяя отношения. Чтобы понять, зачем и каким образом они создают *новый гендер*, следует произвести анализ рекрутирования социальных идентичностей (в том числе гендерных).

Д. Кахилл описывает опыт дошкольников, используя эту модель (воспроизведенную Уэстом и Зиммерманом), но приходит к выводу, что смысл самоприписывания пола для ребенка заключается в идентификации себя как социально-компетентного субъекта. Ребенок называет себя соответственно мальчиком или девочкой прежде всего для того, чтобы быть взрослым в глазах других людей. Оппозиция детского и взрослого, безгендерно и гендерно специфического может быть проанализирована на примере игры дошкольников. Вначале дети младшего дошкольного возраста идентифицируются окружением как маленькие, в единственном числе они обозначаются словом «ребенок». В какой-то момент в процессе взросления они отказываются от своей идентификации с ребенком — с нерациональным, социально-некомпетентным существом. Перед ребенком открыты возможности идентифицироваться с группой через отнесение себя к категории по полу: можно называться (стать) либо мальчиком, либо девочкой. Характерный пример: девочка семи лет каждый раз в общественном транспорте, когда о ней говорят: «Осторожнее, здесь ребенок», отвечает без запинки: «Я не ребенок, я девочка».

Такой же пример приводит Кахилл, анализируя следующую ситуацию. Ребенок в группе дошкольников играет с ожерельем

и надевает его на шею, пытается примерить, но хочет, чтобы этого никто не видел. Этот ребенок — мальчик. Подходит воспитательница и говорит: «Ты хочешь это надеть?» Мальчик говорит: «Нет, это носят девочки». — «Но это носит и король», — отвечает воспитательница. Ребенок возражает: «Я не король, я мальчик». Суть аргумента Кахилл в том, что роль мальчика выбрана в данном случае сознательно; этот молодой человек рекрутируется в категорию по признаку пола, потому что он хочет использовать ресурс компетентности, хочет быть взрослым. Для того чтобы стать взрослым, для того чтобы стать существом, принадлежащим к этому социальному порядку, он может быть только мужчиной или женщиной (см.: Уэст, Зиммерман 1997).

Возможности конструктивистской интерпретации гендерного порядка приводят к переформулированию теории социализации в категориях рекрутирования (конструирования) гендерной идентичности.

Итак, теория социального конструирования гендера основана на аналитическом различении биологического пола и социального процесса приписывания пола (категоризации по признаку пола). Гендер при этом рассматривается как работа общества по приписыванию пола. Таким образом, гендер может быть определен как отношение взаимодействия, в котором проявляются мужское и женское, воспринимаемые как естественные сущности. Гендерное отношение конструируется как отношение социального неравенства. Если исходить из теоретической посылки о конструировании гендера, то становится возможным выдвинуть положение о его реконструировании и изменении. Отношения между мужским и женским, представления об этих отношениях могут изменяться. Гендерный дисплей может быть средством и подтверждения, и разрушения установленного гендерного порядка. Для того чтобы обеспечить возможности социального изменения, необходимо контекстуализировать отношения неравенства между явленными представлениями о сущностно мужском и женском.

Представление о гендере как социальном конструкте предполагает, что и пол, и гендер, и сексуальность производны от социального контекста. Социальная реальность гендерных отношений структурирована другими социальными отношениями, значимыми для воспроизведения существующего социального порядка. Эти отношения складываются по критериям

приписывания расы (этничности) и класса. По утверждению английских социологов Х. Энтиас и Н. Ювал-Дэвис, говорить отдельно о классе, гендере, этничности и расе неэвристично, потому что каждый контекст обусловлен синергетической связью этих категорий. Гендер, класс и раса (этничность) создают синдром социальной идентичности. Так, например, черные мужчины и черные женщины подавляются белыми женщинами и белыми мужчинами; при этом в семьях низшего класса черные женщины могут доминировать над черными мужчинами. В азиатских культурах мы увидим иное отношение между полами, чем в европейских (Anthias, Uuval-Davis 1983).

Контекстуализация гендерных отношений является не только теоретической, но и политической позицией. Конструктивизм позволяет избежать гегемонии белых женщин среднего класса в феминистском дискурсе и практике феминистского движения. Представляется, что методология социального конструирования гендера в высшей степени продуктивна для исследования гендерной проблематики в российском контексте.

Гендерная теория практик: подход Р. Коннелла

(И. Тартаковская)

Статья посвящена анализу работ Р. Коннелла — одного из самых известных и влиятельных гендерных теоретиков. Он предложил свою версию структурно-конструктивистского подхода к изучению гендерных отношений и обогатил гендерные исследования, в частности, такими понятиями, как «гендерный порядок» и «гендерные режимы», ныне чрезвычайно широко употребляемыми. Хотя полностью ни одна из его работ до сих пор не переведена на русский язык, они достаточно хорошо известны в России и их часто цитируют (Воронина 2004; Кон 2002; Мещеркина 2002; Ушакин 1999; Чернова 2002, и др.) Критический анализ взглядов исследователя был предложен, пожалуй, лишь в одной небольшой публикации (Здравомыслова, Темкина 2000б). Своей статьей автор надеется хотя бы частично восполнить этот пробел и пригласить к методологической дискуссии, основанной на идеях этого австралийского ученого, несомненно важных для развития гендерной теории в России.

«Теория практик» и ее отличие от предыдущих подходов

Хотя Р. Коннелл по сей день остается активно работающим автором и регулярно публикует новые статьи и книги, наиболее известной является его работа двадцатилетней давности, носящая название «Гендер и власть. Общество, личность и сексуальная политика» (Connell 1987). Прежде чем перейти к изложению своих идей, Коннелл предлагает в этой работе весьма подробный анализ сложившихся подходов к изучению полового различия. Он представляет панораму гендерных тео-

рий, позволяя сориентироваться в логике их развития, в их возможностях и недостатках. При этом автор отходит от традиционных классификаций теоретических моделей, которые обычно основываются на различении эссенциалистского и феминистского подходов, и указывает на существование четырех основных парадигм анализа гендерных отношений: марксистской парадигме, парадигмам поло-ролевого и категориального подхода и, наконец, «теории практик».

Нет необходимости здесь подробно останавливаться на описании этих парадигм, тем более что именно эта глава знаменитой работы и была переведена на русский язык (Коннелл 2000), однако стоит отметить, что во главе угла этой классификации лежит не столько способ объяснения причин гендерного неравенства, сколько сама логика теоретизирования. В первом случае это адаптация классового анализа, причем применимость основных категорий этого анализа для целей гендерной теории оказывается весьма проблематичной. Во втором случае это применение (и упрощение) положений структурно-функционального подхода, который здесь не вполне успешно выполняет свою задачу, поскольку опирается на биологические основания в интерпретации различий полов, никак их не проблематизируя и не имея, таким образом, возможности объяснить, как и почему происходят изменения гендерных порядков. На критике третьей парадигмы, которую Коннелл обозначает придуманным им самим термином «теория гендерных категорий», или «категориальный подход», он останавливается особенно подробно. К этой парадигме оказалась отнесена группа различных по своему содержанию теорий (включая и биологический детерминизм) и многие направления радикального феминизма второй волны (в том числе теория гендерной системы Г. Рубин и теория воспроизводства материнской заботы Н. Ходоров).

Критикуя феминистскую теорию патриархата как образец категориального подхода, Коннелл тем не менее не отказывается от употребления этого понятия; в частности, он указывает на то, что при существующем гендерном порядке мужчины получают «патриархатные дивиденды». Многие авторы критиковали теорию патриархата как единой системы и высказывали серьезные сомнения в ее полезности (Acker 1989; Anthias, Yuval-Davis 1992; Ashwin, 2000). Однако мало кто отдавал себе отчет в том, что отмена теории патриархата в известной мере

означает разрыв с идеей гендера как такового — конечно, не в качестве основания для социального разделения общества, а в качестве атрибута категорий людей с определенными половыми характеристиками. Как пишет Д. Райли, гендер становится относительной переменной, актуализирующейся в данных исторических и социальных условиях и конструируемой в рамках определенных дискурсов (Riley 1988). Таким образом, гендер можно считать переменной, имеющей разное, в зависимости от ситуации, социальное значение; иногда она может быть и иррелевантна как объяснительная категория. Например, понятие «женщины» является историческим и социальным конструктом, наполненным разным смыслом в различных дискурсивных ситуациях. В рамках этого общего понятия отдельные и различные женщины могут обладать совершенно разным статусом и вкладывать в понятие «быть женщиной» разные смыслы (Riley 1988: 1–2).

И тем не менее это не означает, что женщины как таковой «не существует» и что гендер не имеет онтологического базиса. Скорее, можно говорить о том, что использование понятия «гендер» в качестве универсальной социальной переменной не только (и не столько) позволяет увидеть новые измерения социальности, сколько трансформирует наше представление о ней. И поэтому для аналитических целей было бы полезнее не считать гендер универсальным референтом, а сфокусировать внимание на том, в каких случаях этот референт может быть успешно применен, а в каких — нет.

Таким образом, в качестве четвертой парадигмы Коннелл представляет свой подход как теорию практик и выделяет в них, следуя традиции, «три источника и три составные части»: во-первых, теорию практики (praxis), сформулированную в русле философской критики ортодоксального марксизма; во-вторых, дуалистскую теорию отношений между структурой и практиками, предложенную теоретической социологией (так называемая объединительная парадигма, связываемая прежде всего с именами Э. Гидденса и П. Бурдье); и в-третьих, контекстуальный анализ идентичности, личного действия и межсубъектных отношений, предлагаемый социальной психологией. Последний может быть легко переформулирован в терминах конструктивистской микросоциологии («doing gender»).

С социологической точки зрения важно, что модель Коннелла, будучи ориентирована в первую очередь на описание *практик*, т. е. действий конкретных людей, не теряет из поля зрения также уровень институтов и социальной структуры общества в целом. В ее рамках выделяются гендерные режимы, определяющие правила гендерного поведения и взаимодействия в отдельных институтах, и гендерный порядок, который регулирует эти отношения в масштабах данного общества. Под «обществом» Коннелл «по умолчанию» понимает то или иное национальное государство, но он также подчеркивает, что существует и мировой гендерный порядок, роль которого становится все более и более заметной.

Взаимоотношения между различными уровнями гендерной системы

Надо сказать, что отношения Коннелла со структурализмом и самим понятием социальной структуры во всех его работах остаются не простыми. С одной стороны, для него чрезвычайно важен тезис об исторически преходящем существовании любой социальной структуры. Более того, он постоянно подчеркивает, что люди своими практиками, своей деятельностью способны изменять гендерный порядок и бросать ему вызов, и, собственно говоря, свою задачу как теоретика он видит как раз в том, чтобы снабдить движение за гендерное равноправие необходимыми научными идеями, на базе которых оно могло бы действовать. Заключительные параграфы всех его основных работ носят выразительные названия: «Стратегии», «Формы действия», «Политики изменения маскулинности» и т. п. (Connell 1987: 280—286; 1995: 238—241; 2000: 197—211). Вместе с тем, по мере того как он в своих «структурных описаниях» поднимается от уровня анализа индивидуального поведения до деятельности макросоциальных институтов, его логика становится все более и более структуралистской.

Он пишет о том, что существует множество подходов к пониманию того, что́ представляет собой гендерная система. В общем и целом они сводятся к попыткам описать некую метаструктуру, определяющую формы гендерных отношений в данном обществе. Однако, как напоминает Коннелл, сам концепт «социальная структура», несмотря на свое фундаментальное

значение для социальных наук, является довольно туманным. Его использование простирается от сложных, продуманных моделей Пиаже, Леви-Стросса и Альтюссера до гораздо более распространенных случаев, когда «структурой» называется все, что соответствует некоему различимому паттерну. Большинство работ, написанных о гендере, явно тяготеет ко второй разновидности. Авторы часто приходят к смутной идее о том, что гендерные отношения подчиняются некоему общему порядку, но мало проясняют, что же это за порядок (Connell 1987: 92–94).

Понятие структуры как фундаментального типа отношений, который не присутствует в социальной жизни, но незримо лежит в основании всей сложности интеракций и институтов, является общим для всех видов структурализма в социальных науках. По мнению Коннелла, это большой шаг вперед по сравнению с простейшими дескриптивными представлениями о структуре, но он же порождает и серьезные теоретические проблемы, что проявляется, в частности, в леви-строссовской теории родства. Главная трудность, выявленная в ходе двух десятилетий критики структурализма, связана с его основанием на логике, несовместимой с представлением о практике как сути социальных процессов, и соответственно с последовательной историчностью в социальном анализе. Без историчности же политика изменений становится нереальной, что вызывает особенно решительную критику Коннелла.

Для того чтобы отделить свое понимание структуры от классического структурализма, Коннелл пытается расстаться с самим этим термином и вводит вместо него понятие «композиция», в смысле музыкальной композиции, которая может исполняться по одним и тем же нотам, но со значительными вариациями. Различными также могут быть партии, сыгранные разными инструментами социального оркестра. Коннелл подчеркивает, что гендерные режимы различных институтов обычно соответствуют общему для них гендерному порядку, но могут и «импровизировать», отличаться (таким образом, речь скорее всего идет о некой джазовой композиции). Правда, надо сказать, что, предложив эту красивую метафору, Коннелл в дальнейшем практически перестает ею пользоваться и незаметно возвращается к терминам «структура» и «система» (Connell 1987: 116–117) (от которых, впрочем, в последних своих работах тоже практически отказывается).

Если обратиться теперь собственно к структуре гендерных отношений, то наиболее родственными Коннеллу авторами, по его признанию, оказываются представительницы марксистско-психоаналитического феминизма Дж. Митчелл и Г. Рубин. И та и другая предлагают свои варианты описания гендерной структуры, или гендерной системы, общества (сам Коннелл пользуется то одним, то другим термином), которые базируются на институте родства как кросскультурном базисе полового неравенства. Их подход к структуре, основанной на родстве, опирается на классический труд К. Леви-Стросса «Элементарные структуры родства», в котором невероятное разнообразие собранных этнографами и историками материалов сводится к универсальной базовой системе обмена (Levi-Strauss 1969 [1949]). Леви-Стросс описал ее как обмен женщинами, происходящий между группами мужчин, и принял это описание за основание общества как такового. Для Митчелл и Рубин этот обмен лег в основу подчинения женщин.

Однако «система пол/гендер», предложенная Рубин, не устраивает Коннелла тем, что она зиждется на одном-единственном основании: на отношениях родства, — и тем самым не может объяснить многие другие виды гендерных отношений, никак не сводимые к родственным. Более продуктивным ему представляется подход Митчелл, которой принадлежит идея о том, что структура, регулирующая гендерные отношения в обществе, носит на самом деле не унитарный, а множественный характер. Она выделила в своей модели четыре относительно независимые (хотя и взаимосвязанные) структуры: производство, воспроизводство, социализацию и сексуальность, в каждой из которой рождается определенная форма угнетения женщин (Mitchell 1971). Коннелл, однако, справедливо указывает, что эта типология имеет смешанные основания: если работа, уход за детьми и сексуальность являются типами практик, то репродукция и социализация — это социальные функции. Помимо этого логического противоречия подход Митчелл имеет и другие минусы: в одном и том же типе практики гендерные отношения могут существенно различаться: например, в гомо- и гетеросексуальных отношениях. На этом моменте хотелось бы заострить внимание: на практике предложенные Коннеллом автономные подструктуры, или «композиции», гендерных отношений нередко также воспринимаются как раз-

ные сферы жизни, и тем самым его позиция как бы уравнивается с позицией Митчелл. На самом деле она служит для него лишь отправным пунктом.

Коннелл подчеркивает, что все четыре структуры гендера могут присутствовать, и зачастую они присутствуют в одной и той же ситуации: «Я не имею в виду, что они действуют в различных сферах жизни. На практике они постоянно смешиваются и взаимодействуют. Я выделил эти структуры *аналитически* (курсив Коннелла. — *Авт.*), потому что прослеживание их логики помогает понимать невероятно сложную реальность. Это не означает, что саму реальность можно разложить по коробочкам» (Connell 2002: 68).

Базовые измерения гендерной системы: труд, власть, катексис, символические репрезентации

Коннелл полагает, что при построении многополюсной модели гендерной системы необходимо уловить различия в *социальной динамике*, в процессах изменения, и проследить их логику. Недостаток теории патриархата в том, что она нечувствительна ни к тенденциям выравнивания гендерной асимметрии (а такие тенденции в современном мире тоже очевидно присутствуют), ни к весьма существенным различиям в типах патриархатных отношений: например, патриархатными обществами были и царская, и социалистическая Россия, при том что гендерные системы в нашей стране до и после революции существенным образом различались (Ashwin 2000).

Так, например, С. Уолби в своей известной работе «Теоретизируя патриархат» (Walby 1990) также предлагает многополюсную модель гендерной системы, выделяя в отдельные сферы оплачиваемый труд, домашнее производство, культуру, сексуальность, насилие и государство. Однако различные стороны гендерной системы здесь представлены именно как сферы социальной жизни, как различные аспекты патриархата — системы институциализированного неравенства гендерных категорий. Коннелл же, напротив, выделяет четыре измерения гендерных отношений, которые считает самостоятельными и равнозначными, и рассматривает их дифференцированно (надо сказать, что если в более ранних работах он иногда на-

зывал их «структурами», то в более поздних избегает этого термина и говорит просто об «измерениях» (dimensions)):

- отношения власти;
- производственные отношения (разделение труда);
- катексис (эмоциональные отношения);
- символические репрезентации.

Эти измерения не просто описывают разные сферы жизни, но различаются между собой паттернами гендерных отношений, т. е. принципиальным устройством. Коннелл пишет, что главный организационный принцип первого измерения — это неравная интеграция, второго — напротив, отделение или разделение, сегрегация. Структура катексиса подразумевает паттернизацию объекта желания, символические структуры организованы как дихотомия, т. е. как противопоставление мужчин и женщин при сведении множественных вариантов мужественности и женственности к двум стереотипным противоположностям (Connell 2000: 24–26).

Можно сказать, что эти аспекты гендерных отношений ранее уже были описаны в различных научных теориях: производственные отношения — в марксизме и социалистическом феминизме; властные отношения (применительно к гендеру) — в феминистской теории патриархата; катексис — в психоанализе; символические репрезентации — в теории коммуникаций. Однако во всех этих научных школах и направлениях Коннелла не вполне устраивает сам способ теоретизирования — даже в марксизме ему недостает измерения категории «практика». Он настаивает на том, что его модель представляет собой структурное описание (или даже «инвентаризацию») имеющихся практик — подход, с позиций которого их надо анализировать. Поскольку это разделение гендерной системы на автономные структуры является, несомненно, наиболее известной идеей Коннелла, стоит остановиться на нем более подробно.

В своем анализе ***отношений власти*** Коннелл в первую очередь подчеркивает, что центральную ось силовой структуры гендера составляет генеральная связь власти с маскулинностью. Но это положение осложняет, и даже вступает с ним в противоречие, факт наличия второй оси: лишение некоторых групп мужчин власти и в целом построение иерархий с сосредоточением власти на разных уровнях *внутри* основных ген-

дерных категорий. В качестве «ядра» силовой структуры гендера (по сравнению с более рассеянными или оспариваемыми паттернами власти на периферии) Коннелл выделяет четыре компонента:

1) иерархии и институты институциализированного насилия — военные силы, полиция, система тюрем;

2) иерархии трудовых организаций в тяжелой промышленности (например, сталелитейные компании) и иерархия индустрии высоких технологий (компьютеры, аэрокосмическая промышленность);

3) аппарат планирования и контроля централизованного государства (и бюрократия в целом);

4) среда рабочего класса, делающая акцент на физической силе (Connell 1987: 107–111).

При этом он подчеркивает, что эти компоненты связаны друг с другом идеологией, объединяющей маскулинность, власть и технологическое насилие. Именно их связь имеет решающее значение для гендерной политики, поскольку она обеспечивает массовую базу для милитаристских взглядов и практик.

В своем анализе гендерных властных отношений Коннелл стремится объединить два разных подхода к пониманию власти: как легитимной силы, действующей через посредство специальных институтов, и как формы подавления одних социальных групп другими и власти в том смысле, в каком о ней писал Фуко, — дисперсной, всепроницающей, дискурсивной (Фуко 1996). С его точки зрения эти подходы не исключают друг друга и оба полезны для понимания гендерных отношений, которые являются объектом воздействия и организованной, институциональной, власти и диффузной, дискурсивной. Обе разновидности власти должны встречать, и реально встречают, сопротивление.

В этом отношении коннелловская трактовка властных отношений оставляет место для оптимизма: он полагает, что тотального доминирования реально не удается достичь ни одной социальной группе и ни одному режиму, и гендерная власть также не является тотальной. Подтверждение тому — реформы законодательства, которых смогло добиться женское движение, а также феминистская деконструкция репрессивных дискурсивных практик.

Что касается гендерных ***производственных отношений***, то они подразумевают: во-первых, разделение на «мужские» и «женские» профессии, при котором женщины заняты в непрестижных и малооплачиваемых областях (горизонтальная сегрегация); во-вторых, разделение между высококвалифицированным и низкоквалифицированным трудом, при котором бóльшая часть женщин, по сравнению с мужчинами, выполняют работы, не требующие высокой квалификации (вертикальная сегрегация); в-третьих, это разница в оплате мужского и женского труда.

Разделение труда по полу было первой гендерной структурой, которая попала в сферу внимания социальных наук, и до сих пор эта тема остается одной из самых дискуссионных в гендерной экономике, социологии и антропологии. Существует множество теорий, объясняющих этот феномен как с феминистских (с акцентом на отношения власти), так и с нефеминистских позиций. В задачу данной статьи не входит подробный анализ этой дискуссии, однако для понимания позиции Коннелла важно сопоставить ее хотя бы с влиятельнейшей теорией человеческого капитала, сложившейся в русле неоклассической экономики.

Согласно этой теории, более низкая оплата женского труда является результатом действия рыночных законов. Зная, что им придется провести много лет вне рынка труда в заботах о своих семьях, женщины сознательно решают не делать инвестиций в человеческий капитал (профессиональную подготовку, приобретение профессионального опыта и квалификации). Поскольку они имеют более низкую квалификацию, то меньше зарабатывают. (Если же женщины инвестируются в человеческий капитал, мужские и женские зарплаты выравниваются. Это характерно, например, для выпускников учебных заведений, работающих по одной и той же специальности; Беккер 2003: 381–486).

Однако исследования показывают, что даже при контроле таких переменных, как образование, возраст, стаж работы, трудовая мотивация, являющихся основными показателями человеческого капитала, пропорция различий в зарплате между мужчинами и женщинами составляет 92 % (O'Neill, Pollachek 1993). Там, где нет формализованного штатного расписания, учитывающего объективные различия в стаже, образовании и

т. п., например в теневой экономике, разрыв между мужскими и женскими зарплатами еще больше (Katz 2001).

Как отмечает К. Кац, *неоклассическая микроэкономика* в качестве объяснительного механизма весьма интенсивно использует метафоры — так, люди делают «инвестиции» в самих себя, как если бы они представляли собой некое предприятие, принадлежащее им самим или их родителям. Однако метафора не является доказательством, и объяснение получается слишком упрощенным. При выборе рода деятельности большую роль играет не только «максимизация экономического результата», но и другие соображения, а именно профессиональные интересы, статус, моральное удовлетворение и т. д. Особую роль при этом играют социальные нормы — насколько та или иная работа считается «подходящей» для мужчины или женщины. Неоклассическая же модель имеет дело с атомизированным индивидом, принимающим решения независимо от своего социального окружения.

Обладая низкой чувствительностью по отношению к культурным смыслам, неоклассическая теория является шагом назад по сравнению с марксистской парадигмой, в которой зарплата рассматривается не просто как функция производительности труда и часть процесса производства, но как исторически сложившийся феномен, отражающий социальные представления о приемлемом вознаграждении за труд. И для женского, и для мужского труда эти представления могут быть (и бывают) разными.

Специфика подхода Коннелла, учитывающего в том числе и аргументы теории человеческого капитала, состоит в том, что «разделение труда по полу», по его мнению, не может больше рассматриваться как изолированная структура. Ее следует воспринимать как часть более масштабного паттерна, как часть гендерно-структурированной системы производства, потребления и распределения. В основе этого паттерна лежит не профессиональная сегрегация, а первичное разделение на оплачиваемый труд в системе рыночного производства и домашнюю работу, и это разделение является структурным базисом современного западного гендерного порядка. Первая сфера устойчиво считается мужской, а вторая — женской, несмотря на все более активное участие женщин в капиталистическом рынке труда, и в этом состоит отличие западного гендерного порядка

от незападных и некапиталистических обществ. Работа в этих сферах имеет разное культурное значение: в сфере производства работа выполняется за плату, рабочая сила служит товаром, и продукты этого труда предназначены для рынка. Домашний труд выполняется в силу взятых на себя обязательств (*«любви»*) *и продукты его бесплатны.*

Неодинаковое положение мужчин и женщин на рынке труда, разный (подразумеваемый) культурный смысл мужской и женской работы приводит к различиям в их экономических возможностях — происходит, по выражению Коннелла, процесс *гендерной аккумуляции* (Connell 2002: 61–62). Основными механизмами этой аккумуляции в современных экономиках служат крупные корпорации и глобальные рынки. Гендерные режимы этих институтов позволяют им по-разному использовать и оценивать труд работающих в них мужчин и женщин. Способ распределения прибылей корпораций, включающий в себя структуру зарплаты, социальные пакеты, дивиденды и т. п., наиболее благоприятен для мужчин, поскольку он предполагает максимальное вознаграждение именно для топ-менеджеров, среди которых женщин очень мало.

Эмоциональные отношения, которые в своей классической работе Коннелл обозначил психоаналитическим термином «катексис», означающим эмоциональное притяжение к объекту (которое может быть как позитивным, так и негативным, враждебным), являются более широким понятием, чем понятие «сексуальность», которым обычно оперируют феминистские теоретики. Тем не менее сам выбор терминологии указывает, что Коннелл здесь опирается на психоаналитическую традицию и считает, что корни этого притяжения находятся в области бессознательного. В качестве примеров «негативного катексиса» он приводит мизогинию и гомофобию — предрассудки, направленные соответственно против женщин и гомосексуалов (Connell 2002: 65). Катексис также может быть амбивалентным, сочетающим в себе любовь и ненависть. Таким образом, сексуальность — лишь одна из арен, на которой представлены отношения катексиса. Но, вероятно, эта арена является наиболее важной.

Коннелл выделяет некоторые принципы организации структуры катексиса в современных капиталистических обществах. Один из них —дихотомизация и противопоставление

друг другу гетеро- и гомосексуальных отношений. Он подчеркивает, что это противопоставление и выделение особой группы людей — гомосексуалов (геев и лесбиянок) — является конструктом, *присущим далеко не всем культурам. Негативный* катексис, направленный на гомосексуалов, может принимать экстремальные формы, вплоть до их избиений и убийств.

Отношения катексиса, выраженные в качестве символических фигур, таких как Родина-мать, защитники Отечества (всегда в мужском роде) и т. п., часто активно используются в националистической пропаганде.

Далее, в современном западном обществе предполагается, что семьи создаются на основе взаимной романтической любви, сильной эмоциональной привязанности двух партнеров друг к другу. В связи с культурным доминированием Запада этот принцип постепенно становится популярным и в других обществах, что ведет иногда к сильному культурному напряжению — как, например, в традиционных мусульманских семьях, в которых брачных партнеров для детей выбирают родители. Коннелл подчеркивает, что эта практика не является выражением «отсталости и консерватизма», а имеет под собой рациональные основания, — браки, основанные исключительно на эмоциональном притяжении, в целом оказываются гораздо менее прочными.

Другим принципом построения выступает организация сексуальной практики во взаимоотношениях гетеросексуальной пары, которой присущ «двойной стандарт» поведения. Члены гетеросексуальной пары не только различны, они еще и специфическим образом не равны. Гетеросексуальная женщина сексуализируется как объект иначе, чем гетеросексуальный мужчина. Индустрия моды, косметики и содержание массовой прессы служат тому осязаемым доказательством. Например, на шикарных фотографиях, помещенных на обложках женских и мужских журналов, изображены женщины; различия между ними заключается лишь в одежде и в позах. Говоря обобщенно, эротическая взаимность в гегемонистической гетеросексуальности базируется на неравном обмене.

Для организации взаимоотношений полов Коннелл считает также важным разделение труда между мужчинами и женщинами в эмоциональной сфере и приписывание женщинам «эмоциональной работы» — причем как дома, так и на рабочем

месте (см.: Hochschild 1983). «Коммерциализация эмоций» в сочетании с гендерными стереотипами становится все более характерной чертой современного общества.

Символические репрезентации гендерного порядка Коннелл включает в свою модель лишь в последних работах (Connell 2000: 26; 2002: 65–68). На этот шаг его подвигло признание исключительной важности коммуникационной составляющей в любых социальных отношениях. Он обращает внимание на то, что в коммуникации участвуют символические структуры, такие как правила грамматики и синтаксиса, визуальные и звуковые знаки и т. п. Все они являются важными аренами гендерных практик. Например, гендерные различия чаще всего выражаются в качестве символической оппозиции (а не в виде многообразия гендерных образов), и это усиливает понимание гендерных позиций как дихотомических. Отношения власти и подчинения могут воспроизводиться через тонкие (а иногда и вполне явные) культурные и лингвистические практики, например через присваивание замужней женщиной фамилии мужа. Все социальные практики включают в себя интерпретацию мира, в этом смысле все они дискурсивны. Социальная жизнь представляет собой мир знаков и значений, которые, в свою очередь, несут на себе следы социальных процессов, создающих эти значения, и это в полной мере относится к «знакам гендера».

Здесь Коннелл частично опирается на лакановский психоанализ и его учение о фаллоцентричности языка как системы, где маскулинные значения всегда занимают властное положение и имеют привилегированную субъектность. Подход Лакана позволяет понять, почему патриархатные отношения так прочны. Они глубоко укоренены в то, что дает значения, — в язык и речь как основу нашей культуры. Вся система коммуникации в этом смысле фаллоцентрична.

Коннелл обращает также внимание на следующее: несмотря на то что язык (как устная речь, так и письмо) лучше всего описан как арена символических гендерных отношений, эта арена не является единственной. Важны также визуальные репрезентации в кино и фотографии, а также символические репрезентации пола с помощью одежды, макияжа, жестикуляции, тональности голоса, стиля речи и т. п. Однако при этом он не считает, что в рамках существующей культуры «закон

отца» непременно торжествует, — все эти арены являются также и аренами сопротивления этой насильственной дихотомизации. В качестве примера он приводит сложные репрезентативные практики культуры трансвестизма, не поддающегося однозначной гендерной идентификации, и более мягкие проявления этой тенденции в моде «унисекс».

Историческая динамика и кризисные тенденции

Предложенная Коннеллом модель дает удобную теоретическую рамку для анализа гендерных отношений не только в современных обществах и конкретных институтах, но и в историческом разрезе. Гендерный порядок, существующий в данный момент истории и в данном обществе, складывается из определенной конфигурации коллективных проектов. Для того чтобы понять смысл этих проектов, необходимо проследить процесс формирования групп и категорий, в них участвующих, а также рассмотреть типы задействованных личностей, их мотивы и ресурсы. Коннелл многократно подчеркивает, что выделенные им измерения значимы не только на уровне отдельных институтов и общества в целом, но и для понимания взаимоотношений между институтами.

В частности, он позволяет увидеть причины кризисов и напряжения в гендерных системах — например, причины современного «кризиса семьи», служащего неистощимым источником «моральной паники» не только в публичном, но нередко и в академическом дискурсе (Антонов, Сорокин 2000). С точки зрения теории гендерной системы причиной кризиса служит зависимость семьи от других институциональных структур, в особенности от государства, и ослабление легитимности патриархата как формы организации властных отношений в семье. Можно говорить о тенденции к *кризису институционализации*, ослабляющему возможность баланса отношений между семьей и современным капиталистическим государством, которые исторически были подогнаны так, чтобы власть мужчин в обеих этих сферах укреплялась и легитимизировалась.

Другой «кризисной точкой» можно считать *кризис сексуальности*. Исторически гетеросексуальная маскулинность была связана с исключением и вытеснением определенных форм желаний и отношений, которые послужили источником для

формирования маргинализированных форм маскулинности, в особенности гомосексуальной. В идеале должно существовать равновесие между гегемонной гетеросексуальностью и стабильным обменом катексисом в рамках отношений супружеской пары. Но в реальности это равновесие существовало только за счет процесса подавления всего, что выбивалось из этой схемы и сопротивлялось ей — как на уровне психики, так и на уровне реального поведения. Психоанализ хорошо описывает это противоречие между привязанностью и запрещенными импульсами.

Однако либерализация сексуальных отношений после «сексуальной революции» привела к значительным изменениям в этой сфере жизни. Отныне сексуальность благодаря своей массовой коммерциализации становится все более вынесенной во внешний мир, все более отчужденной, и это разрушает взаимность интимных отношений на межличностном уровне.

Наконец, третий аспект кризиса, на который указывает Коннелл (Connell 1987: 158—163), это *кризис интересов*. Возникает база для социального конституирования новых интересов, не соответствующих тем паттернам, которые характерны для гендерной системы капиталистического общества. Так, например, если к таким гегемонным паттернам относится построение интересов замужней женщины преимущественно вокруг ее мужа и детей, то ее интересы как члена трудового коллектива — это новый паттерн.

Эти три тенденции, безусловно, не являются исчерпывающими для описания кризисных точек существующего гендерного порядка, но хорошо их иллюстрируют.

Гендер и социальная стратификация

Парадигма Коннелла очень важна также потому, что она предлагает свою версию ответа на один из ключевых вопросов современной гендерной теории: как гендерные различия соотносятся с другими типами социальной стратификации, с другими типами неравноправных властных отношений? Коннелл подчеркивает, что гендер как структура социальной практики, или как «композиция» (которую он называет также «гендерным порядком», или «системой», — надо сказать, что употребление этих понятий в качестве синонимов не вполне коррект-

но и не способствует ясности аргументации), пересекается или, точнее, взаимодействует с расой и классом, а также с такими переменными, как национальность или место в мировом порядке (Connell 1995: 75). Эта идея, безусловно, не является оригинальной: об этом же писал, в частности, Мак Эн Гайлл, подчеркивая важность взаимодействия между главными организующими социальными принципами, такими как возраст, класс, раса/этничность, пол/гендер и физический статус (состояние здоровья) (Mac An Ghaill 1994: 4). Рамазаноглы в своей дискуссии с Хаммерслеем также указывает на важность пересечения гендера и сексуальности с расой/этничностью и классом. Она полагает, что эти взаимодействия играют «фундаментальную роль для полного понимания социальной жизни» (Ramazanoglu 1992: 209).

Даже из этого перечисления ясно, что различные авторы называют разный, хотя и близкий, набор «фундаментальных категорий», с которыми взаимопересекается и взаимодействует гендер. При желании к ним можно добавить также сексуальную ориентацию, религиозную идентичность, которая, как показывают последние глобальные события, может играть бóльшую роль, чем собственно этничность, и т. п. Безусловно, добавление каждой новой категории делает анализ более глубоким и сензитивным, но одновременно это порождает и определенные эпистемологические проблемы, которые становятся особенно заметными, если мы перейдем на уровень эмпирических исследований. Каждая из этих социальных переменных взаимопересекается не только с переменной «гендер», но и со всеми остальными переменными. В результате мы получаем чрезвычайно громоздкую модель социальной структуры; количество итоговых групп, как пишут В. Харрисон и Дж. Худ-Уильямс, по самым скромным подсчетам может достигнуть 288 (Cealey Harrison, Hood-Williams, 1998). Это делает задачу исследователя, обращающегося к конкретной социальной проблеме, достаточно абсурдной.

И дело здесь не в том, что те или иные переменные «первичнее» других или что итоговая модель будет слишком сложной, — прежде всего она не будет работать как объяснительный механизм, ибо не все социальные категории в равной степени релевантны любой конкретной ситуации. При этом их относительная важность может быть предметом острой дискуссии,

как, например, в левом движении 1970-х годов, когда горячо обсуждалось, какой тип угнетения первичен — классовый или половой (Barrett 1980; Firestone 1970; Hartman 1979), или в постколониальном феминизме, где аналогичные дебаты ведутся вокруг полового и расового неравенства (bell hooks 1984; Lorde 1984).

Отдавая себе отчет в этой методологической проблеме, Коннелл настаивает на том, что важны не сами категории «мужчина» и «женщина» и даже не пересечение их с другими социальными переменными, такими как класс, раса, этничность или возраст. С его точки зрения возникающая в результате этих пересечений социальная матрица является всего лишь еще одной разновидностью категориального подхода, содержащего больший набор категорий. Многообразие типов маскулинности и фемининности не может быть выведено из суммирования таких характеристик и взаимопересечения разных переменных. Мы можем получить реальные социальные группы только исходя из того, какими практиками они сформированы. Конечно, все эти переменные имеют большое влияние на практики и интересы, но они их не определяют.

Вернемся к проблеме пересечения гендера с другими социологическими категориями. Сама метафора «пересечение» предполагает одновременно и отсечение, существование независимых друг от друга, непересекающихся друг с другом полей: скажем, женщин буржуазии и женщин рабочего класса. Но на самом деле взаимодействие гендера и класса носит куда более сложный характер — обе переменные не только пересекаются, но и существенным образом меняют друг друга, придавая друг другу новые смыслы.

Так, например, по мнению Е. Гаповой, гендер является элементарной составляющей процессов классообразования и национального строительства: «Процесс исключения женщин имеет в большей степени экономическую основу и проистекает, с одной стороны, как сексуализация женщин (обладание женщинами и их «потребление» является маркером классовой позиции мужчины), с другой — как их “одомашнивание” (делегирование их в частную сферу, передача им функций по ее обслуживанию и воспроизводству). Ограничение доступа женщин к ресурсам и их общая репрезентация в качестве “непроизводительных” и “предметов обмена” есть часть процесса

формирования классовой структуры» (Гапова 2004). Здесь речь идет уже о всех женщинах как классе, о том, что становление капитализма как социальной модели само по себе подразумевает определенную конфигурацию гендерных отношений. Эта идея — не новая для феминистской мысли (Firestone 1970; Hartman 1982), но она заставляет постоянно возвращаться к ней на каждом новом этапе развития гендерной теории.

Однако соотношение категорий «класс», «гендер» и «этничность» при этом подходе по-прежнему остается неясным, более того — еще сильнее запутывается. К сожалению, предлагаемая Коннеллом замена идеи «пересечения» идеей «взаимодействия» (interact), или «взаимосвязи», как у Мак Эн Гайлла (Mac An Ghaill 1994: 172), также не спасает положения. Ни взаимодействие, ни взаимосвязь сами по себе не меняют сути участвующих в них агентов: как замечают Харрисон и Худ-Уильямс (Cealey Harrison, Hood-Williams 1998), «грузовик и трейлер, будучи сцепленными между собой, продолжают быть грузовиком и трейлером», т. е. отдельными предметами, не представляющими собой нового феномена. На самом же деле главный аналитический интерес представляют собой *трансформации* обоих (или нескольких) социальных категорий, вступивших во взаимодействие, в итоге которых и образуется некая новая социальная данность (например, «бизнесвумен», «рэкетир» и т. п.), не сводимая к алгебраической комбинации различных составляющих.

Любопытно отметить, насколько притягательной оказывается для Коннелла структуралистская логика, хотя он от нее и отмежевывается. Так, в своей классической работе «Гендер и власть» он критикует вышеописанный подход, называя его «категориальным», т. е. статичным и производным непосредственно от оппозиционных друг другу категорий. Особенно резко он обрушивается на присущий этому подходу евроцентризм, заставляющий рассматривать, например, ритуальное самосожжение вдов в Индии, обычай бинтования ног в Китае и порнографию в США как однопорядковые явления, порожденные единой структурой (Connell 1987: 58—61). Однако, несмотря на это, в своей следующей книге «Маскулинности» он предлагает исторический обзор длиной около семнадцати страниц, посвященный «формированию маскулинности в ходе становления современного мирового порядка» (Connell 1995:

186–203) и представляющий собой свободное скольжение по разным странам и событиям, имевшим место в период с 1450 года до наших дней. Остается неясным, каким образом он осуществляет свой переход от безукоризненно логичных аргументов, на которых основывается его критика категориального подхода, к тезису о том, что гендер является структурой социальной практики.

Таким образом, ключевой вопрос о том, что́ же представляет собой гендер как социальная категория, остается открытым, какими бы аналитическими способами мы ни сопрягали его с другими социальными категориями. Конечно, сложно было бы считать, что каждый пример гендерного дискурса и социальной атрибуции гендера является уникальным, неповторимым и неподдающимся обобщениям. Дискурсы и практики действительно имеют общие свойства — как с концептуальной, так и с практической точки зрения. И Коннелл последовательно настаивает на том, что если мы все-таки считаем категорию «гендер» необходимой, то следовало бы обозначить поле ее применения — а именно отнести ее к исследованиям, связанным с изучением положения человеческих существ в социуме, которое определяется их предполагаемой ролью в репродукции. Но при этом он стремится также охватить общее и исторически изменчивое, тело и знаки культуры, и в итоге его определение выливается в довольно неуклюжее онтологическое заключение: «В гендерных процессах повседневная жизнь организовывается относительно репродуктивной арены, определяемой строением тел и процессами репродукции человека. Эта арена включает в себя сексуальное возбуждение и половой акт, деторождение и заботу о детях, половые различия и сходство человеческих тел. Я называю это именно "репродуктивной ареной", а не "биологическим основанием", чтобы подчеркнуть мой тезис, сформулированный во второй главе, — мы говорим здесь об исторических процессах, в которых участвуют человеческие тела, а не о фиксированном наборе биологических детерминант. Гендер — это социальная практика, которая постоянно соотносится с телами и с тем, что они делают, но она отнюдь не может быть редуцирована до просто телесной практики» (Connell 1995: 71).

В этом определении, если можно так выразиться, «слишком много тела». Не вполне можно согласиться с тем, что гендер

«постоянно соотносится с телами»: он, скорее, соотносится с такими понятиями, как «мужчина» и «женщина», между которыми предполагаются фундаментальные различия — как на *морфологическом уровне*, и так на уровне *презентации себя* таковыми. И потом, признания за какими-либо социальными феноменами общих черт еще недостаточно для того, чтобы говорить об их системности, или структурности. Системный, или структурный, подход предполагает априорную связь или сопряженность, подчиняющуюся определенному шаблону и приводящую к общим результатам. Сама по себе общность феноменов еще ничего не означает, а это, в свою очередь, говорит о том, что конкретные дискурсы и практики, а также исторические обстоятельства, при которых они существуют, нуждаются в тщательном эмпирическом исследовании и описании, направленном на выявление их *специфических*, а не только общих черт.

Таким образом, многие аспекты теории Коннелла остаются, что вполне естественно, дискуссионными, да и сама теория постоянно развивается и видоизменяется в его же собственных текстах. Тем не менее в ней содержится много ценных высказываний, благодаря которым она уже почти два десятка лет пользуется большой популярностью в гендерных исследованиях, последнее время — также и в российских. Будучи «теорией практик», она поднимается до весьма широких, и даже глобальных, обобщений, стремясь при этом не упустить из виду сами практики. Несмотря на все дискуссионные моменты, она достаточно хорошо структурирована, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих феминистских работах. Будучи чувствительной к феминистской критике научного дискурса, эта теория вполне отвечает общепринятым академическим критериям, что позволяет достаточно легко инкорпорировать ее в «мейнстрим» социологического знания. Насколько это политически оправдано — другой вопрос, но, на наш взгляд, проект создания параллельной «феминистской науки», выдвигающей свои собственные критерии научности, не представляется удачной стратегией. Она направлена именно на изучение *отношений*, т. е. того, как люди, группы и организации связаны друг с другом и какие между ними существуют разделения и барьеры. Это делает подход Коннелла очень удобным теоретическим инструментом для планирования и проведения эмпирических

исследований, в нем нет никаких принципиально непроверяемых тезисов. При этом отношения не подразумевают обязательного непосредственного взаимодействия; они могут быть *опосредованы, например, рынком или определенными технологиями*, такими как телевидение и Интернет. И наконец, это теория политического действия, стремящаяся не только занять свою нишу в академии, но и принести практическую пользу всем, кто заинтересован в достижении гендерного равенства и утверждении прав человека.

Объединительный (структурно-конструктивистский) подход в гендерных исследованиях[8]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

В статье преставлены основные положения объединительной парадигмы в гендерных исследованиях. Сначала дается краткий обзор структурно-функционального и социально-конструктивистского подходов в гендерных исследованиях. Затем рассматривается критический синтез данных подходов в социальной теории и определяются основные понятия, используемые для анализа гендерных отношений в рамках объединительной (структурно-конструктивистской) парадигмы.

Структурный конструктивизм в гендерных исследованиях как критика предшествующих подходов

Объединительная парадигма в социальных науках стремится преодолеть дихотомию объективистских (структурно-функционалистских) и субъективистских (социально-конструктивистских) концепций. Рассмотрим кратко, как применялись данные теории в гендерных исследованиях.

Структурный функционализм выступил в качестве влиятельной парадигмы, которая породила различные социологи-

[8] Ранние версии этого текста опубликованы в «Социологии гендерных отношений. Учебное пособие для студентов вузов» (под ред. З. М. Сараиевой. М.: РОССПЭН, 2004. С. 80—98) и в «Гендерных отношениях в современной России: исследования 1990-х годов» (под ред. Л. Попковой, И. Тартаковской. Самара: Изд-во «Самарский ун-т», 2003. С. 10—22).

ческие интерпретации гендерных отношений. В 1940–1950-х годах американский социолог Т. Парсонс сформулировал положение о функциональности разделения половых ролей, легшее в основу поло-ролевого подхода к анализу гендерных отношений. Согласно данному подходу, семья среднего класса в индустриальном обществе образует социальную систему, в которой женщина выполняет экспрессивную роль, а мужчина — инструментальную. Экспрессивная роль заключается в установлении внутреннего баланса в семье — это роль домохозяйки; суть инструментальной роли состоит в регуляции отношений между семьей и другими социальными системами — это роль кормильца, добытчика (Parsons, Bales 1955). Эти положения впоследствии подверглись критике со стороны феминистских исследователей (см.: Воронина 2001).

Основные аргументы критиков заключались в следующем. Во-первых, данная модель носит нормативный характер. Образцы семейных отношений, свойственных представителям среднего класса западных индустриальных обществ, признаются единой для всех социальной нормой. Во-вторых, при таком описании игнорируются отношения власти и неравенства по признаку пола, при которых женщины, как правило, подчиняются мужчинам, являясь экономически и юридически зависимыми. В-третьих, поло-ролевой подход не может объяснить сопротивление сложившемуся гендерному порядку и его возможные изменения, несмотря на развитие новых тенденций организации индивидуальной и семейной жизни. В-четвертых, в данной модели проявляется принцип «натурализации» отношений между полами, т. е. мужские и женские роли обосновываются природными естественными половыми различиями (см.: Коннелл 2000). Поло-ролевой подход получил широкое распространение в социальных и гуманитарных науках и позволил применить понятия половых различий, социализации, ролей и статусов к интерпретации положения женщин и мужчин в обществе. В рамках этого подхода изучалось не только исполнение половых ролей, но также ролевые конфликты и кризисные тенденции в современной семье.

Поло-ролевой подход оказал влияние на последующую интерпретацию гендерных отношений. Он предполагает, что общество рассматривается как система интегрированных, взаимосвязанных частей, каждая из которых выполняет функцию,

необходимую для стабильного существования целого. Система социальных институтов, организованных вокруг социальных функций, регулирует социальные действия и отношения. Эти положения оказали двойственное воздействие на интерпретацию гендерных отношений. С одной стороны, анализ социальных институтов, регулирующих отношения между полами, повлиял на разработку понятия «гендерная система». С другой стороны, критики поставили под сомнение жесткую структурную (институциональную) детерминацию половых ролей. Впоследствии гендерный порядок стал рассматриваться как совокупность стратегий мужчин и женщин, действующих в рамках объективно заданных возможностей и ограничений.

Определим понятие «гендерная система». С 1970-х годов феминистские исследователи на Западе используют понятие «(поло)/гендерная система», под которым понимается набор механизмов, посредством которых общество преобразует биологический «материал» половой жизни и воспроизводства человека в конвенциональные формы социального взаимодействия (Рубин 2000). Американская исследовательница-антрополог Г. Рубин, анализируя поло-гендерную систему, опирается на структурализм французского лингвиста и антрополога К. Леви-Стросса, на марксистский и психоаналитический подходы. Марксизм, заново прочитанный феминистскими теоретиками, позволяет связать поло-гендерную систему с историческим процессом и отношениями собственности[9]. Психоанализ позволяет распознать структуры бессознательного, воспроизводящие иерархию отношений между полами в рамках социальных институтов.

Гендерные системы являются устойчивыми. Их стабильность обеспечивается традициями, юридическими и экономическими механизмами, идеологиями и существующими практиками. Изучая гендерные системы, исследователи анали-

[9] Дальнейшую интерпретацию эта связь получила в теории «двойного системного угнетения женщин», разработанной американской феминистской исследовательницей Х. Хартманн. Она приходит к выводу, что женщины в современном капиталистическом обществе находятся под двойным гнетом, или под гнетом двух систем — системы капиталистической эксплуатации и системы патриархата, т. е. подчинения мужчинам.

зируют, каким образом воспроизводятся социально организованные половые различия. Феминистские авторы утверждают, что гендерная система современных индустриальных обществ отличается устойчивым набором основных характеристик. К ним относятся: социально навязанное разделение полов, обязательная гетеросексуальность, разделение предписаний на женские и мужские, ограничение женских прав и жесткий социальный контроль женской сексуальности. Иногда такая гендерная система называется патриархатом, т. е. обществом мужского господства.

Дальнейшее развитие понятийного аппарата гендерных исследований связано с конструктивистской критикой структурного функционализма. Социологи стали обращать внимание на изучение повседневной жизни, взаимодействие людей в конкретных ситуациях и тех значений (смысловые миры), которые организуют их повседневность. Конструктивистский подход, опирающийся на работы А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана, И. Гофмана, Г. Гарфинкеля, смещает акценты социальной теории на микроуровень и повседневные взаимодействия. Предметом изучения становится публичный порядок, или правила взаимодействия в общественных местах. Гендерные отношения рассматриваются как социально и культурно производимые в конкретных социальных ситуациях (см.: Здравомыслова, Темкина 2001). Рамки социального взаимодействия, в которых осуществляется производство и воспроизводство гендера, определяются как «гендерный уклад». На микроуровне «гендерный порядок» («gender order»), или «гендерный уклад», проявляется как публичный порядок социальных взаимодействий, организованных по формальным и неформальным правилам в соответствии с предписаниями по признаку пола.

Понятия «гендерный уклад» и «гендерный порядок» часто используются как взаимозаменяемые. На макроуровне «гендерный порядок» рассматривается как система неравенства и дифференциации, связанная с позициями разных групп мужчин и женщин в разных сферах — в экономике, политике и частной жизни. Итак, исследователи, пользующиеся термином «гендерная система», утверждают, что различия по признаку пола являются социально организованными и регулируются определенными правилами; существуют устойчивые, но подвергающиеся изменениям механизмы их воспроизводства.

Объединительная парадигма: концепция хабитуса П. Бурдье и теория структурации Э. Гидденса

Дальнейшая концептуализация гендерных отношений связана с применением объединительной методологии французского социолога П. Бурдье и английского социолога Э. Гидденса к анализу проблематики гендерных отношений. Сочетание структурного и конструктивистского подходов позволяет понять взаимообусловленность структурных условий и социальных действий, предпринимаемых активными агентами. Исследователи обращаются к интерпретации индивида как стратегически действующего лица, к изучению того, «что́ люди делают, когда они конструируют социальные отношения, в которых живут» (Коннелл *2000*: 275).

Французский социолог П. Бурдье рассматривает социальную реальность как многомерное социальное пространство, которое можно представить в виде совокупности полей. Каждое поле организовано распределением определенного вида капитала или группы ресурсов. П. Бурдье выделяет четыре вида капиталов: экономический, культурный, социальный и символический. Тип капитала определяет своеобразие поля. Так, исследователь выделяет поле экономического капитала, где основным ресурсом, определяющим позицию агента в поле, являются деньги; в поле культурного капитала позиция индивида обусловлена объемом знаний и навыков, т. е. уровнем культуры, выражающимся в дипломах и сертификатах, которые подтверждают его достижения. Для занятия позиции в поле социального капитала важны ресурсы социальных связей (знакомств и родственно-дружеских отношений), накопленных индивидом на протяжении жизненного пути. Символический капитал — это принцип символической организации любого поля. П. Бурдье определяет его как легитимную (обеспечивающую признание) форму, которую принимает любой капитал. Распределение капиталов в поле образует объективные структуры, которые поддерживаются и изменяются действиями агента. Объективное положение (позиция) индивида или группы в социальном пространстве определяется совокупным объемом ресурсов, которые находятся в его распоряжении в разных социальных полях.

Социальная реальность имеет двойственный характер. С одной стороны, она описывается как распределение ресурсов (капиталов), социальных мест и институтов, которым соответствуют способы присвоения престижных материальных и идеальных благ. С другой стороны, социальная реальность мыслится как набор представлений, систем значений и практик агентов. Объективные представления выражают и поддерживают знание индивидов и групп о своей позиции в обществе. Такое знание своего положения в обществе П. Бурдье называет чувством собственного места, или диспозицией. Чувство места необязательно бывает осознанным, тем не менее оно определяет жизненные стратегии индивидов и групп в социальном пространстве. Жизненные стратегии могут быть представлены как совокупность практик, осознанно или непреднамеренно приводящих к определенному результату.

Совокупность диспозиций индивидов и групп П. Бурдье обозначает термином «хабитус»[10]. С одной стороны, хабитус является «слепком» объективных структур, порождающих и организующих практики, с другой стороны — источником импровизированных действий, приводящих к изменению социальной структуры. «Посредством хабитуса структура, продуктом которой он является, управляет практикой» (Бурдье 1995: 20). Стратегии действующего агента воспроизводят общественный порядок и общественные структуры и изменяют их.

Ту же методологию разрабатывает английский социолог Э. Гидденс в рамках теории структурации. Термин «структурация» используется им для описания взаимообусловленности структурных условий и социальных действий. Действия индивидов и групп в обществе ограничены объективными или структурными условиями, однако эти же ограничения выступают как возможности осуществления действий. Социальные структуры Э. Гидденс описывает как ресурсы и правила взаимодействия в рамках социальных институтов. Ресурсы множественны и разнообразны; к ним относятся материальные и невещественные условия действия (знания, материальное обеспечение, социальные связи, управленческие возможности и

[10] Хабитус — инкорпорированный класс, коллективная память, куммулятивное знание, накопленное в ходе жизненного пути индивида.

т. д.). В ходе своих действий социальные агенты пользуются ресурсами не всегда осознанно. Что касается правил, то они представляют собой некие формулы (законы), согласно которым осуществляются повседневные практики. Такие правила могут быть формализованными и неформальными. Формализованные правила представлены в законах, инструкциях и прочей официальной документации. Их выполнение строго контролируется. Нарушение формальных правил влечет за собой жесткие негативные санкции (наказание). Неформальные, или фоновые, правила регулируют все общественные сферы и складываются и осваиваются в повседневной жизни. Они являются само собой разумеющимися до тех пор, пока кто-нибудь их не нарушит. Следование неформальным правилам также контролируется обществом, но этот контроль носит менее очевидный характер. Правила и ресурсы лежат в основе осуществления практик, которые таким образом воспроизводят социальную структуру и социальные институты. Э. Гидденс подчеркивает активность действующего агента: будучи ограничен структурами, он одновременно воздействует на них, может видоизменять их или создавать новые (Гидденс 1995).

Одним из ключевых для объединительной парадигмы является понятие «стратегия». Под стратегией понимается совокупность практических действий активного агента, использующего различные ресурсы и следующего правилам взаимодействий, характерным для данного социального контекста. Важнейшей задачей социальных исследователей, таким образом, оказывается изучение индивидуальных и групповых стратегий, которые могут быть как осознанными, так и неосознаваемыми.

Объединительная парадигма в гендерных исследованиях

Применение объединительной парадигмы в гендерных исследованиях связано с вниманием к взаимообусловленности структур и практик, формирующих гендерный порядок в обществе. Институционально обусловленная ситуация взаимодействия всегда предполагает гендерное измерение, т. е. правила социально организованного различия полов — правила мужественности и женственности.

В рамках объединительного подхода австралийский исследователь Р. Коннелл вводит понятие «гендерная композиция», обозначающее совокупность повседневных практик и структурных условий, которые организуют различие полов и отношения между полами. Он отказывается от использования термина «гендерная система», настаивая на концептуализации подвижных и гибких элементов взаимодействия структур и практик. Гендерная композиция складывается как мозаика разнообразных стратегий в конкретных исторических контекстах социального взаимодействия (Connell 1987: 116—117).

На уровне общества в целом гендерная композиция может быть представлена как относительно устойчивый гендерный порядок, закрепленный в исторически заданных образцах властных отношений между мужчинами и женщинами и внутри групп, выделенных по признаку пола. Эти образцы фиксируются в социологическом дискурсе как гендерно маркированные социальные институты и практики. На уровне отдельных социальных институтов гендерный порядок проявляется в разнообразных гендерных режимах. В качестве примеров Р. Коннелл приводит гендерные режимы таких социальных институтов, как школа, семья, государство, подростковое сообщество, локализованные взаимодействия в рамках городского пространства и т. д.

При структурном анализе гендерного порядка/режима исследователи пользуются теми же категориями, что и при анализе общества в целом. Выделяются публичная и приватная сферы; в публичной сфере анализируются гендерные отношения в экономике, политике, идеологии и культуре; в приватной сфере предметом анализа становятся семейно-брачные, дружеские и сексуальные отношения. При этом в каждой из этих сфер гендерные отношения воспроизводятся и изменяются в результате взаимодействия структурных условий и практик, в них формируются и поддерживаются представления о мужественности и женственности, гендерные идеологии и дискурсы, коллективные действия, проблематизирующие и изменяющие гендерный порядок.

Р. Коннелл выделяет четыре структурных уровня обусловливания и проявления гендерного порядка: уровень социального разделения труда, структуру властных отношений, структуру катексиса (эмоциональных отношений) и символический

уровень. Структура социального разделения труда выражается в разделении труда по признаку пола в публичной и приватной сферах. В публичной сфере — это вертикальная и горизонтальная гендерная сегрегация занятости, распределение престижных и непрестижных рабочих мест, дискриминация при найме, профессиональной подготовке и продвижении по службе, различия в оплате труда. В приватной сфере — это организация домашней работы и заботы о детях, больных и престарелых. Существующее разделение труда становится социальным правилом, при котором работа закрепляется за определенными категориями мужчин и женщин.

Структура властных отношений включает контроль и принуждение, осуществляемые государственными и бизнес-иерархиями, институциональное и личное насилие, а также отношения господства и подчинения в семье, регулирование сексуальности. Физическая, интеллектуальная и финансовая власть функционирует как структура, создающая ограничения практик, посредством положительных и отрицательных санкций осуществляющая контроль над их «правильным» выполнением. Структура катексиса — это правила и ресурсы эмоциональных отношений. Эмоции управляются правилами, которые регулируют выбор объектов желания, гегемонию гетеросексуальности, сексуальные, дружеские, брачные и родительские отношения. Гендерная структура символического порядка проявляется в системе значений и репрезентаций мужественности и женственности.

Структуры разделения труда, власти, катексиса и символические репрезентации являются главными компонентами любого гендерного порядка и любого гендерного режима. Их совокупность создает институциональный каркас гендерной композиции.

Итак, «гендерная композиция», по мысли Р. Коннелла, может стать понятием, способствующим преодолению методологического разрыва между *структурным* и *практическим* уровнем концептуализации общества. Этот термин призван связать анализ институционально заданных условий социального действия и повседневных практик действующих лиц. Однако нам представляется, что термин «композиция», метафорически точно выражая суть подхода, имеет мало шансов прижиться в гендерной теории. Многие социологи, разделяющие подход

Коннелла, избегают использования этого термина и предлагают свои варианты обозначения. В разных текстах мы обнаруживаем смысловую близость между такими понятиями, как «гендерная композиция», «гендерный уклад» и «гендерный порядок».

Так, немецкая исследовательница Б. Пфау-Эффингер, проводя кросскультурные сравнения, использует понятие «гендерный уклад», определяя его как систему координат, созданную гендерной культурой (ценностями, идеями и идеалами), гендерной системой (институтами), социальными практиками и коллективными действиями. Гендерный уклад изменяется в ходе конфликтного взаимодействия и переговоров социальных акторов. «Социальные практики и структуры гендера концептуализируются как результат сложного взаимодействия гендерной культуры, институтов и социальных акторов» (Пфау-Эффингер 2000: 27). Английская исследовательница С. Ашвин, вслед за Р. Коннеллом, использует категорию «гендерный порядок», обозначая им взаимообусловленность социальных институтов и гендерных идентичностей (Ашвин 2000). Отметим, что аналитический аппарат гендерной теории не является устоявшимся, исследователи продолжают поиск наиболее адекватных терминологических средств для описания поля гендерных отношений.

В рамках объединительной парадигмы претерпевает изменения концептуализация гендерной системы. Система гендерных отношений в настоящее время рассматривается большинством исследователей не только на макро-, но и на микроуровне, не только на уровне структур, но и на уровне практик. Таким образом, гендерная система понимается как многоуровневый феномен, включающий символы-репрезентации мужественности и женственности; нормативные концепции (религиозные, правовые, образовательные, научные), которые создают интерпретации значений символов; социальные институты и организации, регулирующие поведение; субъективную идентичность. Посредством этих социальных механизмов мужчины и женщины разделяются на две социальные категории, обозначающие асимметричные отношения (Скотт 2000). Согласно определению К. Рензетти и Д. Курран, гендерная система представляет собой институционализированные предписания, определяющие модели поведения и социально-

го взаимодействия в зависимости от пола. Она включает три взаимосвязанных компонента: социальную конструкцию гендерных категорий на основе биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с которым мужчинам и женщинам предписываются разные роли; социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуального поведения и негативно — другие (см.: Темкина, Роткирх 2002).

Для описания гендерной системы скандинавские феминистки используют термин «гендерный контракт», привлекая внимание к социальной политике государства 1960—1970-х годов, при которой гендерные роли и репрезентации переопределялись под воздействием общественных движений и публичных дебатов. Так, шведская исследовательница И. Хирдман характеризует гендерную систему как совокупность *гендерных контрактов*, регулирующих отношения между мужчинами и женщинами на уровне представлений, а также на уровне формальных и неформальных правил (Hirdman 1991). Гендерные контракты представляют собой доминирующие в обществе типы гендерных практик и репрезентаций. Финская исследовательница Л. Ранталайхо рассматривает контракт как правила взаимодействия, как права и обязанности, определяющие разделение труда по признаку пола в сферах производства и воспроизводства и взаимно ответственные отношения между женщинами и мужчинами, в том числе принадлежащими к разным поколениям (Rantalaiho 1994).

Термин «гендерный контракт» проблематизирован феминистскими критиками политической теории общественного договора. Как указывает К. Пэйтман, современное (западное) гражданское общество, конституируемое общественным договором, является патриархатным. Этот договор закрепляет принципы *мужского братства*, или мужского порядка, в котором все граждане (т. е. мужчины) получают равные права, преодолев патриархальную субординацию между *отцом и сыном* (Pateman 1988). При этом правила либерального общественного договора сохраняют другой аспект патриархальных отношений, а именно воспроизводят вторичный статус женщин. Традиционные отношения в браке, распределение обязанностей в семье, разделение труда в публичной и приватной сферах предстают как добровольный общественный контракт рав-

ноправных агентов. Однако имплицитно этот общественный договор всегда основывается на системе гендерной иерархии, подкрепленной идеологией *естественного предназначения полов*. Отношения между полами регулируются *ad hoc*, т. е. выстраиваются на основании традиционных эссенциалистских взглядов. Вследствие того что в теориях общественного договора подчиненный статус женщин не ставился под сомнение, феминистские исследователи, использующие термин «гендерный контракт», обращают свое внимание в первую очередь на положение женщин в обществе, тем самым озвучивая ранее умалчиваемое.

Патриархат и «женская власть»[11]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

«Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми».

Л. Толстой. Крейцерова соната

И я была заносчивой, как вы,
Строптивою и разумом и сердцем.
И отвечала резкостью на резкость,
На слово — словом; но теперь я вижу,
Что не копьем — соломинкой мы бьемся,
И только слабостью своей сильны.

У. Шекспир. Укрощение строптивой

В статье представлена трактовка отношений власти в патриархатном обществе. Авторы утверждают, что диалектика власти, типичная для современного российского патриархата, приводит к выработке своеобразной «женской власти», которая оказывается реакцией на господство и угнетение, испытываемое женщинами. Само признание «женской власти», равно как и ее критика, есть свидетельство культурного патриархата.

[11] Авторы благодарят за комментарии О. Воронину, А. Золотову, Т. Клименкову, А. Магуна, Е. Мещеркину, Н. Нартову, Л. Попкову, И. Тартаковскую, Ж. Чернову, Л. Шпаковскую, С. Ушакина.

Постановка проблемы

В современном российском публичном дискурсе распространены представления об особой власти, позволяющей женщинам достичь желаемых целей. Эту власть часто называют «женской властью». Смысловым ядром этой дискурсивной фигурации являются репрезентации «женщины-стервы», осуществляющей специфические властные стратегии, далеко не всегда одобряемые обществом. В современных книжных магазинах среди научно-популярной литературы по менеджменту и психологии общения появился новый раздел. У него есть своя терминология, категориальный аппарат, своя система доказательств, свои адепты и читатели. Российская феминистка Л. Попкова не без иронии назвала эту «отрасль» «стервологией». Многочисленные книги в разных сериях (а их число превышает несколько десятков) призывают «стерву» (т. е. женщину, ориентированную на достижения и успех) освоить искусство манипулирования мужчинами и окружающим миром, определяют цели и дают рецепты их достижения.

Образ «стервы» в публичном дискурсе явно двойствен. С одной стороны, задача «стервы» — подчинить себе мужчину, заставить его реализовывать ее интересы, «обведя вокруг пальца»; способы достижения цели — «игра без правил», «манипулирование», «обольщение» и т. п. С другой стороны, в качестве «стервы» представлена карьерно ориентированная женщина, умело управляющая трудовым коллективом, обладающая высоким уровнем квалификации в сфере межличностного профессионального взаимодействия. Приведем примеры некоторых названий книг, заголовков и разделов «стервологии»: «Основы дрессировки, или Как изменить мужчину без его ведома», «Записки мудрой стервы», «Стерва в пучине страстей. Мужчина в сердце и под каблуком», «Стерва высшей пробы. Игра по правилам и без», «Стерва выходит сухой из воды», «Стерва на капитанском мостике. Преимущества и издержки власти», «Искусство обольщения», «Женщина, играющая и выигрывающая», «Поймайте на крючок мужчину», «Об обладании и управлении мужчиной», «Как говорить, чтобы мужчины слушали» и т. д.

Эта дискурсивная фигурация как феномен гендерного символического порядка требует социологического осмысления. Перед социологом возникают следующие вопросы. Что зако-

дировано в термине «стерва»? Каковы представления о «женской власти» как особой стратегии достижения женщинами поставленных целей? В чем заключается специфика этой власти? Почему субъекты, которым приписываются такие стратегии, представлены негативно или иронически?

Чтобы ответить на эти вопросы, нам прежде всего необходимо разобраться, как трактуется власть в гендерных исследованиях, а затем выяснить, какова феминистская интерпретация той власти, которая в повседневности называется «женской». Каким образом мы сами интерпретируем «женскую власть»? Признаем ли мы ее существование, или же, напротив, считаем представления об особой «женской власти» издержками культурального (культурного) патриархата, характерного для современного российского общества? Для этого нам потребуется более подробно рассмотреть положение женщины в патриархатном обществе и доступные ей возможности достижения целей. Затем мы перейдем к анализу советского и постсоветского общества, символический порядок которого воспроизводит типический образ «стервы» — женщины «властной», «хищной», «хитрой», «беспринципной», «двуличной», ориентированной на достижения и способной подчинить себе окружающих.

Категория власти является ключевой для понимания гендерного порядка. Обсуждение неравенства, контроля, дискриминации, асимметрии возможностей представляет собой обсуждение властных отношений. Власть имеет также и символическое измерение. В соответствии с определением Дж. Скотт, гендер — это конститутивный элемент социальных отношений, основанных на различении полов, и первичный способ означивания отношений власти (Скотт 2000). В феминистских исследованиях второй волны проблематика гендерной власти озвучивается в терминах патриархата, под которым понимается господство мужчин над женщинами, т. е. система гендерных отношений, в которой мужчина является субъектом власти, а женщина — объектом угнетения (Айвазова 2002: 169). Позднее гендерная власть рассматривается как многомерная иерархия различных типов мужественности и женственности, возникающая в результате пересечения нескольких типов господства — по критериям класса, расы, сексуальности и категории принадлежности к полу.

Однако утверждения о безусловном мужском господстве противоречат дискурсивной реальности современной России. В публичной коммуникации постоянно артикулируются образы сильной матери, супруги и сексуально привлекательной дамы, наличие у женщин, выполняющих традиционные роли, особой власти, выходящей за пределы приватной сферы, но укорененной в ней. Эти репрезентации сочетаются с проблематизацией безусловного авторитета мужчины, основанного на его половой принадлежности[12], и с тоской по мужскому авторитету, которому мешают осуществиться структурные барьеры.

С нашей точки зрения для того, чтобы прояснить отношения власти в гендерном измерении, нужно решить две аналитические задачи. К первой задаче относится концептуализация диалектики власти «сильных» и «слабых» в патриархатных обществах разного типа, ко второй — осмысление особого характера власти, приписываемой именно «слабому полу», ключевой для организации гендерных отношений и связанной со сферой заботы, а также с эмоциональной и сексуальной сферой[13]. В данной статье мы сосредоточиваемся на решении первой задачи и намечаем подходы к решению второй, которая предполагает реконструкцию правил катексиса, релевантных для современного российского общества.

---

[12] Обсуждение тематики «кризиса мужественности» см.: Здравомыслова, Темкина 2002б.

[13] Т. е. с тем измерением гендерного порядка, которое Р. Коннелл называет структурой катексиса. Катексис — неологизм, введенный английскими переводчиками З. Фрейда при переводе термина «besetzung», которым был обозначен «заряд психической энергии». Фрейд использовал термин как существительное — *эго катексис* (ego cathesis), как глагол — *эмоционально заряжать объект* (to cathect an object), как прилагательное — *катектическая верность* (cathectic fidelity). Термин обозначает проявления заряда физиологической или психической энергии, импульс, аффективную установку на объект и используется в психоанализе для определения количества энергии, сцепленного с представлением об объекте или психической структурой (Райнкрофт 1995: 69—70). В дальнейшем этот термин использует Т. Парсонс для обозначения объектно-ориентированного состояния аффекта, предполагающего притягательную значимость объекта. По Коннеллу, катексис — это конфигурация эмоционально заряженных социальных отношений с другими людьми (Connell 1987).

Социологическая трактовка власти

В самом общем виде власть означает право и возможность одних повелевать, распоряжаться и управлять другими, способность осуществлять свою волю по отношению к другим, оказывать влияние на их поведение, используя авторитет, право, насилие и т. д. Со времен М. Вебера в политической философии и социальной теории проводится различие между категориями «власть» и «авторитет». Авторитет — это легитимная, т. е. признанная, власть, имеющая устойчивый характер, опирающаяся в основном на механизмы контроля, не связанные с насилием, но обладающая правом на легитимное насилие. Господство — это устойчивая, воспроизводящаяся власть авторитета. Власть — это способность осуществлять свою волю независимо от воли других людей. Таким образом, авторитет — это одна из разновидностей власти. Отношения власти могут осмысливаться в категориях господства и подчинения (легитимная власть авторитета), эксплуатации и угнетения. В последних двух случаях речь идет о нелегитимной власти, которая рассматривается как нарушение справедливого порядка, основанного на либеральных идеалах равенства.

Экономическая эксплуатация рассматривается в марксистской парадигме как несправедливое изъятие классом собственников части продукта (прибавочной стоимости), произведенного наемным работником; как обогащение одних за счет обеднения других. Политическое, идеологическое, культурное угнетение суть институциональные механизмы контроля и воспроизводства системы эксплуатации.

Иначе подходит к изучению власти М. Фуко, чьи взгляды оказали существенное влияние на феминистский дискурс. Он делает акцент на микрофизике власти, интерпретируя ее как бессубъектный капиллярный механизм контроля, проникающий во все ткани социального целого. Как движение является атрибутом материи, так и власть атрибутивна человеческому действию. Рассматриваемая на уровне микрофизики социального, власть не является собственностью, достоянием или монопольным правом на ресурсы; она не тождественна способности субъекта к покорению другого. Власть диффузна и редко выражается в связном систематическом дискурсе. Она являет себя в многообразных приспособлениях, однако не может быть сведена к локусу конкретного социального института, даже

государственного аппарата. Последний лишь обращается к ней, использует или насаждает некоторые ее методы. «Власть производит знание», которое ее оправдывает и делает общественно признаваемой. Фуко утверждает, что «нет ни отношений власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти» (Фуко 1999: 42). Другое дело — исполнение власти. Власть исполняется в виде стратегии действия.

В структурно-конструктивистской парадигме (П. Бурдье, Э. Гидденс), получившей широкое распространение в современной социологии гендерных отношений, ключевым для операционализации категории «власть» является понятие «диалектика социального контроля», описываемое в терминологии «правил» и «ресурсов». В данной парадигме власть понимается двояко. Э. Гидденс развивает понимание власти, предложенное Вебером, ассимилируя трактовку Фуко (Гидденс 2003). Суть отправления легитимной власти (или авторитета) — социальный контроль. Авторитет предполагает ответственность субъекта за последствия исполнения властных решений, в том числе и за осуществление принуждения. По Гидденсу, легитимная власть выражает себя в установленных правилах взаимодействия, которым следует социально интегрированный индивид. Исследователь выделяет два аспекта правил: семантический и моральный.

Семантические правила структурируют повседневный дискурс и делают возможным взаимодействие людей на основании общей для них смысловой рамки. Моральные правила порождают интерсубъективную оценку действий в категориях добра и зла. Правила регулируют практики социального взаимодействия и реализацию власти в форме социального контроля. Семантические правила определяют, что́ является ресурсом в данном обществе, т. е. за счет каких активов возможно достижение поставленных целей. Так, например, психологическое удовлетворение, которое мы испытываем, обнаруживая общих знакомых с людьми, впервые входящими в круг нашего взаимодействия, демонстрирует значимость социального капитала в определении социальной позиции индивидов в нашем обществе. Еще один пример: в традиционных обществах сокровища недр — запасы угля, нефти — могут не считаться ресурсами, в то время как в индустриальных обществах они являют-

ся мощными источниками обогащения. Семантические правила организуют символический порядок общества.

Моральные правила устанавливают степень легитимности целей и также отвечают на вопрос, какие средства допустимо использовать для достижения индивидуальных и групповых целей, а какие неприемлемы в данном обществе с нравственной точки зрения. Так, например, распространенность практик домашнего насилия в обществе и отношение к ним являются индикаторами морального порядка.

Основное понятие, с помощью которого Гидденс операционализирует категорию «власть», — это «ресурсы», т. е. средства или «активы», которые действующие лица могут использовать для достижения своих целей в социальном взаимодействии, стремясь улучшить или сохранить свою позицию в социальном пространстве. Гидденс различает материальные возможности или управление объектами (аллокативные ресурсы) и управление людьми (авторитативные ресурсы). Ресурсы — это средства накопления и использования власти. Власть, таким образом, представлена как способность осуществлять контроль над социальными действиями и взаимодействиями или как способность реализовывать решения в рамках заданных правил с использованием имеющихся ресурсов. Власть как возможность социального контроля, осуществляемого по правилам, может реализовывать любое действующее лицо. Отправляемая власть может быть понята как стратегия действия. Однако ресурсно слабые и ресурсно сильные индивиды и группы различаются по объему и типу проявляемой власти и могут находиться в отношениях субординации, т. е. соответственно господства и подчинения.

Различия во властных позициях сказываются в различиях стратегий, используемых для достижения целей. Стратегии господствующих и стратегии угнетенных принципиально различны, хотя и те и другие представляют собой стратегии ограждения, т. е. цепочки целенаправленных действий, способствующих сохранению имеющихся ресурсов и связанных с ними привилегий и препятствующих допуску к этим ресурсам других индивидов или групп. Стратегия ограждения, используемая господствующими классами, называется *социальным исключением*. Она предполагает выработку социальных механизмов, предотвращающих доступ к ресурсам господства со

стороны представителей низших классов. Стратегия солидаризма, напротив, направлена на сопротивление угнетателям и ориентирована на перераспределение доступа к ресурсам. Иногда ее называют стратегией захвата, или узурпации. Если стратегии господствующих групп являются устойчивыми и институционализированными, то стратегии угнетенных, напротив, подвижны, краткосрочны и далеко не всегда носят объективированный коллективный характер. Только спорадически в периоды циклов протеста эти стратегии приобретают наступательный характер (см.: Parkin 1974).

Данный подход, на наш взгляд, релевантен для анализа гендерного порядка, причем он ни в коем случае не исключает из рассмотрения отношений гендерно специфическое угнетение и подчинение. В данном случае предполагается, что подчинение и угнетение описывают два принципиально различных типа властных отношений. Подчинение предполагает легитимное господство; угнетение, наоборот, — кризис легитимности власти. Подчинение предполагает устойчивую культуру адаптации, которую с натяжкой можно назвать молчаливым или скрытым сопротивлением, а угнетение — потенциал роста сознания угнетаемых групп, активные солидарные формы борьбы за переустройство социального порядка. В целом, однако, и подчиненные, и угнетенные социальные группы могут мобилизовать имеющиеся у них ресурсы, для того чтобы сопротивляться ухудшению своего положения или добиваться его улучшения. Однако власть подчиненных имеет свои особенности.

«Власть сильных» и «власть слабых»

В социальной реальности, которая видится нам как конфликтогенное поле социальных взаимодействий, всегда существует неравное распределение возможностей, т. е. присутствует некоторый дифференциал власти. Слабый и сильный, подчиненный и господствующий равно являются действующими лицами, но их ресурсы, а значит и потенциал контроля взаимодействий, различны. Для них характерна также разная степень ответственности за результаты действий. Власть как способность действовать — это не только принуждение и доминирование сильного, но и влияние исподволь, манипулирование и скрытые способы достижения целей.

В чем же заключается «власть слабых»? Каковы стратегии «безвластных» агентов, т. е. тех, для которых типична нехватка ресурсов и к которым по определению относятся группы женщин в патриархатных обществах? Ответ на эти вопросы может быть получен с использованием моделей, которые предлагают исследователи, работающие с понятием «моральная экономика» (Фицпатрик 2001а, 2001б; De Certeau 1984; Scott 1985). Они рассматривают дифференциал сил, действующих в поле властных отношений. При таком подходе основная идея заключается в том, что властью наделены все действующие в социальном пространстве лица, но способы ее исполнения, ее объем и качество различны. Есть власть колониального правительства и есть власть крестьян, находящихся под его гнетом; есть власть выстраивания стратегии и есть власть тактик, с помощью которых люди приспосабливаются к стратегиям власть имущих, видоизменяют их и сопротивляются им. Аналогично в патриархатном обществе есть власть мужского общества, осуществляющего господство, и власть женщин, которые являются вторым, или слабым, полом. Предполагается, что можно выделить некоторые значимые характеристики, различающие эти два типа власти. Господствующая власть проявляется в способности выстраивать и осуществлять стратегию, т. е. макроплан, нацеленный на проект будущего. Такая власть может прибегнуть к легитимному принуждению; это власть номинации, опирающаяся на научный дискурс, власть, способная формировать и поддерживать семантические и моральные правила социальных взаимодействий. Это власть-авторитет, сопряженная с ответственностью за последствия действий и за подчиненных, понуждаемых к действиям в рамках стратегического проекта.

Иной представляется власть подчиненных. Она имеет не стратегический, а тактический характер и осуществляется в реактивных практиках адаптации к стратегиям[14]; эти практики диффузно распылены, их формы изменчивы во времени и пространстве, изобретательны. Однако все они обладают сходной

[14] В дальнейшем мы избегаем различения тактик подчиненных и стратегий господствующих исключительно из стилистических соображений. Вместо этого мы выделяем два типа стратегий — стратегии господствующих и стратегии подчиненных.

формой; тактики подчиненных реализуются через механизм манипулирования, т. е. непрямого и часто индивидуализированного влияния на власть имущих. Подобно неуловимому Протею носители (или исполнители) этого типа власти могут менять свою идентичность в зависимости от ситуации. Они являются то инвалидом, нуждающимся в защите, то раболепным воплощением верности, то символом коварной измены. Субъекты власти-подчинения используют разнообразные реактивные, тактические, непрямые способы достижения целей, для которых подходящим названием является «скрытое влияние», в отличие от открытого господства и легитимного принуждения, осуществляемого сильными. Легитимность этих тактик встроена в порядок господства. Это практики подчиненных, но не угнетенных. В данном случае различие, которое мы проводим между «подчинением» и «угнетением», существенно. Подчинение предполагает признание полномочий власть имущих, признание справедливости неравенства в доступе к ресурсам и благам со стороны общества в целом и со стороны самих негативно привилегированных групп. Угнетение и эксплуатация — это термины, которые указывают на несправедливость в распределении власти и на возможность выработки наступательных коллективных стратегий переопределения социального порядка (стратегий солидаризма и узурпации). Подчиненные — субъекты скрытого влияния — могут уклоняться от ответственности за осуществляемые действия или не признавать такую ответственность. Поэтому степень легитимности такого типа власти гораздо ниже. Подчиненные, осознавшие свое угнетенное положение, стараются изменить стратегии достижения целей. На смену манипулированию приходят действия протеста.

Этот подход подробно разработан английским социальным историком Дж. Скоттом. Он рассматривает проекты государственной власти и ее воздействие на жизнь обычных людей (Scott 1998). Он показывает, что период «высокого модернизма» характеризуется макропроектами авторитарного государственного планирования и картографирования социального пространства, прописывания его до мелочей, вплоть до создания категорий для классификации индивидов и групп, подвергающихся учету и контролю. Грандиозные проекты конструирования социального мира (Ле Корбюзье, Мак-Намара,

Сталин) предполагают особую познавательную перспективу, особое знание — типа *techne*. В отличие от государственного локальное практическое знание простых людей Скотт определяет как *metis*. Этот древнегреческий термин отсылает нас к мифологической богине мудрости (хитроумия) Метис, первой супруге Зевса, которую проглотил царь богов, поскольку, согласно пророчеству, она должна была произвести на свет потомство, угрожающее власти олимпийца. Метис-Мудрость опасна для авторитета Громовержца, поскольку она может породить нечто, обладающее возможностью уничтожить его власть. Практическое знание, олицетворяемое в образе Метис, пластично, конкретно, подвижно и реактивно, импровизационно и способно к постоянному обновлению в зависимости от ситуации.

Мифологическим воплощением знания типа *метис* был хитроумный Одиссей, обманувший и ослепивший циклопа Полифема, буквально проскользнувший между пальцами великана, — он привязал себя и своих спутников к животам овец. *Метис* как локальное знание, укорененное в контексте своего воспроизводства, может утрачиваться вместе с изменением макростратегии господствующих групп. Однако можно предположить, что воспроизводство контекста может заново создать условия воспроизводства *метиса* как «хорошо забытого» старого опыта, когда такое воспоминание рассматривается как возрождение традиции. *Метис* — это локальное знание, ставшее культурой угнетенных, не признающих своего угнетения. *Метис* — это хабитус угнетенных, который является воплощением их классового места. На наш взгляд существенными чертами этого практического знания, реализуемого в действиях, являются рутинизированность и устойчивость. Даже когда стратегии господствующих классов меняются и возникают новые возможности для исключенных прежде групп, *метис*, или хабитус, продолжает сохраняться.

Эффект запаздывания (гестерезиса), характеризующий воспроизводство рутинных практик в условиях изменившихся институциональных условий, распространяется и на устойчивые стратегии подчиненных, ставшие частью культуры (см.: Бурдье 2001). П. Бурдье пишет: «Очевидно, что эту специфическую форму доминирования можно адекватно понять, лишь преодолев наивную оппозицию между насилием и подчинени-

ем или принуждением и согласием. В действительности принуждение, производимое символическим насилием, реализуется посредством вынужденного признания, которое доминируемые не могут не даровать доминирующим. Поскольку, чтобы мыслить самих себя и доминирующих, они располагают лишь теми мыслительными инструментами, что являются общими как для доминирующих, так и для доминируемых» (Там же: 15). Иными словами, подчиненные принимают свое подчинение. И хотя Бурдье скептичен по отношению к эффективности стратегий подчиненных, в символическом порядке он признает особые женские практики (практики подчиненных) — интриганство, коварство, сексуальное манипулирование и т. д.

Мы предполагаем, что женскую власть-манипулирование («власть слабого пола») можно рассматривать как *метис*, как практическое локальное знание подчиненных, выросшее в контексте классического патриархата и воспроизводящееся в современных условиях нео- и постпатриархатных ситуаций[15]. Итак, мы утверждаем, что в патриархатном обществе «власть женщин» является «властью слабых» и обладает следующими чертами.

Во-первых, она может быть осмыслена как манипулирование или непрямое влияние на тех, кто доминирует открыто.

Во-вторых, границы ее легитимности неопределенны и подвижны, а зачастую она представляется нарушением правил (это и отображено в негативных смыслах термина «стерва»).

В-третьих, носители такой власти могут ускользнуть от ответственности за результаты действия, что связано с дефицитом легитимности.

В-четвертых, специфическая «власть слабого пола» укоренена в сфере катексиса (семейных и интимных эмоциональных отношениях) с присущими ей отношениями власти и авторитета.

---

[15] В таком же русле рассуждает о патриархате Гидденс. Анализируя институт семьи и брака, он пишет, что «очень часто власть в семьях принадлежит женщинам, но осуществлять свое влияние они могут преимущественно косвенным путем. Женщина стремится замаскировать всякую власть, потому что это выглядело бы как нечто незаконное» (Гидденс 1999: 374).

В-пятых, данная власть погружена в повседневность; она индивидуализирована, рутинизирована и потому трудно распознаваема, ее трудно разрушить как таковую.

В-шестых, «женская власть» как проявление патриархата может разрушиться только вместе с ним.

В-седьмых, феминистская политическая стратегия должна заключаться в переосмыслении подчинения в категориях угнетения и разработке прямых солидарных стратегий построения эгалитарного гендерного порядка.

Патриархат и патриархаты

Итак, «женская власть» как стратегия подчиненных и дискурсивная фигурация неотделима от патриархата. Однако патриархат неоднороден, и современные исследователи чувствительны к различиям патриархатных обществ.

Социолог феминистской ориентации С. Уолби определила патриархат как систему социальных структур и практик, при которой мужчины доминируют, подавляют и эксплуатируют женщин (Walby 1986). Патриархат как система мужского доминирования воспроизводится посредством государства, семьи, разделения труда, религии, системы образования и других социальных институтов. На дискурсивном уровне патриархат выражается в том, что мужская точка зрения оказывается доминирующей в социальном и гуманитарном знании, в культуре в целом, а женский взгляд и опыт оттеснены в «культурное зазеркалье» (Воронина 2005). Символический патриархат может быть описан как культурный андроцентризм (Fraser 1997), иерархия ценностей которого выстроена таким образом, что все то, что маркируется как женское, обладает заведомо меньшим значением, нежели символическое мужское.

В этих определениях патриархата осуществление власти понимается преимущественно как угнетение и эксплуатация, которые проявляются в механизмах принуждения, насилия, дискриминации и других формах исключения. Механизмы исключения женщин как социальной категории меняются и соответствуют разным типам патриархата и разным институциональным контекстам. Исключение, осуществляемое с помощью насилия, сменяется более цивилизованными формами исключения, связанными с работой идеологического аппара-

та господства, с социально-психологическими механизмами и механизмами групповой динамики. Наиболее тонким и изощренным механизмом исключения является «вытеснение» («mobbing»). Это понятие в феминистской правовой теории употребляется наряду с терминами «моральная дискриминация» («moral discrimination») и «моральное давление» («moral harassment»). Вытеснение — это мягкий способ исключения меньшинства, который с трудом поддается регистрации в исследовательском поле. Его маркером может быть только осознание этого явления, подобно тому как дедовщина в качестве механизма поддержания патриархата в армии проблематизируется только при злоупотреблении авторитетом.

В своей классической форме теория патриархата опирается на представление об отношениях власти как взаимодействии с нулевой суммой, при которой вся власть сконцентрирована в руках господствующей группы, а угнетенные полностью лишены власти. Таким образом, общество представляет собой дихотомию господствующих и подчиненных, угнетателей и угнетенных, власть имущих и безвластных.

Наше представление о власти при патриархате более сложное. Оно позволяет дополнить интерпретацию механизмов патриархатного угнетения еще одним весьма существенным аспектом — анализом власти подчиненных как необходимым структурным компонентом патриархатного господства. При этом мы должны иметь в виду различия патриархатных обществ и соответственно различия способов осуществления «власти слабого пола». «Власть безвластных» существенно трансформируется при изменении форм патриархата. Рассмотрим представления некоторых феминистских исследователей о различиях патриархатных обществ более подробно.

Шведский социолог Г. Терборн выстраивает политическую и историческую географию патриархатов, различая их по критерию устройства частной сферы. Именно сфера семейных и интимных отношений рассматривается им как ключевое поле системы подавления женщин. Под «классическим патриархатом» он понимает семейный уклад, предполагающий безусловную власть отца в семье, сильное влияние родителей на заключение браков, главенство мужа и вторичный статус дочери по сравнению с сыном (Therborn 2004: 130). С точки зрения Терборна в конце XX века в результате процессов эмансипации и

последующего консервативного ренессанса «депатриархализации» в современном мире существует три основных типа гендерного порядка: постпатриархат, неопатриархат и промежуточный тип[16].

В постпатриархатных обществах женщины обладают автономией; они в экономическом и властном отношении относительно независимы от родителей и мужей. Достигается равенство прав мужчин и женщин в семье. Женщины обретают публичную власть (несмотря на то, что продолжает сохраняться господство мужчин в публичной сфере). В неопатриархатных обществах, в той степени, в которой женщины лишены автономии и доступа в публичную сферу, они могут пользоваться только скрытыми рычагами приватной власти-манипуляции. В обществах промежуточного типа возникают разные конфигурации власти. Именно в таком контексте мы рассматриваем *гендерный порядок советского и постсоветского типа.*

Для анализа баланса власти в патриархатных обществах разного типа эвристичным является понятие «патриархальная сделка», предложенное Д. Кандиоти (Kandiyoti 1988)[17]. Согласно этой теории, договор между гендерными группами, выделяемыми по признаку пола, выгоден для обеих сторон, поскольку подчиненные получают выгоды, мобилизуя имеющиеся у них ресурсы. «Патриархальная сделка» — гарантия защиты и безопасности представителей низших статусных групп, полу-

---

[16] Это постпатриархатные общества (Северная Америка, Латинская Америка с некоторыми исключениями, Япония, Корея, Океания, в основном Восточная Европа и Россия), неопатриархатные общества (большинство мусульманских стран, Индия, сельские области Китая, некоторые регионы Латинской Америки) и общества промежуточного типа (Южная Азия, Южная Африка, Турция, Западная Африка).

[17] Мы различаем патриархальный и патриархатный порядок. По определению К. Миллет (1994), патриархат — это семейная, социальная, идеологическая, политическая система, в которой женское всегда подчинено мужскому. Здесь под патриархальным порядком понимается система контроля, осуществляемая расширенной семьей, в первую очередь старшим поколением, при низкой степени автономии супружеской пары. Под патриархатным порядком понимается главенство мужчины в автономной (проживающей отдельно, имеющей собственные источники дохода) нуклеарной семье (паре).

чаемая ими в обмен на подчинение предписанным ролям[18]. Ответственность за организацию жизни общины в целом возлагается на старших мужчин. Подтверждая свой статус подчиненных и следуя поло-ролевым предписаниям, женщины на самом деле используют разнообразные формальные и неформальные стратегии, стремясь максимизировать свою безопасность и оптимизировать жизненные шансы. Кандиоти сравнивает две системы патриархата — Суб-Сахару и Азию (Южную, Восточную и мусульманский Средний Восток). Исследовательница анализирует различия «правил игры» в гендерном устройстве обществ, которые задают разные структурные условия для действий слабых агентов. В первом случае (Сахара) женщины имеют бóльшую автономию, во втором (Азия) — меньшую. Для Кандиоти важным является тезис о различиях патриархатных обществ, которые часто игнорируются исследователями, интерпретирующими патриархат как некое монолитное и унифицированное социальное устройство. В наиболее жестких системах патриархата у женщин практически нет открытых рычагов власти, а в менее жестких патриархатных обществах женщины, не имея легитимной публичной власти, тем не менее обладают определенной автономией и авторитетом в рамках своих ролей. Соответственно они используют разные стратегии влияния, причем пространство для таких стратегий существует и в странах «классического» патриархата.

Согласно Кандиоти, «классический» патриархат предполагает минимальную автономию женщин или ее полное отсутствие, вторичный статус женщин в патриархальной родительской и патрилокальной супружеской семье (Kandiyoti 1988: 274—290). Полное господство мужчин в обществе означает их ответственность за благополучие подчиненных (младших мужчин и женщин). Однако пример мусульманских стран Азии — стран «классического» патриархата (где девочки выдаются замуж родителями, подчиняются не только мужу, но и старшим родственникам) — показывает, что старшие женщины осуществляют контроль взаимодействия в родовом сообществе.

[18] «Патриархальная сделка» может быть также проиллюстрирована механизмами воспроизводства дедовщины в призывной армии.

последующего консервативного ренессанса «депатриархализации» в современном мире существует три основных типа гендерного порядка: постпатриархат, неопатриархат и промежуточный тип[16].

В постпатриархатных обществах женщины обладают автономией; они в экономическом и властном отношении относительно независимы от родителей и мужей. Достигается равенство прав мужчин и женщин в семье. Женщины обретают публичную власть (несмотря на то, что продолжает сохраняться господство мужчин в публичной сфере). В неопатриархатных обществах, в той степени, в которой женщины лишены автономии и доступа в публичную сферу, они могут пользоваться только скрытыми рычагами приватной власти-манипуляции. В обществах промежуточного типа возникают разные конфигурации власти. Именно в таком контексте мы рассматриваем гендерный порядок советского и постсоветского типа.

Для анализа баланса власти в патриархатных обществах разного типа эвристичным является понятие «патриархальная сделка», предложенное Д. Кандиоти (Kandiyoti 1988)[17]. Согласно этой теории, договор между гендерными группами, выделяемыми по признаку пола, выгоден для обеих сторон, поскольку подчиненные получают выгоды, мобилизуя имеющиеся у них ресурсы. «Патриархальная сделка» — гарантия защиты и безопасности представителей низших статусных групп, полу-

---

[16] Это постпатриархатные общества (Северная Америка, Латинская Америка с некоторыми исключениями, Япония, Корея, Океания, в основном Восточная Европа и Россия), неопатриархатные общества (большинство мусульманских стран, Индия, сельские области Китая, некоторые регионы Латинской Америки) и общества промежуточного типа (Южная Азия, Южная Африка, Турция, Западная Африка).

[17] Мы различаем патриархальный и патриархатный порядок. По определению К. Миллет (1994), патриархат — это семейная, социальная, идеологическая, политическая система, в которой женское всегда подчинено мужскому. Здесь под патриархальным порядком понимается система контроля, осуществляемая расширенной семьей, в первую очередь старшим поколением, при низкой степени автономии супружеской пары. Под патриархатным порядком понимается главенство мужчины в автономной (проживающей отдельно, имеющей собственные источники дохода) нуклеарной семье (паре).

чаемая ими в обмен на подчинение предписанным ролям[18]. Ответственность за организацию жизни общины в целом возлагается на старших мужчин. Подтверждая свой статус подчиненных и следуя поло-ролевым предписаниям, женщины на самом деле используют разнообразные формальные и неформальные стратегии, стремясь максимизировать свою безопасность и оптимизировать жизненные шансы. Кандиоти сравнивает две системы патриархата — Суб-Сахару и Азию (Южную, Восточную и мусульманский Средний Восток). Исследовательница анализирует различия «правил игры» в гендерном устройстве обществ, которые задают разные структурные условия для действий слабых агентов. В первом случае (Сахара) женщины имеют бóльшую автономию, во втором (Азия) — меньшую. Для Кандиоти важным является тезис о различиях патриархатных обществ, которые часто игнорируются исследователями, интерпретирующими патриархат как некое монолитное и унифицированное социальное устройство. В наиболее жестких системах патриархата у женщин практически нет открытых рычагов власти, а в менее жестких патриархатных обществах женщины, не имея легитимной публичной власти, тем не менее обладают определенной автономией и авторитетом в рамках своих ролей. Соответственно они используют разные стратегии влияния, причем пространство для таких стратегий существует и в странах «классического» патриархата.

Согласно Кандиоти, «классический» патриархат предполагает минимальную автономию женщин или ее полное отсутствие, вторичный статус женщин в патриархальной родительской и патрилокальной супружеской семье (Kandiyoti 1988: 274—290). Полное господство мужчин в обществе означает их ответственность за благополучие подчиненных (младших мужчин и женщин). Однако пример мусульманских стран Азии — стран «классического» патриархата (где девочки выдаются замуж родителями, подчиняются не только мужу, но и старшим родственникам) — показывает, что старшие женщины осуществляют контроль взаимодействия в родовом сообществе.

[18] «Патриархальная сделка» может быть также проиллюстрирована механизмами воспроизводства дедовщины в призывной армии.

Их «ресурсами» является материнское и супружеское влияние, которое они оказывают на сыновей и мужей. Старшие женщины выбирают жену для сына, и в дальнейшем невестка подчиняется свекрови и признает ее власть в семье. Старшие женщины заинтересованы в том, чтобы воспроизводилась их семейная власть; они манипулируют мужьями и сыновьями, препятствуют выделению молодых семей из расширенной семьи. Такие стратегии считаются основой «женского консерватизма». Им противостоят стратегии молодых мужчин, стремящихся отделиться от семьи, а также распространение романтической любви в современном мусульманском мире, которая создает потребность в выделении супружеской пары в «автономную единицу», независимую от старших родственников, и ограничение контроля со стороны последних. Иными словами, постепенно происходит проблематизация правил «патриархальной сделки» даже в жестких патриархатных системах. Начинаются «переговоры» и конфликты по поводу гендерного распределения ресурсов, прав и обязанностей. Условия «патриархальной сделки» в современном мире могут оспариваться и переопределяться.

«Патриархальная сделка» проходит нормальную и кризисную фазу. В период нормальной фазы классического патриархата всегда существуют анормальности (разведенные или бездетные женщины, женщины, у которых нет сыновей или чьи сыновья нарушают «правила игры»). Однако такие феномены считаются случайными, норму конституирует патриархальная семья. В кризисной фазе постклассического патриархата начинается проблематизация гендерного устройства, существующие правила перестают действовать, уже нельзя не замечать аномалии. Реакция на такую проблематизацию двойственна. С одной стороны, происходит рост автономии женщин и их реальной власти, осуществляется борьба за равные права и т. д.; с другой стороны, усиливается консервативная реакция, воспроизводится патриархат и соответственно остаются востребованными скрытые рычаги влияния слабых. Понятие «патриархальная сделка» предполагает признание особых стратегий зависимых женщин.

Для осмысления феномена «женской власти» как структуры патриархата полезны также рассуждения Н. Фрезер, которая различает разные типы угнетения женщин. Классический

патриархат характеризуется сочетанием экономического и культурного угнетения женщин. Постклассический патриархат, который переживает современное, в том числе и российское, общество, в значительной мере определяется тенденциями преодоления правового и экономического угнетения женщин, но совершенно явным образом воспроизводит культурное угнетение — андроцентризм. Во многих современных обществах именно андроцентризм оказывается особенно живучим; он проявляется и в феномене стеклянного потолка, свидетельствующем о наличии барьеров социального продвижения женщин, и в поло-типизации менее оплачиваемых видов труда, и в гендерном дисбалансе в сфере политического участия (Fraser 1997).

Культурное угнетение женщин можно определить как системную характеристику общества, при котором большее символическое значение имеют черты, традиционно описываемые как признаки мужественности. Культурный сексизм заключается в символическом принижении того, что считается в обществе женственным, и ассоциируется с женщинами, но не только с ними. Непризнание или принижение женского опыта и его символической репрезентации сказывается в низкой оценке и самооценке женщин и в стремлении части женщин «догнать и перегнать» мужчин в символической конкуренции. Культурный андроцентризм культивирует различия полов и придает им символический характер. Однако эти культурно-биологические различия рассматриваются как основания сегрегации и неравного доступа к общественным благам. Именно андроцентризм как культуральный патриархат порождает так называемые женские стратегии достижения власти. Чтобы обойти препятствия, чинимые культурным сексизмом, нужно воспользоваться особым женским ресурсом, ресурсом слабого пола. Но чтобы преодолеть андроцентризм, необходимо изменить гендерную культурную карту. Необходимы символическая децентрализация традиционной мужественности и обеспечение уважения к символически менее значимому гендеру. Деконструкция «женской власти» есть часть стратегии по перекраиванию гендерной культурной карты общества.

Часть устойчивых гендерных различий, к которым относится и так называемая женская власть, является следствием устойчивых паттернов угнетения женщин; такие различия со-

храняются как оправдание и рационализация культурного патриархата. Так же как К. МакКинон (MacKinnon 1986) и А. Янг (Young 1990), мы утверждаем, что женская власть-манипулирование есть артефакт подавления женщин, и задача феминизма заключается в том, чтобы дезавуировать ее как особую женскую стратегию приспособления к патриархату. Эту же точку зрения разделяет П. Бурдье в своей работе «Мужское господство»: «Не имея возможности понять фундамент общей веры, находящийся в основании самой игры, они (мужчины и женщины. — *Авт.*) могут воспринимать только отрицательные свойства, которыми господствующая точка зрения наделяет женщин. К ним относится, например, хитрость, или, если взять более положительную характеристику, интуиция. В действительности они навязываются женщинам посредством силовых отношений, которые объединяют и разделяют так же, как и приписываемая женщинам негативная добродетель. Дело представляется так, как будто... женщина, которая символически обречена на подчинение и покорность, может получить некоторую власть в домашней борьбе, лишь используя такую силу, как хитрость, способную обратить против сильного его же собственную силу. Например, женщина может действовать как серый кардинал, согласный оставаться в стороне и в любом случае не признающий за собой какой бы то ни было власти, чтобы управлять по доверенности» (Бурдье 2005: 298—299).

Итак, все приведенные рассуждения, привлекая внимание к различиям патриархатов, тем не менее демонстрируют, что во всех патриархатных обществах сохраняется «женская власть» как власть подчиненных. Рассмотрим специфику этой власти в российском обществе.

Россия как разрушающийся патриархат и динамика «женской власти»

К. Воробек, исследуя Россию досоветского времени, полагает, что женщины могут быть сильными даже в условиях патриархатного общества (Worobek 1991). Они адаптируются к патриархату, максимизируя свою власть в пределах предписанных им традиционных ролей. Авторитет матери особенно значим в традиционном обществе. Он может проявляться в том числе в сфере политического конфликта[19]. Неформальная

«власть женщин» закреплена обычным правом и связана с их ролью в воспроизводстве; женщины оказывают влияние через своих детей, участвуют в организации браков, в управлении семейными и клановыми отношениями, тем самым участвуя в политических и экономических связях. В аграрных патриархальных обществах женщины обретали власть через усвоение ролей, соответствующих их возрасту и предписанному полу, а также через молчаливое сопротивление (Репина 1997; Worobeck 1991).

Та же тематика прослеживается применительно к советскому контексту, далеко не изжившему патриархальные нравы, несмотря на официальную риторику гендерного равенства (политику гендерной мобилизации). В исследовании повседневности сталинизма Ш. Фицпатрик, опираясь на идеи Дж. Скотта, описывает разнообразные стратегии подчиненных (Фицпатрик 2001а, 2001б). Ее работа включает анализ гендерной проблематики. Исследовательница выделяет особые женские стратегии приспособления. Реакцией на стратегическое принуждение партии-государства становится формирование специфических женских способов действия. С одной стороны, это вписывание себя в проекты власти, активная адаптация к ним, а с другой — разнообразные виды избегания и манипулирования. Фицпатрик показывает, что женские обращения в государственные инстанции — жалобы, доносы, петиции — связаны с государственной политикой поддержки советской семьи и материнства, политикой выдвижения женщин в публичную сферу. В частности, значительное число таких обращений — это жалобы на мужей, которые уклоняются от супружеского долга или уплаты алиментов. Женщины апеллируют к государственным инстанциям, ожидая от них поддержки в борьбе с институциональным патриархатом, когда, несмотря на «политику выдвижения», их притесняют начальники на работе или когда они становятся объектами сексуальных домогательств. Государственный советский патриархат (представляя себя как государственный феминизм) существовал таким образом, что женщины вырабатывали особые стратегии, соче-

[19] См., например, правило «белого платка» у мусульманских народов или роль организаций солдатских матерей.

тающие противодействие традиционным патриархатным структурам и использование их. Они вступали в альянс со справедливыми и безличными «государственными патриархами» и не пренебрегали ресурсами, унаследованными от классического патриархата. Такие стратегии стали возможными благодаря тому, что государство позиционировало женщин как граждан особого типа, имеющих исключительные обязанности и права в советском обществе.

Советское общество может быть описано как общество разрушающегося классического патриархата, кризиса «патриархальной сделки» при сохранении культурного патриархата, т. е. андроцентризма. Когда патриархат начинает разрушаться, стратегии женщин дифференцируются и трансформируются. Одна группа стратегий связана с ростом эгалитарных тенденций — автономии и независимости женщин, с борьбой за права и обретением реальной власти в публичном пространстве. Вторая группа стратегий способствует воспроизводству консервативных гендерных ценностей, воспроизводству и акцентуации «женской власти» как власти-манипулирования. Обе эти тенденции присутствуют в постсоветских обществах. Итак, «женская власть» как «власть слабых» — это признак патриархата. Ее акцентуация представляет собой мобилизацию традиционной женственности в целях совладания с рисками разрушающейся «патриархальной сделки». Скажем это другими словами.

Эгалитарные тенденции российского гендерного порядка выражаются в том, что женщины утрачивают потребность в манипулятивных стратегиях; они становятся агентами, реализующими реальную публичную власть (противоположность косвенной власти-манипулирования). XX век — это период гендерной модернизации и разрушения (или трансформации) патриархата в разной степени в различных частях света, это время усиления публичных позиций женщин и развития тенденций гендерного равенства (Therborn 2004). Публичная «власть женщин» описывается в феминистской литературе как право доступа женщин к ресурсам, как контроль над ними, а также как возможность принимать и проводить в жизнь решения в домашнем хозяйстве, в политике, в экономике, в культуре. Власть при этом рассматривается не как господство над другими, а как способность и институционально закрепленная возможность действовать и преодолевать препятствия, сопро-

тивляться подавлению, вырабатывать и принимать решения. Власть — это способность менять правила, это потенциал трансформации (Empowerment 1999: 28).

Однако существует контртенденция. В той степени, в какой публичная «власть женщин» в современной России остается неполной, неравной или недостаточно легитимной, сохраняется потребность в манипулятивных стратегиях. Особым является вопрос о том, что́ происходит с «властью безвластных» в процессе разрушения классического патриархата (в период постпатриархата). Мы полагаем, что кризис патриархата предполагает усиление и расширение ареала «власти безвластных», с одной стороны, и кризис ее легитимности — с другой. Разрушающийся патриархат допускает женщин в публичную сферу, но ограничивает их возможности, создавая конкуренцию между субъектами разного пола в публичной сфере. Конкуренция с нарушением правил в современной российской публичной сфере (которую иногда описывают в категориях дикого капитализма) ставит женщин в невыгодные условия. Именно на этой фазе патриархата усиливается использование традиционной «женской власти» в не свойственных для нее контекстах публичного пространства. Такими стратегиями власти женщины пытаются компенсировать нехватку ресурсов прямого управления, с одной стороны, и институционализированного насилия — с другой. Однако такая власть-манипулирование не считается легитимной: полагают, что именно ее используют «стервы» — женщины, представляющие угрозу мужскому господству, замаскированному в виде «честных правил игры».

Нелегитимная «женская власть» принимает разные формы, но существует две ее разновидности, которые мы считаем ключевыми, — власть сексуально-эротическая и власть заботы. В обоих случаях аффективно ориентированные действия — забота или сексуальное поведение — становятся способами извлечения благ, механизмами неявного контроля или ограничения свободы действий других. Сексуально-эротическая власть осуществляется через использование ресурсов сексуальной привлекательности за пределами легитимной сферы желания и любовных отношений (напомним высказывание Позднышева из «Крейцеровой сонаты» — см. эпиграф). Власть заботы исполняется как манипулятивная, когда она ограничивает возможности самостоятельного действия тех, на кого направлена.

Дискурсивное (не)признание «женской власти» в постсоветский период

Приведенная выше цепь рассуждений может быть применена и к анализу российского гендерного порядка. Именно в отношении современного российского общества при обсуждении гендерной и феминистской тематики часто звучит тезис о нерелевантности западных дискурсов и практик. Нерелевантным считается и понятие «патриархат». Выдвигается следующий аргумент: женский вопрос у нас решен, у женщин и так слишком много власти и прав. Приведем только одно высказывание журналиста А. Никонова из передачи «К барьеру: А. Никонов — М. Арбатова». «Какого вам еще равноправия не хватает? ...Я не люблю коммунистов, но они сделали две хорошие вещи: всеобщая грамотность и окончательное решение женского вопроса. Раньше, чем Европа и Америка и т. д. Хочешь за трактор — за трактор садись. Хочешь в космос — запустим. В Верховный совет — пожалуйста... Хочешь шпалу потаскать? Вот шпала — бери, таскай» (Никонов 2005б).

Российский дискурс изобилует также ностальгией по *естественному гендерному порядку*, утраченному в ходе насильственной модернизации советского образца. Т. Барчунова отмечает, что «вариации на тему "естественного" порядка властных отношений многообразны, но, как правило, сводятся к трем основным сюжетам: утверждение доминирования мужчин над женщинами; манипулирование мужчинами, осуществляемое со стороны женщин; приравнивание женской эмансипации к сексуальной распущенности...» (Барчунова 2002). Таким образом, естественный порядок видится как легитимный патриархат, предполагающий неизбежно особую женскую власть-манипулирование.

Такие утверждения слышны на фоне общеизвестной статистики о более низких заработках женщин, об отсутствии женщин в политических органах на федеральном уровне, в крупном бизнесе, среди высокооплачиваемых финансовых работников и хай-тека. Среди руководителей органов власти и управления всех уровней число женщин составляет 39 %, среди работодателей — 35 %. Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин — 64 % (2003 год) (Женщины и мужчины 2004: 95, 97, 108). Другой контекст — это до-

машнее и сексуальное насилие, трафик, проституция и повседневный сексизм. Таким образом, сохранение в нашем обществе наиболее значимых патриархатных структур в сфере экономики, политики и приватной жизни сочетается с непризнанием феминистской повестки дня.

Что это означает для нас, социологов феминистской направленности? Как мы можем интерпретировать данный феномен? Идет ли речь о коллективном непризнании патриархата, необходимом для его «спасения», или о каких-то других, более сложных процессах? Попробуем ответить на поставленные вопросы, обратившись к контексту позднесоветского гендерного дискурса. В советском обществе государство осуществляло авторитарный проект гендерной модернизации. Наиболее модернизированной при этом становилась публичная сфера, с которой связаны ресурсы экономической независимости, в значительной степени определяющие социальный статус индивида и группы. Социальный статус женщин во многом определялся ее позицией в сфере оплачиваемого труда и в профессионально-должностной стратификации.

Однако основным пространством так называемой женской власти — власти, основанной на легитимном праве осуществлять заботу и вызывать страсть, — оставалась более традиционалистская приватно-семейная сфера, сфера интимных отношений или катексиса. Легитимная власть или авторитет женщин в приватной сфере поддерживались советским государством с одной стороны, инфраструктурным дефицитом — с другой, культурными нормами гендерной поляризации — с третьей. В приватной сфере женщина как мать, жена или сексуальная партнерша обладала (и до сих пор обладает) монополией на принятие и исполнение решений; она может подчинять своей воле других зависимых. В этой сфере осуществляются особые типы «женской власти». Именно здесь женщина черпает дополнительные ресурсы, связанные с властью так называемого сексуального объекта, вызывающего страсть и ставящего в зависимость от себя, или с властью заботы как ответственного отношения, предполагающего контроль и подчинение близких.

Трансформация в 1985—2000 годах привела к структурным изменениям гендерного порядка в России. Однако достигнутое в тоталитарную эпоху равенство женщины и мужчины в

общественной сфере (преимущественно уровень образования и занятости, а также экономическая независимость женщины в результате массового вовлечения в производство) — это, по словам Н. Римашевской, «то колесо российской истории, которое не только трудно, но практически невозможно безболезненно повернуть назад» (Римашевская 2002: 255).

Публичная сфера была и остается гендерно асимметричной, женщинам систематически не хватает ресурсов реальной легитимной власти в публичном пространстве. Ренессанс патриархата, возникший как социальное следствие структурных реформ (речь идет о 1990-х годах), выражается в усилении неконкурентоспособности женщин на рынке труда, приводит к снижению их трудовой занятости в общественном производстве и соответственно к падению их социального статуса (Там же: 255). Дефицит возможностей, вызванный в том числе нестабильностью и «дикостью» «правил игры», восполняется непрямой властью. Непрямая власть неуловима, косвенна; она порождена патриархатом и поддерживает его. Важность данной власти в контексте российской трансформации особенно велика в связи со значимостью социального капитала (сетевых ресурсов), определяющего стратегические возможности действующих лиц. Те, кому не хватает ресурсов, определяют практики социальных взаимодействий как «подковерные игры», к которым они не допущены. Они компенсируют неопределенность «правил игры» дикого капитализма и фиктивной демократии мобилизацией неформальных персонифицированных отношений, что создает основания для реализации власти-манипулирования. Такая власть предполагает наличие практической компетентности, использование практического знания типа *метис*. Такое знание «впечатано» в микрофизику гендерного дисплея. Так, например, женское кокетство может проявляться непроизвольно, как естественный дисплей, сформировавшийся в процессе гендерной социализации. Однако кокетство может служить достижению определенной цели, например легитимации присутствия женщины в мужском сообществе в качестве псевдосексуального объекта. Особенность власти-манипулирования связана также с тем, что, будучи публично непризнаваемой и лишенной авторитета, она не предполагает публичной ответственности за результаты своей реализации.

В российском обществе (и не только в нем) манипулирование другими является эффективной стратегией. Ею пользуются как мужчины, так и женщины. Однако в российском патриархатном дискурсе признается, что женщины по природе своей обладают преимуществами в использовании манипулятивных средств. *Ориентацию на отношения* и способность к управлению считают необходимой чертой женской идентичности. «Настоящая женственность» предполагает внимание к другому, эмпатию, инвестиции в эмоциональную работу, осуществление заботы, способность к пониманию и поддержке. Но «настоящая женственность» предполагает также сексуальную привлекательность и востребованность женщины как сексуального партнера. Ресурсы заботы и сексуальной привлекательности составляют основания власти-манипулирования, их значимость усиливается эффективностью социального капитала в трансформационном контексте. Примером осуществления такой власти является использование обаяния, эротизация и сексуализация формальных отношений, апелляция к традиционной женственности, требующей снисхождения и защиты. В условиях, когда невозможно добиться чего-то «по правилам», когда женщины оказываются структурно исключенными, они прибегают к гендерно маркированным стратегиям достижения целей. Если женщин вытесняют из публичной сферы, они интенсифицируют ресурс «катектичного» влияния. В постсоветское время публичная эротизация женских образов расширила рамки для интерпретации сексуальной привлекательности как средства манипулирования.

Итак, в постсоветском гендерном пространстве женская власть-манипулирование осуждается как власть «стервы», но признается как распространенная стратегия. С одной стороны, эгалитарные тенденции делают ее в некоторых ситуациях менее востребованной и менее легитимной. С другой стороны, она усиливается из-за структурной неопределенности, коммерциализации социальных отношений, из-за недостатка демократической правовой культуры. Тенденции разрушения социально-экономического патриархата сочетаются с усилением культурного патриархата — андроцентризма. Несмотря на реальное доминирование женщин в организации семейной жизни, его характеризует дефицит легитимности. В частности, О. Здравомыслова показывает, что главенство женщины в со-

временной московской семье готовы признать нормальным единицы опрошенных (Здравомыслова 2003: 101—103). В приватной сфере женщина способна принимать решения и подчинять им окружающих. Она осуществляет практики социального контроля. Однако у такой власти не хватает авторитета и легитимности; она описывается как манипулятивная, как ненужная женщинам и притесняющая мужчин, особенно когда она выходит за пределы семьи.

Свою власть в приватной сфере женщины воспринимают как вынужденную и избыточную. При этом мужчины полагают, что женщины пользуются такой властью целенаправленно: они подавляют, исключают и репрессируют других (мужчин и детей). В современном повседневном и научно-популярном дискурсе данная тенденция выражена в категориях «стервологии» (в современных пособиях «по эксплуатации мужчины»). В российском обществе не существует конвенции по поводу гендерного порядка, для него характерен гендерный конфликт: конфликт тенденций и конфликт интерпретаций (см.: Здравомыслова 2003). Такой конфликт выражается, в частности, в том, что женщины считают свою власть вынужденной, отождествляют ее с дополнительной нагрузкой и эксплуатацией. Однако мужчины считают, что женщины добровольно и сознательно монополизируют власть в семейной сфере. Так или иначе, признается избыточность «власти женщин». При этом эта власть имеет низкий или даже морально неприемлемый статус, часто рассматривается как злоупотребление или обуза, особенно когда она выходит за пределы интимной сферы.

В настоящее время наблюдается дифференциация гендерных контрактов и столкновение эгалитарных тенденций с тенденциями усиления андроцентризма. С одной стороны, в российском гендерном пространстве существуют сегменты эгалитарного уклада, при котором нет необходимости в манипулятивных стратегиях, с другой — очевидно присутствуют традиционно организованные социальные среды, для которых характерен культурный сексизм, усиливающий значимость *метиса* «женской власти». По всей видимости, в основном на традиционалистские взгляды рассчитаны многочисленные пособия «по эксплуатации мужчин» и «эротическому манипулированию», пособия «как найти богатого мужа», «по стервологии» и т. д. Обе обозначенные нами тенденции (тради-

ционалистская и эгалитарная) прослеживаются в этих научно-популярных руководствах, которыми изобилует дискурсивное пространство. Смысл этих текстов реконструируется нами *следующим образом. Во-первых, признается, что женщинам*, чтобы добиться позиций в публичном пространстве, нужно мобилизовывать самые разнообразные ресурсы — от мудрости и профессионального опыта до способности обольщать; во-вторых, одной из стратегий достижения цели является «дрессировка» мужчин и манипуляция ими.

Итак, патриархат как *система господства предполагает* определенную диалектику контроля. Структурное исключение женщин сочетается с формированием женских стратегий манипулирования. В современном российском контексте андроцентризм (или культурный патриархат) воспроизводит «женскую власть» как стратегию действия и как дискурсивную *конфигурацию, но дефицит ее легитимности свидетельствует* о разрушении классических патриархатных структур. Мы полагаем, что власть-влияние, власть-манипулирование, представляет угрозу для достижения идеала гендерного равенства. Она воспроизводит патриархатный гендерный порядок и порождается им в силу того, что существует барьер включенности женщин в «правила игры» на равных. С нашей точки зрения феминистская критика должна противодействовать усилению патриархатного дискурса и «женской власти». Разрушение «скрытой власти» будет способствовать эгалитаризации гендерного порядка и росту публичной власти женщин. В этом мы согласны с Н. Фрезер — есть различия, с которыми нужно бороться, ибо они являются непредвиденными следствиями патриархата.

ГЛАВА 2. СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК

Советский этакратический гендерный порядок[1]

(Е. здравомыслова, А. Темкина)

В статье анализируется советский гендерный порядок, который формировался в условиях государственной гендерной политики. Авторы считают его этакратическим, поскольку государственная политика начиная с 1917 года была направлена на различение граждан по признаку пола. Создание «нового» советского гендера («новой женщины», «нового мужчины» и новых отношений между полами) происходило в рамках политики по вовлечению женщины в общественное производство и политическую жизнь, государственного регулирования семьи, формирования и изменения официальных дискурсов, интерпретирующих женственность и мужественность.

Наша задача — показать, как советское государство создавало гендерный порядок, как менялись принципы гендерной политики на разных этапах социалистического строительства и каким образом эту политику осваивали различные категории населения. В своих выводах мы опираемся как на наши собственные исследования, так и на работы других авторов. Мы рассматриваем государство как институт, осуществляющий гендерное регулирование через политику принуждения и ведущий контроль над гендерными отношениями в обществах советского типа. Для государственного управления гендерными отношениями характерны два типа механизмов. С одной сто-

[1] Ранняя версия этого текста опубликована в «Социальной истории. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история» (под ред. Н. Пушкаревой. М.: РОССПЭН. С. 436–463).

роны, государство осуществляет нормативное принудительное регулирование, проводя политику пола и гендера в законодательных актах (Connell 1987: 126). С другой стороны, оно создает идеологический аппарат принуждения, контролирующий гендерные отношения через доминирующие официальные дискурсы, и задает рамки репрезентаций.

Аналитические категории, которые используются здесь для концептуализации гендерных отношений, были рассмотрены в первой главе монографии. Для анализа гендерных отношений советского периода мы используем категорию «гендерный порядок». Эта категория включает совокупность разных гендерных режимов (или укладов), которые создаются действиями и стратегиями людей, осуществляемыми в рамках заданных институциональных условий. Для конкретных людей — мужчин и женщин — эти условия формируют спектр объективных барьеров и возможностей осуществления действий и жизненных проектов. В условиях жесткого институционального контроля, характерного для советского общества, варианты жизненных и дискурсивных стратегий были ограничены и носили реактивный характер. Понятия «гендерное гражданство» и «гендерный контракт» мы используем при описании государственного конструирования новой мужественности и женственности. Понятие «гендерный уклад» является для нас значимым при анализе социальной организации половых различий в особых социальных слоях, общностях или средах, определяемых по принадлежности к классу, этничности и выделяемых по характеристикам стиля жизни. При этом мы исходим из представления о многоукладности российского гендерного порядка, несмотря на единую государственную политику и гомогенность официального дискурса.

Этакратическая система и гендерный порядок

В наших рассуждениях мы исходим из того, что гендерный порядок в советском обществе был этакратическим, т. е. в значительной степени определялся государственной политикой и идеологией, задающей возможности и барьеры для действий людей[2].

[2] Этакратическую стратификационную систему характеризуют следующие особенности: государственно-монополистический способ

Обсуждая роль государства в воспроизводстве социального неравенства и стратификации, марксистские теоретики, такие как А. Грамши и (позднее) Л. Альтюссер, особое внимание уделяют идеологической гегемонии правящего класса или идеологическому репрессивному аппарату. Идеологический репрессивный аппарат не использует прямые механизмы принуждения; через институты воспитания и образования, современные технологии и техники индоктринации (СМИ, радио, ТВ), проникая в частную сферу, он формирует установки и представления людей о правилах и практиках социального взаимодействия. Впоследствии сходные идеи развивает М. Фуко в своей теории дискурса как власти-знания, дисциплинирующей тела в социальном пространстве. Особое внимание он уделяет двум структурным элементам дискурса власти (официального дискурса): нормативным и нормализующим суждениям (Лебина 1999).

Применяя эти положения к изучению гендерного порядка в советском обществе, мы относим к нормативным суждениям официальные директивные документы партии и государства, а также правовые акты разного уровня. Нормализующие суждения власти, регламентирующие повседневную жизнь, можно обнаружить при анализе документов общественных организаций, официальных СМИ, текстов, рекомендованных комиссиями коммунистической партии по агитации и пропаганде, научных исследований. Нормализующие суждения формулируют эксперты разного профиля — медики и психологи, специалисты по научной организации труда, биологи и т. д. В случае советского общественного устройства эксперты, опираясь на авторитет науки, подтверждают и санкционируют партийные решения, влияющие на жизнь обычных людей. В этом заключается «партийность» советской науки. В гендерном дискурсе особенно значима роль медицинской экспертизы, которая предлагает рецепты

производства; процесс постоянного углубления огосударствления; милитаризация экономики; сословно-слоевая стратификация иерархического типа, при которой позиции индивидов и групп определяются их рангом, присвоенным государственной властью; отсутствие гражданского общества, правового государства и наличие системы подданства, партократии (Радаев, Шкаратан 1996: 260).

правильного трудового, репродуктивного и сексуального поведения работающих матерей.

Надо отметить, что советский нормализующий дискурс имеет свои особенности. Нормативные суждения власти, т. е. законы, подкрепляются механизмами их реализации и контроля исполнения. Создаются партийные структуры, призванные проводить в жизнь политику партии-государства (например, женотделы, женсоветы), организуется публичный дискурс — профессиональный и массовый (научно-популярные и агитационные кампании — АГИТПРОП), запускаются мобилизующие кампании, организующие советскую общественность (под названием массовых инициатив или общественных движений («походов»)). Все эти структуры образуют кластер нормализующих суждений; они не только формулируют правила поведения, но и контролируют их исполнение, используя дискурсивные техники клеймения и прославления.

Как мы увидим, структура экспертизы как части нормализующего дискурса власти всегда выглядит одинаково. Она состоит из трех основных блоков. В качестве экспертов, выразителем мнения которых являются СМИ, позиционируются представители партийно-государственной позиции (партийные и административные работники), представители науки (врачи, психологи, педагоги) и представители передовой общественности (выступающие от имени коллектива и опирающиеся при этом на свой жизненный опыт).

Этой моделью официального дискурса мы будем пользоваться при анализе организованного общественного мнения, влияющего на принятие различных нормативных актов, имеющих отношение к положению женщин. При этом дискурс советской власти нельзя рассматривать как единое когерентное непротиворечивое целое. Гендерная идеология, которая лежала в основе политических решений, часто была противоречивой, отражающей вне- и внутрипартийные дебаты.

Несмотря на действующую государственную машину нормализации и контроля, тоталитарный идеал управления был недостижим, и конкретные люди, принадлежащие к разным средам и социальным общностям, вырабатывали разнообразные жизненные стратегии: эмиграцию, эскапизм, пассивные и активные формы сопротивления и приспособления (Фицпатрик 2001б). Индивидуальные и семейные стратегии осуществ-

лялись на основе знания явных и скрытых правил игры, характерных для советских социальных институтов. Эти правила осваивались, создавались и затем воспроизводились, и советские люди приспосабливали их к своим нуждам.

Дискурс власти через нормативные и нормализующие суждения, а также соответствующие им практики определял не только большой мир официальных подвигов, но и порождал адаптивные жизненные стратегии «маленького мира» простых обывателей. Советское общество характеризовалось дихотомией высокого и низкого дискурса (официального и повседневного), которую блестяще реконструируют Ильф и Петров: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Днепровская гидроэлектростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь уйди-уйди, написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода. ...В советское время, когда в большом мире созданы идеологические твердыни, в маленьком мире наблюдается оживление. Под все мелкие изобретения муравьиного мира подводится гранитная база "коммунистической идеологии". ...И пока в большом мире идет яростная дискуссия об оформлении нового быта, в маленьком мире уже все готово: есть галстук "Мечта ударника", толстовка-гладковка, гипсовая статуэтка "Купающаяся колхозница" и дамские пробковые подмышники "Любовь пчел трудовых" (Ильф и Петров 1995б: 87).

Мы не будем здесь воспроизводить дискуссию о публично-приватной сфере советского периода, о неформальном, втором, параллельном обществе. В данном случае мы рассматриваем этакратический советский гендерный порядок на нескольких уровнях: на уровне нормативных актов и официальных идеологий (нормализующих суждений), с одной стороны, и на уровне стратегий индивидов и семей — с другой. Для нас важны в первую очередь роль государства в создании советского гендера и конкретные стратегии, составляющие ткань советской по-

вседневности. Мы исследуем гендерный порядок в хронологической последовательности. Послереволюционный период характеризовался конкурирующими дискурсами и политикой мобилизации женщин как особой социальной категории. В период сталинизма при помощи механизмов репрессий, жесткого контроля в сочетании с политикой социальных гарантий стабилизировался патримониальный этакратический контракт «работающая мать». Либерализация режима после XX съезда КПСС привела к постепенному ослаблению репрессивного и идеологического аппарата этакратии, кризису патримониальной политики и формированию дискурса, оппонирующего официальному.

Обсуждая советский гендерный порядок, в данной статье мы обращаемся преимущественно к анализу государственной политики *в отношении женщин*, поскольку гендерная сензитивность власти проявилась в детальной разработке нормативных актов и мер, регулирующих положение советских гражданок — матерей и работниц.

Периодизация советских гендерных отношений

В работах российского социолога И. Кона и американской исследовательницы Г. Лапидус предложена периодизация советской партийно-государственной политики в отношении сексуальности и женщин (Кон 2005; Kon 1995; Lapidus 1977). Иную периодизацию советской гендерной истории, основанную на выделении нескольких поколений советских людей, имевших разную социализацию и повседневный опыт, предлагает финская исследовательница А. Роткирх (Rotkirch 2000).

Все исследователи выделяют четыре периода советских гендерных отношений. Первый этап датируется 1918—началом 1930-х годов. Кон определяет его как период большевистского экспериментирования в сфере сексуальности и семейно-брачных отношений. Лапидус называет его периодом политической мобилизации женщин, или периодом женсоветов. В целом представляется, что большевистский период может быть представлен как гендерная политика решения женского вопроса посредством дефамилизации и политической мобилизации женщин.

Второй этап — начало 1930—середина 1950-х годов — концептуализируется как тоталитарная андрогиния, как период эконо-

мической мобилизации женщин. В нем выделяется «великий перелом» (1929—1934), которому, как отмечает Н. Тимашев (Timasheff 1946), соответствует традиционалистский откат в политике семейно-брачных отношений. Начало этого периода соответствует первым пятилетним планам индустриализации и коллективизации, а затем официальной декларации, согласно которой женский вопрос в Советском Союзе был решен. В 1936 году запрещаются аборты. Символические границы данного периода гендерной политики — 1955 год; тогда была отменена криминализация абортов и таким образом обозначена либерализация государственной репродуктивной политики.

Третий этап — середина 1950—конец 1980-х годов — приходится на период политической оттепели, начало которого датируется XX съездом КПСС, кампаниями массового жилищного строительства и новой постановкой женского вопроса, связанного с программой решения демографического кризиса в стране.

Четвертый этап начинается со времени политических и экономических реформ конца 1980-х годов, когда существенным образом меняется роль государства в регулировании социальных отношений вообще и гендерных в частности. В данной статье мы ограничиваемся анализом этакратического (советского) гендерного порядка.

Реконструируя гендерные дискурсы, мы обращаемся не только к официальной гендерной политике, но и к свидетельствам художественной, публицистической и научной литературы соответствующих периодов. Для анализа ранних периодов мы будем неоднократно обращаться к «энциклопедии советского быта» — двулогии Ильфа и Петрова.

Первый этап: дефамилизация и политическая мобилизация женщин

Рассмотрим подробнее, каким образом государство создавало новый советский гендер, и прежде всего новую женственность, в большевистский период. В это время в дискурсе власти выдвигается программа решения так называемого женского вопроса как вопроса политического. Женский вопрос, сформулированный в отечественном дискурсе в 1860-е годы российскими либералами и революционерами-демократами, в новых

условиях был переформулирован большевиками. Женщины были определены как особая категория граждан, имеющая значимые отличия от парной категории — мужчин. Отличия женщин как рода и пола в дискурсе большевистской власти позиционируются как репродуктивно-биологические и социально-политические. С одной стороны, женщины представлены как «отсталый элемент», нуждающийся в целенаправленном государственно-политическом воздействии, с другой стороны — как потенциальные матери и строители социалистического общества, в качестве каковых они должны быть мобилизованы пролетарским государством.

Выдвигая тезис «политической отсталости», «закабаленности» и «темноты» женщин, большевики признавали их неготовность к советской трансформации. Женщины для большевиков представляли политически опасную силу. А. Коллонтай в предисловии к материалам Первого съезда работниц и крестьянок утверждала: «Работницы служат оплотом для контрреволюционной и антисоветской агитации»; «работница не столько представительница женской половины пролетариата, сколько многочисленная политически отсталая группа, которую необходимо мобилизовать в спешном порядке перед лицом начавшейся мировой революции» (Коллонтай 1920: 7). Именно в борьбе с отсталостью женского пролетариата заключался смысл политики относительно женского вопроса. Женщины считались отсталым элементом не только потому, что их уровень грамотности статистически был гораздо ниже, чем уровень мужчин, но и потому, что они были оплотом традиционной семьи, частной сферы жизни.

Необходимость целевой агитационно-пропагандистской работы «среди женского пролетариата» обосновывалась задачами преодоления «темного проклятого наследия, доставшегося от капиталистического строя», что означало: «во-первых, закабаленность женщин неимущего класса в семье; во-вторых, худшие по сравнению с рабочим условия наемного труда при работе на предприятии; в-третьих, политическую отсталость, несознательность и темноту широких женских масс крестьянства и рабочих, вызванную вековым бесправием и социальным порабощением женщин». «Специальная работа» ставит своей целью пробуждение их классового самосознания и развитие в них революционной воли (Коллонтай 1920: 5). Политика но-

вого женского гражданства представлена рядом нормативных актов и политических кампаний, призванных вовлечь женщину в советскую публичную сферу, превратить ее в члена советского трудового коллектива: в работницу, общественницу и мать. Рассмотрим нормативные и нормализующие суждения власти, регулирующие разные сферы гендерного порядка.

В сфере занятости провозглашалась обязанность всех советских граждан трудиться: «Не трудящийся да не ест!»[3]. Труд на благо социалистического отечества стал государственной повинностью и основой большевистского определения гражданства. Женщина-работница, занятая на социалистическом производстве, стала экономически независимой от мужчины — главы патриархальной семьи, будь то отец, муж или старший брат. Конституция гарантировала равную оплату за равный труд. Однако проводилась и политика гендерного различия. На национализированных предприятиях велась политика социального обеспечения и поддержки матери-работницы. Предоставлялось время и место для материнского вскармливания прямо на предприятии, гарантировались пособия матерям как в продуктовом, так и — после Гражданской войны — в денежном эквиваленте, предоставлялись отпуска, составлялись списки вредных и тяжелых условий труда, до которых не допускалась работающая женщина.

В сфере политики уже с 1920-х годов устанавливается система квот для женщин как отдельной категории населения. Учреждаются партийные структуры женотделов, деятельность которых будет описана позже. Кроме того, организуются кампании политической мобилизации женщин — делегатские движения.

В сфере семейно-брачных отношений, т. е. в частной, приватной сфере, государственный контроль над которой в либеральном обществе ограничен, были предприняты радикальные меры, призванные существенно изменить отношения между полами. Идеология ранней большевистской семейной политики опиралась на положения, сформулированные классиками марксизма и социал-демократии, которые полагали, что в социалистическом обществе установятся новые свободные формы отношений между полами, в результате чего отомрет семья

[3] Конституция РСФСР 1918 г. Ст. 18.

старого патриархального типа, и прежде всего буржуазная семья, для которой характерны коммерциализированные отношения и эксплуатация женского домашнего труда.

В ходе реализации этой *идеологии* первыми декретами советской власти был узаконен гражданский брак, зарегистрированный в органах местной администрации, ЗАГСах. Разрушалась традиционная религиозно-церковная легитимация супружеских отношений. Десакрализованный светский брак был довольно хрупким социальным институтом. Его неустойчивость определялась радикальным изменением структуры экономических отношений. В условиях национализации частной собственности семья перестает быть экономической единицей в прежнем смысле.

Обратим внимание на законодательное оформление развода супругов, которое свидетельствует о позиционировании брака и семьи в дискурсе власти, т. е. показывает нам, какова ценность семьи для данного государства. Декрет 1918 года облегчил процедуру развода, а согласно брачному законодательству 1926 года, расторжение брака допускалось в одностороннем порядке, поэтому получила распространение такая практика, как развод по почтовому уведомлению. В это же время были юридически уравнены фактический и зарегистрированный брак. Комментаторы отмечают, что развестись в большевистской России было проще, чем выписаться из домовой книги; средняя продолжительность вновь заключенных браков составляла 8 месяцев, многие браки расторгались на другой день после регистрации (Щеглов 1995: 455). Достаточно вспомнить эпизод из романа «Двенадцать стульев», в котором Остап сообщает своему компаньону по поискам сокровищ мадам Петуховой: «Еще недавно старгородский загс прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия — О. Бендер» (Ильф и Петров 1995б: 117).

Необходимо обратить внимание на еще один аспект большевистской гендерной политики — *воспитание новой культуры (супружеских) чувств и отношений*. А. Коллонтай пишет в 1922 году о революции нравов: «В советский период разрушается старая семья, и это естественный процесс. Возникает новая семья, где не кровное родство, а общность работы, единство

интересов, стремлений и задач будет связывать людей, будет воспитывать из них истинных братьев по духу»[1] (Коллонтай 1920: 10). Большевистская феминистка выделяет новые формы брака и морали, порожденные революцией: «Любящая пара, а живут врозь. Даже при регистрации брака. Видятся урывками. Оба работают. Дело, общественная обязанность — прежде всего. При этом муж демонстрирует бóльшую ориентацию на квартиру, дом и жену. А жена уходит и не хочет такой семьи. Хочет работать. И лучше разойтись, чем жить по-прежнему!» (Коллонтай 1922: 15).

Новая концепция любви предполагала свободу сексуальных отношений и отделение сексуальных отношений от семейных и репродуктивных. В соответствии с декретом советской власти дети, рожденные в браке и вне его, были уравнены в правах. Таким образом, из права изымается категория «незаконнорожденный» и изменяется правовой статус «внебрачной матери». Женщина является трудовой единицей, брак становится *личным делом*, но материнство конституируется как *гражданская обязанность женщины* (пока еще не как гражданская повинность).

Большевистский гендерный проект предполагал, что многие родительские воспитательные функции возьмут на себя советские коммунальные учреждения. Тем не менее дети имели право на алименты, выплачиваемые отцом в случае соответствующего обращения в суд матери ребенка. Реальное отцовство установить было трудно. Для объявления мужчины отцом достаточно было заявления матери. Презумпция материнской правоты таким образом была обеспечена законодательством. Именно такая установка получила у западных исследователей название государственного феминизма.

В области репродуктивных и сексуальных отношений одной из поразительных по своей радикальности мер большевистской гендерной политики была легализация медицинского аборта в 1920 году. Этот нормативный акт многими до сих пор воспринимается как символ эмансипации советской женщины.

---

[1] Обратим внимание, что в этом тексте Коллонтай пользуется термином «братья», — в этом мы усматриваем символическое указание на андрогинию как политику уравнивания прав супругов по мужскому образцу.

Дебаты о легализации аборта начались в России еще до Первой мировой войны. Дискуссии об абортах и контроле над репродуктивным поведением шли в первое десятилетие XX века во всей Европе. С одной стороны, дебаты об абортах являются симптомами женской эмансипации и сексуальной либерализации, с другой — эта проблематика обсуждается в контексте социальных проблем: последствий войны, массовых миграций и связанной с ними сексуальной либерализацией, за которую всегда расплачиваются женщины (Голод 1998; Чуйкина 2002). Однако искусственное прерывание беременности оставалось уголовно наказуемым, поскольку, согласно религиозным догматам, человек не имеет права распоряжаться жизнью, и аборт можно рассматривать как вариант инфантицида.

Легализация аборта в Советской России предполагала, что решение о прерывании беременности принимает женщина, но оно должно быть санкционировано общественной инстанцией и выполнено профессиональными врачами в условиях государственных медицинских учреждений. Для произведения операции женщины должны были пройти комиссию, возглавляемую представительницей женотдела (партийной структурой!), которая давала соответствующее разрешение по социальным или медицинским показаниям. Легализацию аборта, несомненно, можно интерпретировать как символ эмансипации женщин. Однако в текстах большевистских идеологов того времени постоянно подчеркивалось, что этот закон является вынужденной мерой, обусловленной ростом числа криминальных случаев произвольного прерывания беременности, послевоенной разрухой, изменением социального строя и аномией, сказавшейся на статистически значимом ухудшении репродуктивного и сексуального здоровья молодых советских граждан.

Медицинское сообщество (репрезентируя экспертное знание) также указывало на разрушительные последствия абортов для репродуктивного здоровья женщины. В популярной брошюре того времени, ставящей перед собой задачу «воспитания масс населения в духе половой гигиены», читаем: «Частое производство аборта сильно подрывает половое здоровье женщины. Даже при благополучном исходе операции нередко остается после нее воспаление слизистой оболочки матки... (Здравомыслов 1926: 27).

Большевистское государство изначально не рассматривало материнство как частное дело советской гражданки, оно объявлялось гражданской обязанностью. Согласно дискурсу власти, новая женщина — это гражданка, чей долг не только производить, но и воспроизводить население[5]. Репродуктивная обязанность женщины трактуется не как воспроизводство рода или семьи, а как воспроизводство советского гражданина — члена коллектива или большой трудовой семьи советского народа, строящего коммунизм в условиях враждебного окружения.

Обратимся к другому аспекту дискурсивного регулирования — к политическим кампаниям, направленным на коренное преобразование советской частной сферы. В середине 1920-х годов власти начинают кампанию «За новый быт», призванную *освободить женщин от «кухонного рабства»* через социалистическую организацию домашнего труда и мобилизацию женщины в общественное производство. Учреждение детских садов и яслей способствует решению вопроса об общественном воспитании нового человека. Одним из аспектов кампании становится развитие сексуального образования и пропаганда половой гигиены. Легализация аборта в этой связи приводит к возможности мобилизации женщины как трудовой единицы; при этом бремя материнства не является для нее неизбежным, что соответствует общей либерализации сексуальных правов того времени.

Медицинские эксперты обеспечивают научные основания контроля над репродуктивным поведением. Популярные медицинские брошюры, массовые партийные журналы «Работница», «Коммунистка» и «Делегатка» популяризируют контрацептивы, средства женской половой гигиены, обсуждают вопросы половой морали и сексуального развития, подчеркивают роль социальных учреждений в осуществлении правильного родительства. В 1920-е годы эксперты журнала «Работница» — врачи-гинекологи — в постоянном разделе «Охрана здоровья» рекомендуют доступные потребителям разнообразные средства предотвращения беременности, разработанные лабораторией

[5] В то же время мужчина рассматривается как **отдельная** категория; его долг — защищать советскую родину, быть **готовым к труду и** обороне, т. е. воинская и трудовая мобилизация.

противозачаточных средств Отдела охраны материнства и младенчества Наркомата здравоохранения. Среди ныне уже забытых контрацептивов называются паста «Прекопсоль» с прибором (1 руб.), шарики «Контрацептин» (20 шт. — 1 р. 20 коп.), желатиновые цилиндры «Контрацептин»[6]. В популярной медицинской литературе предлагаются «предохранительные мероприятия от нежелательной беременности», включающие промывание, спринцевание, применение «замыкающих пессарий» («лекарственных шариков из масла какао с хиною и борной кислотою», использование вагинальных губочек, резиновых колпачков). Среди контрацептивных новшеств популяризируется способ проф. Шутнова, «состоящий во впрыскивании женщине под кожу мужского семени».

Как видим, врачи широко рекламируют женские контрацептивы, или противозачаточные средства. Предохранительные мероприятия, рекомендуемые врачами для мужчин, — прерывание полового акта и использование кондомов. При этом отмечается, что «прерывание полового акта вредно отражается на нервной системе мужчины, часто ведет к половым извращениям, половой неврастении и часто является причиной развития у мужчин полового бессилия», а у женщин вызывает тяжелые нервные расстройства и катар матки. Поэтому эксперты рекомендуют избегать указанных практик контроля за репродукцией. Кондомы же «значительно скрадывают ощущения, часто рвутся и таким образом в значительном % случаев не оправдывают своего назначения». В качестве современных средств применяется временная стерилизация путем облучения семенных желез (Здравомыслов 1926: 24—26). Отметим, что медицинская экспертиза подчеркивает эффективность и меньший риск именно женских способов контроля за беременностью и при этом с большой осторожностью относится к контрацептивам. Интересно также, что в качестве негативных последствий применения контрацептивных средств указывается то, что они препятствуют достижению сексуального удовольствия мужчин и женщин. Таким образом, в этом дискурсе сексуальное удовольствие рассматривается как автономная ценность.

[6] «Работница». 1930. № 10.

Признавая политическую значимость женского вопроса, большевистская власть использует категории «пол» и «гендер» (в данном случае категорию «женщина») для того, чтобы легитимизировать партийно-государственный контроль за частной жизнью граждан. Декларированная задача раскрепощения и просвещения женщины предполагала *искоренение* привычных практик частной жизни, в том числе материнских и супружеских. В этом заключался главный стратегический ход тоталитарного государства: разрушить границу между приватной и общественной жизнью человека, сконструировать коллективизированного советского гражданина, отказавшегося от ценностей и привычек индивидуализма во имя построения светлого коммунистического будущего.

Каким образом происходит государственное формирование советской женственности? В рамках нового гражданского контракта государство организует работу политических и социально-воспитательных учреждений, призванных вовлечь женский пролетариат (работниц и крестьянок) в коммунистическое строительство. Политическую мобилизацию осуществляют отделы по работе среди женщин (женотделы), организованные при ЦК РКПб и партийных комитетах разного уровня. Социальную политику поддерживает Охранматмлад (подотдел ЦК и Министерство по охране материнства и младенчества), в ведении которого находятся дома матери и ребенка, консультации, ясли, детские сады, материнские льготы работницам. Женотделы действовали с 1919 по 1930 год. Первыми заведующими Центральным женотделом стали Инесса Арманд и Александра Коллонтай. Задачи женотделов были определены партийными директивами, закрепленными в резолюциях и постановлениях съездов и конференций. Среди них — «трудовое раскрепощение работниц и крестьянок», вовлечение женщин «в те отрасли производства, где женский труд не применялся или применялся не в достаточной мере» (КПСС в резолюциях..., 1953: 895), развитие самодеятельности женского пролетариата, борьба «с консерватизмом по отношению к женщине, унаследованным от капиталистического общества» (Там же: 896).

Нормализующий дискурс власти проявил свою сензитивность к социальным различиям между разными категориями женщин. Фактически в рамках партийной идеологии констру-

ировалась иерархия женственности, где критерием стратификации выступал так называемый уровень сознательности.

Целевыми группами воздействия был в первую очередь «женский пролетариат» и «работницы от станка», а также такие социальные категории, как «жены рабочих, наиболее сознательные крестьянки, в том числе жены бедняков, батраков и лучшей части середняков» (Там же: 895). Так, например, в резолюциях IX съезда РКПб (1920) обращается серьезное внимание «на работу среди работниц и крестьянок», предлагается усилить работу профсоюзов среди женщин, «привлекая работниц к трудовой повинности и к участию в коммунистических субботниках» (Там же: 503). Гендерный дискурс власти был также этнически сензитивным: особое внимание в партийных документах уделялось специальной работе среди тружениц Востока, подчеркивалась необходимость «содействия их начавшемуся пробуждению» (Там же: 755, 896).

Дальнейшая партийная политика связана с предотвращением перерождения женотделов в автономные организации — такая угроза, видимо, стала очевидной, когда заведующей Центральным женотделом была Коллонтай — одна из лидеров рабочей оппозиции. Задачей партии в то время было усиление руководства и контроля за деятельностью женских организаций. На XI съезде (1922) указывается, что женотделы должны работать в тесном контакте с профсоюзами и советскими органами (Там же: 648). На XII съезде (1923) отмечается опасность возникновения «феминистических уклонов», вызванных сложными условиями и замедленным строительством учреждений, облегчающих положение женщин, что чревато отрывом «женской части трудящихся от общеклассовой борьбы» (Там же: 754). Реорганизация и критика женотделов преподносилась как критика феминизма, который мог бы способствовать формированию особых групп интересов советских женщин.

Еще один механизм, способствующий продвижению нового гендерного гражданства, представляют политические кампании по массовой мобилизации женщин. В большевистской риторике эти кампании назывались женскими движениями. В отличие от общественных движений, возникающих инициативно в результате самоорганизации граждан, советская общественность организовывалась партийно-государственными призывами. С 1918 года женотделы организуют *делегатские*

собрания. Делегатки, согласно квоте, выбирались на производственных собраниях работниц и направлялись на политическое обучение, организованное женотделами. Они проводили политику женотделов на местах, представляя образцы общественной активности работниц и крестьянок. «Делегатские собрания соединяют партию с широкими массами», — отмечается в редакционной статье журнала «Работница» — органа женотдела ЦК РКПб[7].

Отношение к женсоветам и делегатским собраниям было двойственным как среди членов партии, так и в других социальных слоях. Американская исследовательница Б. Фарнсворт описывает внутрипартийные разногласия по женскому вопросу (Farnsworth 1977); Коллонтай отмечает сопротивление мужей, которые в знак протеста против раскрепощения жен сжигали бумаги женотделов (Коллонтай 1923). Гендерный конфликт (между мужьями и женами по поводу общественной вовлеченности женщин) представлен и в многочисленных письмах работниц, поступавших в журналы женотдела («Комунистка», «Работница», «Крестьянка»). Гендерный конфликт, порожденный политикой советской эмансипации женщин, обнаруживается и в наивной прозе агитпропа, опубликованной в этих и других изданиях (Там же).

Постепенно под воздействием структурных ломок и целевой политики меняются представления о нормативном семейном укладе и практиках семейного быта. Советская семья презентируется в нормализующем дискурсе как сожительство двух товарищей, членов большой советской семьи и трудового коллектива. Это экономически независимые субъекты, которые объединены чувством любви, товарищества и разделяемыми с государством гендерно асимметричными родительскими обязанностями, выполнение которых поддержано советскими воспитательными и социальными учреждениями. Такой союз — не освященный церковью, не фундированный правом частной собственности — легко расторгается, тем самым оказываясь более хрупким, чем традиционный патриархальный и буржуазный брак. При этом советские работники могут быть мобилизованы государством на выполнение срочных задач

[7] «Работница». 1923. № 10. С. 11.

коммунистического строительства и тогда воспитание ребенка ложится на плечи матери-работницы, старших членов семьи и на советские воспитательные учреждения. В связи с тем что большевистская политика того времени приводит к ослаблению семейно-брачных уз, нам кажется уместным назвать этот период политикой дефамилизации.

Итак, построение гендерного гражданства является значимой частью революционных преобразований. Женщина мобилизуется государством в систему общественного коммунистического производства. При этом материнство поддерживается социальной политикой, и государство конструирует контракт между советской работницей и новой властью. Нормативные суждения власти определяют родительство преимущественно как материнско-государственную функцию. Отцовство репрезентируется как экономический долг. С этого времени начинается традиция отчуждения отцовства, которая поддерживается государственной политикой (см.: Kukhterin 2000). Этакратический гендерный порядок институционализирован как гендерно поляризованный, несмотря на декларацию политического равенства полов. Концепция материнского долга женщины входит в оборот идеологического и политического манипулирования. Теории материнских инстинктов и материнского счастья женщины находят выражение в официальном дискурсе.

В советской историографии процесс государственной мобилизации женщины на службу советского строительства рассматривается как эмансипация женщин и как решение женского вопроса. И в самом деле, рост грамотности женского населения, освобождение от экономической зависимости в семье — это важные результаты данной политики, но при этом мы не должны забывать, что освобождение от патриархальной зависимости и «окультуривание» предполагали политическую мобилизацию женщины, закрепленную гендерным социальным контрактом между работницей-матерью и государством.

Нормативные и нормализующие суждения власти не прямо транслируются в практики повседневности. В результате приспособления общества к этакратической политике формируются разнообразные гендерные уклады. Чтобы получить представление о гендерных укладах, необходимо обратиться к основным социальным различиям того времени.

Государственно организованная сословная стратификация 1920-х годов сказалась на формировании различных гендерных укладов. Категории граждан, которые определялись как «классово чуждые и эксплуататорские» нетрудовые элементы (кулаки, нэпманы, торговцы, служители культа, бывшие служащие и агенты царской полиции, бывшие помещики и иные), были ограничены в политических и социальных правах. Лишенцы не имели избирательных прав, не могли вступать в профсоюзы, состоять на советской службе, работать на фабриках и заводах, их дети не могли учиться в университетах и служить в армии. Они не получали продовольственных карточек и не рассчитывали на государственную поддержку (см.: Чуйкина 2006; Щеглов 1995). На эти сословия не распространялся советский гендерный контракт. Для изменения социального положения представители данных слоев зачастую использовали стратегии скрытия социального происхождения, фиктивных браков и разводов, позволяющие им стать полноправными советскими гражданами. Стратегии адаптации опирались на ресурсы гендерно маркированного воспитания, приобретенного в дореволюционный период, — образованность, знание иностранных языков, музыка, танцы, хобби и другие навыки (Чуйкина 2006).

Эффективность государственного конструирования гендера неодинакова для разных возрастных групп первого поколения советских граждан. Новые тенденции брачной и сексуальной жизни распространяются прежде всего на городскую молодежь. В романе «Золотой теленок», события которого относятся к 1930 году, Варвара Лоханкина восклицает в адрес своего мужа, которому она предпочла совслужащего, инженера Птибурдукова: «Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти». И далее, к Лоханкину: «Ты не смеешь голодать — это бунт индивидуальности. Общественность тебя осудит. Взбесившийся самец, тиран, собственник!» (Ильф и Петров 1995а: 121).

Любовь в новом поколении трактуется как вид сексуальной энергии, который можно сублимировать в разных формах общественно-полезного труда. Обратимся еще раз к Остапу Бендеру, который, возвращаясь в Черноморск в качестве новоявленного миллионера, рассказывает попутчице о перипетиях своего чувства к Зосе Синицкой: «Теперь я страдаю. Величественно и глупо страдаю». — «Это не страшно, — сказала де-

вушка, — переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение» (Ильф и Петров 1995б: 311)

В повседневной жизни данный период характеризуется смешением старого и нового быта, традиционных и новых образцов поведения, разломом поколений и соответствующих нравов. При этом, несмотря на все новаторство, в советской молодежной среде воспроизводятся патриархатные ожидания, которые предполагают ответственность мужа за материальное благополучие семьи (роль кормильца). Так, например, отказывая соискателю ее руки, бухгалтеру Корейке, Зося Синицкая, у которой «был тот спортивный вид, который за последние годы приобрели все красивые девушки», отвечала, что «она в данный момент выйти замуж не может. Да и какая жизнь у них может выйти? У нее искания. А у него, если говорить честно и откровенно, всего лишь сорок шесть рублей в месяц» (Там же: 94). В стратах совслужащих и студентов от мужчины ожидается выполнение роли добытчика. Действия супругов характеризуют традиционные двойные стандарты. «Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе "Электоролюстра", для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки — Щукинши, жены Щукина». Чтобы сэкономить, Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты (Ильф и Петров 1995а: 269).

Государственная мобилизация населения приводит к вынужденному номадизму советских граждан и сказывается на воспроизводстве традиционной поляризации ролей в семейно-брачном укладе. Пример этому — хрестоматийное расставание молодоженов Грицацуевой и Бендера. «Герой покидает новобрачную ночью или на рассвете, когда она спит, что символизирует различие призваний и семейных ролей мужчины и женщины (ей — постель, дом, любовь, ему — дорога, бой, труды) (Щеглов 1995: 535). Бендер заранее планирует срочный вызов из центра на следующий день после регистрации брака. «Выезжаю докладом Новохоперск» — сообщает его записка, оставленная на столе в супружеской спальне. Приоритет общественного долга мужчины легитимизирован. Остап срочно

мобилизован для прочтения докладов в Новохоперске и Малом Совнаркоме (под этим предлогом он отправляется на поиски сокровищ мадам Петуховой). Молодое урбанизированное население в большей степени продвигало новые формы гендерных отношений, но и там были заметны патриархальные пережитки. Старшее поколение, лишенцы, крестьяне и отдельные категории совслужащих были теми социальными группами, в жизни которых превалировал традиционный семейно-гендерный уклад и чьи браки были более устойчивыми.

Итак, на первом этапе советской гендерной политики, поднявшей и декларативно разрешившей женский вопрос, женщина была выведена из-под контроля традиционной семьи, ей были предписаны обязанности быть работницей и матерью. Идеология освобождения женщин, воплощаемая через законодательные изменения, кампании «за новый быт» и дебаты в женских организациях, никогда не была реализована полностью. В 1920-е годы во многих социальных слоях, особенно в деревне, сохранялся традиционный гендерный уклад с соответствующими религиозными практиками и патриархальными устоями.

Последствия большевистской политики решения женского вопроса были противоречивы: государство — разрушая семью, санкционируя свободу сексуальных отношений, способствуя развитию медицинской экспертизы в сфере сексуального и репродуктивного поведения, создавая новые гендерные модели и санкционируя создание женских организаций — рисковало утратить контроль над гражданами. Семья перестала быть легко вычленяемой единицей государственного учета и контроля. Либеральное законодательство позволяло гражданам манипулировать и даже злоупотреблять семейными статусами в своих адаптивных стратегиях. Свободная сексуальность представляла угрозу репродуктивному здоровью. Аборт стал привычной практикой советских женщин. Гендерная политика государства была ужесточена и пересмотрена в контексте задач социалистической модернизации 1930-х годов.

Второй этап: стабилизация этакратического контракта «работающая мать»

Рассмотрим следующий этап государственной мобилизации гендерного гражданства, который привел к стабилизации

этакратического патримониального контракта «работающая мать»[8]. Новый период гендерной политики совпадает с советской репрессивной модернизацией первой волны, с политикой форсированной индустриализации, коллективизации и «окультуривания» советских граждан. Процессы индустриализации, коллективизации и часто сопутствующие им принудительные миграции, «трудовая повинность» и политика массовых репрессий существенно видоизменяют тип семейных отношений. В результате структурных трансформаций «великого перелома» традиционная российская семья разрушалась как экономическая единица и как структура, сакрализованная религиозными традициями. На смену ей пришла новая советская семья.

В города, на стройки социализма массово мобилизуется мужская рабочая сила. Подневольный номадизм советской жизни способствует расшатыванию традиционных семейных устоев в деревне. Отсутствие инфраструктуры на социалистических стройках приводит к разрушению семейного уклада. В письменных свидетельствах, приводимых Ш. Фицпатрик, читаем: «Ну куда возьмешь семью, когда на стройплощадке одни котлованы, а вокруг дикая тайга? Потом можно было взять, обещали мне на Кузнецстрое комнату в семейном бараке, но к тому времени в колхозе жизнь стала налаживаться, жена снова корову купила» (Фицпатрик 2001б: 245).

Коллективизация в деревне также оказывается гендерной проблемой. Партия предпринимает специфические шаги по интеграции женщин в колхозное строительство, категория «крестьянки» в новых условиях остается особой целевой группой политического воздействия.

---

[8] Особые формы гендерной мобилизации были характерны для военного времени. Война и гендер — проблема, заслуживающая отдельного исследования. Отметим здесь лишь то, что во время войны и военной мобилизации женщины в тылу начинают заниматься теми видами деятельности, которыми раньше занимались преимущественно мужчины. После окончания войны женщины вытесняются из своего вынужденного положения лидеров, возрастает символическая ценность мужчин. В целом динамика семейно-брачных отношений, стереотипы женственности и мужественности претерпевают изменения в связи с войной.

1930-е годы считаются периодом «великого отступления» от революционной политики по отношению к семье, временем возвращения традиционалистских норм (Timasheff 1946). Однако вряд ли можно с этим согласиться. Во-первых, государственная политика поддерживает новую семью — первоячейку советского общества. Во-вторых, в деревне по-прежнему проводится политика раскрепощения женщин: крестьянок поощряют освобождаться от тирании мужей и отцов, отстаивать свой статус независимых колхозниц, равных мужчинам. В связи с нарастающим увеличением разводов и бегством мужей матери-одиночки составляют в колхозе значимую социальную категорию[9]. Нормализующие дискурсы власти, как и на предыдущем этапе, осуществляют дифференциацию и категоризацию различных социальных категорий женщин. Однако надо признать, что в официальной риторике отчетливо прослеживается символическое повышение (прославление) семейно-материнского долга женщины перед обществом и государством. Даже производственные функции и общественная активность женщины преподносятся как дериват их материнской роли — воспитательницы, контролирующей заботу. Организованные домохозяйки осуществляют политику культурности. Примером может быть *поход за чистоту* в общежитиях и рабочих бараках. Жены начсостава контролируют быт детей в семьях рабочих (кампании 1935—1936 годов). Материнство оказывается основной категорией в дискурсе о семье и гражданском долге женщины-работницы.

Индустриализация сопровождается новой жилищной политикой, влияющей на модели брачных отношений. Решение

[9] Фицпатрик пишет о том, что «советская власть 30-х годов, если речь заходила о деревне, питала предубеждение против мужчин в пользу женщин, поскольку отрицательные образы, например кулака, всегда были мужскими, а положительные, например крестьянки-стахановки, как правило, женскими... мужчины обладали властью, следовательно, от них исходила большая угроза; женщины, как правило, были бесправны, следовательно, не представляли угрозы, и их даже можно было привлечь к сотрудничеству как эксплуатируемую группу» (Фицпатрик 2001б: 204). В деревне крайне незначительное число женщин выдвигалось на руководящие посты, и это признавалось проблемой, для решения которой необходимо было ломать традиционный гендерный порядок.

жилищного вопроса в период крупномасштабной миграции сельского населения в города и перетасовки городских жителей решается за счет массовой коммунализации жилья. Дома-коммуны в реальности остались лишь утопией большевистского периода, но их идея реализовалась в системе рабочих бараков и общежитий. Описывая общежитие студентов-химиков, Ильф и Петров отмечают: «Розовый домик с мезонином — нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком... Фанера, как известно из физики, — лучший проводник звука. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы» (Ильф и Петров 1995а: 221—222).

Обустройство частной жизни клеймится в публичном дискурсе как «мещанство», как проявление индивидуализма, эгоизма, пережитков буржуазного прошлого. Коммунальные квартиры представляют собой пространство коллективного проживания, в котором частная жизнь граждан превращается в объект повседневного контроля и надзора; семейная приватность оказывается проницаемой. Все пространство делится на две части — места общего пользования, поведение в которых жестко регулируется распорядком, и комнаты жильцов — относительно автономное пространство проживания. Перенаселенная и переделанная коммунальная квартира становится атрибутом советского гендерного порядка (Герасимова 1998).

Проиллюстрируем повседневную жизнь коммуналки примером «Вороньей слободки»: «...обитатели большой коммунальной квартиры номер три, в которой обитал Лоханкин, считались людьми своенравными и известны были всему дому частыми скандалами и тяжелыми склоками. Квартиру номер три прозвали даже "Вороньей слободкой". Продолжительная совместная жизнь закалила этих людей, и они не знали страха. Квартирное равновесие поддерживалось блоками между отдельными жильцами. Иногда обитатели "Вороньей слободки" объединялись все вместе против какого-либо одного квартиранта, и плохо приходилось такому квартиранту. Центростремительная сила сутяжничества подхватывала его, втягивала в канцелярии юрисконсультов, вихрем проносила

через прокуренные судебные коридоры и вталкивала в камеры товарищеских и народных судов. И долго еще скитался непокорный квартирант, в поисках правды добираясь до самого всесоюзного старосты товарища Калинина» (Ильф и Петров 1995б: 125).

Модели семейно-брачных и интимных отношений во многом определяются физическим пространством проживания. В коммунальной квартире интимные отношения развиваются в присутствии других; это присутствие еще более ощутимо, чем в случае деревенского дома. Коммунальное сообщество становится суррогатом расширенной семьи, в которой сохраняется консервативная поляризация семейных ролей. Ролевые изменения тем более затруднены под бдительным надзором ближайшего окружения. В условиях коммунального быта сексуальность не является автономной практикой удовольствия, а остается, как правило, пронатальной и неудобной (особенно для женщин) (Темкина 2002; Rotkirch 2000).

Период тоталитарной гендерной мобилизации сопровождается дискурсивным табуированием сексуальной жизни. Осуждение свободной любви («крылатого эроса», как образно называла такую модель интимных отношений феминистски настроенная Коллонтай) сопровождается прекращением агиткампании по воспитанию половой гигиены и репрессивными мерами контроля за рождаемостью и сексуальным поведением. Формируется поколение, для которого характерно замалчивание интимного опыта, преподносимое как добродетель (Rotkirch 2000). В 1936 году Постановлением ЦИК и СНК СССР запрещаются аборты (кроме прерывания беременности по медицинским показаниям). Женщина лишается репродуктивных прав, а врач за совершение аборта карается сроком лишения свободы от трех до пяти лет или приговаривается к исправительно-трудовым работам. Женщины, которые отказываются сотрудничать с властями и не называют имени врача, сделавшего им аборт, также караются лишением свободы на срок до пяти лет. Одновременно предоставляются льготы многодетным и одиноким матерям, расширяется сеть родильных домов, яслей и детских садов, усиливается уголовное наказание за невыплату алиментов, ужесточается процедура развода, позднее (1944) делегитимизируются фактические браки, запрещается регистрация отцовства внебрачных детей (Гендер-

ная экспертиза... 2001: 105). Все эти меры направлены на укрепление официальных браков, организованных вокруг принудительного материнства советских гражданок.

Указ о запрещении абортов предварялся мощной агитационной кампанией в советских СМИ, прежде всего в женских журналах, осуждавших абортную культуру контроля за рождаемостью, прочно утвердившуюся к тому времени во всех слоях советского общества, а также массовые разводы, сексуальную распущенность, уклонение отцов от уплаты алиментов. В этих изданиях разные категории экспертов в один голос осуждали аборт. Нормализующий дискурс представляли три группы экспертов — медики, партийно-административные работники и представители сознательной общественности, призванные стать примером для остальных масс. В качестве медицинских экспертов выступали врачи-гинекологи с большим количеством регалий, которые неоднократно совершали операцию по прерыванию беременности и свидетельствовали об этом опыте. Партийно-административную экспертизу обеспечивали партийно-профсоюзные деятельницы. Советскую общественность представляли многодетные матери, матери-одиночки, повторно вступившие в брак женщины и ударницы труда. Экспертное знание представляло три вида катастрофических социальных последствий произвольного прерывания беременности: разрушение семьи, бездетность, свидетельствующую о невыполнении женщиной ее гражданского долга, и личное несчастье женщины, не удовлетворившей материнский инстинкт. Пропаганда материнства выражалась в массовых лозунгах на плакатах того времени: «Здоровая женщина должна быть матерью», «Материнство не бремя, а радость».

27 мая 1935 года в «Правде» была опубликована статья врача М. Малиновского «О громадном вреде абортов». В ней отмечаются разрушительные последствия абортов для здоровья женщин (массовость фибром матки как последствий абортов), значимость государственной задачи относительно роста народонаселения. Статья медицинского эксперта в главной газете партийного агитпропа инициирует организованную и контролируемую цензурой дискуссию в советской печати. В ходе этой дискуссии противопоставляются взгляды «отдельных работниц», которые отказываются от деторождения по экономическим и моральным причинам, и позиции передовых советских

гражданок. Группа бытовых экспертов, неоднократно испытавших опыт деторождения, подчеркивает гражданские, экономические, психологические и валеологические последствия материнства. Оздоровляющая роль материнства противопоставляется угрозам абортов: «Когда я рожаю, то становлюсь здоровой, а когда делаю аборты — болею». Директор роддома им. Клары Цеткин пишет: «Легкость получения направления на аборт создала у женщин представление о безвредности этой операции». Эксперты «Работницы» отмечают, что «искусственный аборт является операцией крайне опасной, даже в руках опытного и добросовестного хирурга. Основное последствие абортов — бесплодие, которое представляет собой не только личное горе. Это социальное бедствие. В целом рост абортов ведет к падению рождаемости...».

При этом корреспондентки журнала отмечают, что «работе дети не помеха». Если в результате абортов больная женщина может лишить себя и самостоятельного заработка, и счастья родительства, то материнство и общественно-полезная деятельность как бы стимулируют друг друга. Мать восьмерых детей пишет: «Я не советую женщинам делать аборты. Лучше родить. Роды приносят женщине здоровье, бодрость, повышенную энергию в работе. Дети дают счастье и родителям и Родине. Я думаю, что мои дети принесут немало пользы своему отечеству во главе с нашим вождем тов. Сталиным И. В.».

Официальный дискурс утверждает, что гражданская доблесть женщин заключается в материнстве: «В нашей стране женщина-мать — это самый почетный человек. В росте численности нашего населения мы видим источник умножения богатства страны, потому что "из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры"». При этом отмечается, что закон 1920 года, сыграв большую роль в охране здоровья женщин, способствовал росту искусственных абортов. Даже в случае развода или нежелания мужа иметь ребенка женщине предлагалось воздержаться от прерывания беременности, поскольку в этом случае обязанности материального обеспечения материнства и детства брали на себя трудовой коллектив и советское государство.

Участники пропагандистской кампании противопоставляют социальный смысл запрета на аборты на Западе и в СССР. На

Западе «запрещение абортов — это издевательство. Там безработица, нищета, рост детской смертности, фашизм». Напротив, «нашей стране нужны люди, чтобы строить новое социалистическое общество, новую радостную жизнь. Женщина призвана наряду с общественной работой воспитывать наших детей».

Запрещение аборта обсуждается в контексте угрозы моральному порядку общества — как следствие распущенности нравов и легкомысленного отношения молодежи к браку. Ставится вопрос о «новых взаимоотношениях», о «необходимости чувства *большой любви* у сходящейся пары, *уважения* друг к другу». Женщины, оппонирующие новому законопроекту, представлены как сексуально распущенные. Так, в ходе обсуждения законопроекта на фабрике «кокетливо завитая девушка, явно рассчитывая на поддержку, заявила: "Например, я поеду в дом отдыха и там сойдусь с парнем, неужели я должна после этого рожать? Мне 23 года и я не хочу себя связывать ребенком..." На девушку тотчас обрушились возмущенные возгласы: "Что же, тебя за тем посылают в дом отдыха, чтобы ты потом свое здоровье абортом калечила?"»[10].

Конструкция врага — базовая структурная модель советского нормализующего дискурса — включает разворачивание кампании против подстрекателей к производству абортов, среди которых называются прежде всего врачи-частники, несознательные мужья, свекрови, «плохие подруги и кумушки», а также в целом «некультурные граждане, бесчестно относящиеся к женщине». Отмечается, что часто встречаются случаи, когда мужья под угрозой разводов требуют, чтобы жены делали аборты. Одинокие беременные женщины делают аборты на разных сроках частным образом. «И тот, кто подстрекает женщину на аборт, и те женщины, которые идут на это, заслуживают сурового порицания»[11].

В связи с пропагандой *радостного материнства* ужесточается законодательство об алиментах, взыскивание которых теперь становится обязанностью администрации предприятий, где работают нерадивые отцы, и отделов НКВД. Одновременно появляется инициированный матерями-общественницами эгалитар-

[10] «Работница». 1936. № 10. С. 5.

[11] «Работница». 1936. № 10. С. 14.

ный дискурс, проповедующий модели равного участия супругов в домашней работе и их равной ответственности за воспитание детей, однако он явно оказывается маргинальным.

Антиабортная агитация сопровождается кампанией социальной поддержки беременных, предоставлением декретного отпуска работницам (2 месяца), появлением правовой категории «легкотрудниц», борьбой против незаконного увольнения беременных, пропагандой эгалитарного разделения труда в сфере быта и воспитания детей, ужесточением процедуры развода. В итоге советская печать утверждает, что ужесточение законодательства есть следствие роста благосостояния советского народа. Итак, нормализующий дискурс подводит итоги и ставит социальные диагнозы: «Каждая женщина в нашей стране не может не хотеть быть матерью. Она знает, что ее ребенок найдет в жизни все необходимое для всестороннего развития сил и способностей»[12]. Эта публичная кампания в целом является образцом официальной стигматизации бездетности и оправданием репрессивного регулирования деторождения. Принудительное материнство позиционируется как основание женского гражданства.

Неудивительно, что идеологема сохранения жизни (pro-life), типичная для консервативной религиозной риторики, не нашла отражения в этой многомесячной агиткампании. Материнский долг советских женщин позиционировался как решение демографической проблемы в условиях индустриализации и военизации советской экономики.

В условиях отсутствия контрацептивной индустрии и профессионального сексуального образования женщина становится мобилизованной как репродуктивная сила, поставляющая государству граждан. Одновременно она мобилизуется как работница: в период форсированной индустриализации при низкой производительности труда государство использует женскую рабочую силу как трудовой ресурс. В это время отменяются многие льготы для женщин на производстве — запреты на работу в ночные смены и при тяжелых условиях труда; создаются движения за овладение женщинами мужских профессий. Двойная мобилизация женственности легитимируется в понятиях гражданского долга и женского предназначения.

---

[12] Лозунги на плакатах в Домах матери и ребенка.

Американский исследователь А. Даллин пишет, что отношение советского государства к женщине в этот период представляло собой нечто среднее между отношением к генератору и к корове: с одной стороны, она должна была работать на производстве, как машина, а с другой — рожать, как корова (Dallin 1977: 390). Именно в это время развивается официальный дискурс *советской суперженщины*. Формула двойной нагрузки становится частью нормализованного властью стереотипа женственности, который усвоили многие поколения советских гражданок.

В 1930-е годы сворачиваются многие направления социальной политики. Решение демографических и экономических проблем осуществляется через запретительные меры. В условиях жестких запретов, репрессирующих общество, возникают новые *стратегии подчиненных*, которые не сводятся к сопротивлению власти, но включают в себя «уловки, с помощью которых слабые пытаются защитить себя и отстоять свои права друг перед другом так же, как и перед сильными. ...Эти стратегии представляют собой набор способов, позволяющих человеку, на долю которого выпало получать приказы, а не отдавать их, добиваться того, чего он хочет» (Фицпатрик 2001б: 12). На основе изучения повседневной жизни города и деревни 1930-х годов исследовательница выделяет следующие стратегии: повседневное пассивное сопротивление (например, религиозное), пассивное приспособление (неохотное признание навязанных государством правил игры), активное приспособление (занятие более высоких позиций в социальной иерархии), манипулирование («потемкинские стратегии»: публичные ритуальные действия общественных объединений), апелляции к властям (индивидуальные письменные жалобы и доносы).

Выбрав какую-либо из представленных стратегий подчиненных, женщины используют формальные возможности и неформальные каналы влияния. Рассмотрим подробнее некоторые женские стратегии. В условиях этакратического гендерного порядка они не предполагают протеста против государственной политики; напротив, они используют в своих целях навязываемые правила игры.

Стратегия активного приспособления связана в первую очередь с вовлеченностью женщин в общественные движения работниц, крестьянок и жен трудящихся, инициированные

партией и государством. К ним относятся движение за овладение женщинами мужских профессий (трактористки, летчицы), движение общественниц и т. д. Участие в таких движениях *изменяло горизонт женских возможностей, способствовало их* социальной мобильности, обеспечивало новыми ресурсами.

Движение жен руководящих работников (общественниц) опирается на традиционалистскую составляющую гендерной идеологии. На новом этапе прославляется и тем самым возвышается статус жены. Идеология домашней хозяйки как неорганизованного сегмента населения сменяется идеологией советской жены — опоры мужа, семьи и государства. Советские домохозяйки — это не только жены представителей новой элиты, но и резервные члены трудовых коллективов, к которым приписаны мужья. Общественницы — жены руководящих работников — были организованы по месту работы мужа, что означало их подконтрольность советским коллективам. Первоначально общественницы делали то же, что и делегатки в период раннебольшевистской гендерной политики. Движение ориентировалось на проведение политики окультуривания и обустройства городского быта рабочих, однако в дальнейшем (в предвоенное время) приоритеты сместились: женщинам рекомендовалось освоить мужские профессии и занятия (спорт, военное дело). Участие в данном движении повышало символический статус и общественную компетентность женщин.

Фицпатрик обращает внимание на то, что стратегии подчиненных были конфликтующими. В частности, стахановцы вызывали ненависть у большинства работников, поскольку из-за их производственных достижений поднимались нормы выработки. Тем более не встречала одобрения позиция женщин-активисток: их успехи на «трудовом поприще влекли за собой попирание авторитета мужчин (отцов и мужей) в семье. Лозунги освобождения женщин от патриархального гнета, сопровождающие стахановское движение, несомненно, настолько привлекали некоторых крестьянок (главным образом молодых, но порой и женщин более старшего возраста, овдовевших и брошенных мужьми), насколько казались оскорбительными большинству крестьян» (Фицпатрик 2001б: 21). Стратегии активного приспособления женщин сталкивались с традиционными стереотипами, ограничивающими их распространение.

Другая стратегия — *манипулирование*. В 1930-е годы массовый характер приобретают апелляции женщин к властям по поводу семейных конфликтов. Данная стратегия опиралась на традиционалистские взгляды и смыкалась с официальной интерпретацией женщины как репрезентативной единицы семьи и с признанием необходимости защиты ее интересов в этом качестве. В случае семейных конфликтов женщина позиционировалась как жертва, и государство вставало на ее защиту. Проблема слабости брачных уз и случаи многоженства были в центре общественного внимания в середине 1930-х годов, о чем свидетельствует несколько показательных судебных процессов (Фицпатрик 2001а: 176). Получают распространение обращения с просьбами о помощи в розысках пропавшего супруга и взыскании алиментов. Попытка найти пропавшего супруга через объявления в газетах, которую осуществляет мадам Грицацуева, видимо, не была исключением. Женщины обращались в партийные органы в случае супружеской неверности, апеллируя к партии, презентирующей себя в качестве блюстителя морального облика советских граждан.

Еще одна, наиболее массовая, стратегия — *пассивное приспособление* к изменяющимся требованиям гендерного гражданства, укрепление семьи как убежища от государственного контроля и как способа выживания. «Неустойчивые и опасные условия жизни делали семью крепче, так как ее члены чувствовали потребность сплотиться во имя самосохранения» (Там же: 169). Опору семейного уклада составляли женщины разных поколений. Для описания такого уклада А. Роткирх использует понятия матрифокальности и расширенного материнства, которые выражались в поддержке семейных уз и обязанностей за счет межпоколенческих связей женщин — бабушек, матерей и дочерей (Rotkirch 2000: 115—117).

В довоенной и послевоенной семье, в условиях постоянного дефицита потребительских товаров мобилизуются традиционные навыки, связанные с разделением труда между полами. Женщины вяжут, шьют, готовят, организуют быт в условиях экономики дефицита: достают товар, используя гендерно специфические социальные сети, обладающие высоким уровнем прочности и надежности. У мужчин есть своя специализация: востребуются их навыки в традиционно мужских видах домашнего хозяйства, ремонте, мастерстве. Как следствие женщины

выполняют «тройную» роль — к материнству и работе добавляется почти профессиональное обслуживание семьи.

Итак, 1930—1950-е годы — это период мобилизации женщины на службу государству и партии в разных качествах: как репродуктивной единицы и как рабочей силы. Это период создания нового типа советской семьи, укрепления ее как ячейки социалистического общества, стабилизирующей этакратический контракт «работающая мать». Одновременно именно в условиях репрессивной патримониальной политики женщины вырабатывают стратегии подчиненных, в которых задействуются традиционные и новые гендерные ресурсы.

Третий этап: политическая либерализация и кризис этакратического гендерного порядка

Этакратический характер советского гендерного порядка сохраняется и в период хрущевской оттепели, и в период брежневской стагнации. Государство остается главным агентом регулирования занятости, семьи, социальной политики в отношении женщин, формирования и изменения официальных дискурсов, интерпретирующих женственность и мужественность. Однако в этот период происходит ограниченная либерализация гендерной политики, частичное восстановление частной жизни (приватной сферы) и формирование специфической неформальной публичной сферы, т. е. дискурса, оппонирующего официальному.

Либерализация гендерной политики связана в первую очередь с декриминализацией абортов в 1955 году и усилением государственной поддержки материнства. Кодекс РСФСР о браке и семье 1968 года изменил или полностью отменил большинство законодательных актов сталинского периода. Была упрощена процедура развода, восстановлена возможность установления отцовства (Гендерная экспертиза... 2001: 106). Новая гендерная политика допускает принятие самостоятельных решений по поводу деторождения. Государство делегирует медицинским учреждениям и семье (в первую очередь женщине) функции контроля над политикой деторождения (Бараулина 2002). Однако эта политика не подкрепляется сексуальным образованием, доступностью надежных современных контрацептивных средств. В результате складывается *аборт-*

ная контрацептивная культура (как ее называют демографы), при которой медицинский аборт становится массовым опытом и основным способом контроля за репродукцией и планированием семьи.

Либерализация репродуктивных прав сопровождалась их недостаточной институциональной обеспеченностью. Массовая практика аборта стала символом женской репродуктивной и сексуальной свободы. Характерно, что легализация медицинского аборта не сопровождалась публичным обсуждением, в отличие от ситуации 1930-х годов, когда в течение нескольких месяцев перед запрещением абортов в советской печати проводилась пропагандистская кампания с элементами дискуссии (конечно, цензурированной), посвященная этому вопросу. Для поколения женщин, фертильный возраст которых пришелся на период середины 1950—конца 1980-х годов, характерна рутинизация опыта аборта. Этот травматический опыт встроен в биографию практически каждой женщины, принадлежащей к данному поколению. В большинстве случаев быть советской женщиной в повседневном опыте означало телесное знание того, что́ такое аборт.

Альтернативой прерыванию беременности выступают традиционные способы регулирования рождаемости, использование доступных контрацептивов, имеющих репутацию ненадежных и опасных для здоровья женщин и мужчин. В конце этого периода намечается тенденция к сокращению показателя абортности[13] (Григорьева, Чубарова 2002).

В 1950-е годы в условиях легализации процедуры медицинского аборта по-новому проявляется репрессивно-карательный характер медицины, которая выступает в качестве института жесткого административного управления телом. Аборт осуществляется массово-поточно, операция происходит с использованием минимальных обезболивающих средств. Существующие «абортные» возможности планирования семьи, хотя и используются повсеместно и повседневно, представляют травмирующий опыт. В официальном дискурсе аборт замалчивается, в медицинских практиках он становится символом наказания женщины за отказ от выполнения репродуктивной

[13] Показатель абортности — отношение числа абортов к числу рождений на 1000 человек.

функции. Карательная функция медицины проявляется как бы невзначай — как непредвиденное последствие заботы, осуществляемой в отношении женщин в учреждениях репродуктивного здоровья.

При этом государство осуществляет пронатальную социальную политику и проводит идеологию, отождествляющую «правильную женственность» с материнством. Многочисленные, но незначительные по величине льготы беременным и матерям в 1970—1980-е годы призваны не только стимулировать деторождение. Таким образом происходит натурализация женской роли — продвижение идеологии материнства как естественного предназначения. Вместе с тем социальная инфраструктура (медицинские, детские дошкольные учреждения, сфера бытового обслуживания) не соответствует потребностям семьи и заставляет осуществлять собственные стратегии, помогающие адаптироваться к структурным проблемам. Использование социальных сетей, родственных связей, прежде всего межпоколенческих, является, как и прежде, повседневной практикой. Явочная приватизация, или приватизация услуг, оказываемых государственными учреждениями, также становится массовой стратегией. Так, например, стараясь избежать и деторождения, и «массового» аборта, женщины находят возможности либо обратиться к нелегально практикующим врачам, либо обеспечить себе персонализированное особое отношение со стороны медицинского персонала, опираясь на механизмы взятки и блата.

На наш взгляд операцию по прерыванию беременности можно считать опытом, который объединяет советских женщин, принадлежащих к вышеназванной возрастной когорте, в одно поколение. Это поколение, для которого, как указывает ряд исследователей, характерна либерализация сексуальных нравов, сопровождающаяся развитием тенденций внебрачной и автономной от репродукции сексуальности. Лицемерие советской сексуальной и гендерной политики заключалось в том, что либерализации нравов не соответствовало развитие профессионального и научно-популярного дискурса, способствующего рациональному регулированию свободного сексуального поведения. Недостаток знаний и возможностей регулирования автономной сексуальности дорого стоил российским женщинам. Свобода в буквальном смысле оплачивалась кровью.

Ограниченная либерализация гендерной политики подкрепляется *частичной реабилитацией личной жизни (приватной сферы)*, в первую очередь связанной с политикой массового жилищного строительства 1960-х годов. Структуры жилья во многом определяют организацию повседневной жизни людей, в том числе и гендерного уклада семьи. Жилищное строительство 1950—1960-х годов приводит к появлению нового типа массового жилья — отдельной квартиры — и новых возможностей для обустройства личной жизни. Семья становится автономной единицей; повседневные интимные отношения, воспитание детей, организация быта выходят за пределы постоянного контроля соглядатаев. Контроль за «правильным» осуществлением мужественности и женственности в большей степени, чем прежде, делегируется семье и ближайшему социальному окружению. Семья вступает в своего рода «конкурентные» отношения с государством, стимулируя проблематизацию гендерных ролей в публичном дискурсе.

В официальных дискурсах доминирует интерпретация семьи как основной ячейки общества, для которой характерно разделение ролей по признаку пола; на женщину возлагаются главные обязанности по воспитанию детей и заботе-обслуживанию. Одновременно в дискурсе проблематизируются совмещение ролей матери и работницы, положение одиноких матерей (см., например, анализ прессы за 1984 год — Tartakovskaya 2000). Мужская роль также становится объектом критики в связи с невозможностью осуществления роли монопольного кормильца и защитника (Здравомыслова, Темкина 2002а).

В конце 1950-х годов начинается *формирование квазипубличной сферы*, в неформальных и полуформальных сообществах развиваются альтернативные ценности и представления о личной и общественной жизни. Социальные проблемы становятся предметом обсуждения в литературе, кинематографе и социальных науках (социология, демография, социальная статистика). Формируется дискурсивный критический поток. При этом сохраняется жесткое идеологическое цензурирование социальной критики. Она имеет крайне ограниченный характер, не затрагивает идеологические и политические основы советского строя и развивается на маргиналиях официального дискурса, где обсуждаются так называемые неантагонистические противоречия социалистического общества, в том

числе гендерные роли/отношения. Критика идеологемы мобилизованной женственности (работающей матери) и мобилизованной мужественности (служителя Отечества) воплощается в двух основных дискурсивных вариантах — в «кризисе мужественности» и в «дисбалансе женских ролей»[14].

Кризис гендерных ролей осмысляется в официальном дискурсе прежде всего в контексте демографического кризиса. Спад рождаемости вступает в противоречие с потребностями трудовой мобилизации населения, усиливается государственная политика, поддерживающая семью. Социальная политика видоизменяет женскую роль, усиливает акцент на материнство. Среди мер, которые могут изменить ситуацию падения рождаемости, рассматриваются влияние на общественное мнение, пропаганда ранних браков, нежелательности разводов и увеличения размера семей. Другой мерой является экономическая поддержка материнства (увеличение числа детских садов и яслей, увеличение оплаты декретных отпусков и отпусков по уходу за ребенком, приоритетное право молодых семей при распределении жилья, разработка программ помощи семье и т. д.) (Борисов 1976; Lapidus 1977: 132–134).

Проблемы совмещения двух ролей — матери и работницы — осознаются в общественном дискурсе в терминах чрезмерной «маскулинизации» женщин и необходимости ее преодоления через более оптимальный баланс ролей. В этом дискурсе реализуется критика общественного устройства, приводящего к неудовлетворенности женщины своим положением в семье и общественной сфере. Женщина, в отличие от мужчины, рассматривается в первую очередь через призму семейно-бытовых отношений, повседневных обязанностей и взаимоотношений в семье. Идеальная советская женщина ориентирована на семью и материнство, но вместе с тем работает на советских предприятиях и в учреждениях, и поэтому дискурсивному анали-

[14] Диссидентская, в том числе феминистская, критика не оказывает существенного влияния на цензурируемый публичный дискурс. Отметим, что диссидентки-феминистки не получили в 1980-е годы серьезной поддержки со стороны «мэйнстрима» правозащитного движения; диссидентские круги вынужденно отличались более традиционным гендерным порядком по сравнению с «официальным» обществом (Чуйкина 1996).

зу подвергается в первую очередь проблема совмещения ею двух ролей.

Существует два варианта интерпретации проблем дисбаланса женских ролей. С одной стороны, мобилизованная для выполнения целей социалистического строительства, женщина испытывает трудности в реализации ролей жены и матери. С другой стороны, вовлеченная в общественно полезный труд, женщина не справляется с семейными обязанностями, следствием чего являются разводы, проблемы в воспитании детей, одинокое материнство. В качестве альтернативы рассматривается «возвращение женщины в семью». Семья позднесоветского периода, сохраняющая известную дистанцию от государства, служит *убежищем* от государственного и общественного контроля. Основная семейная роль женщины заключается в воспроизводстве частной семейной сферы, а значит — в воспроизводстве границы, отделяющей семью от официальной публичности. По словам В. Ерофеева, *«русская женщина статистически на работе врала куда меньше, а дома куда меньше пила. Она соображала лучше и была укоренена в сегодняшнем дне. Она стирала, гладила, красила губы даже в самый разгар культа личности... Любовь для нее была важнее коммунизма»* (Ерофеев, 1999: 12). Двойственная идентичность советской женщины проявлялась в том, что она играла ключевую роль в организации семейного уклада и была интегрированным членом советского трудового коллектива. В этом и состояла суть женского гендерного гражданства работающей матери, которое хотя и описывалось зачастую в категориях ролевого конфликта или ролевой напряженности, являлось вполне целостным интегрированным статусом. Позиции домохозяйки и бездетной женщины в высшей степени проблематизированы в нормализующем дискурсе. Они не столько являются объектами осуждения, сколько описываются в категориях несостоявшейся судьбы или личной неудачи. Такие женские статусы нуждаются в объяснении и оправдании.

Тем не менее *приватизация жизни* (терминология В. Шляпентоха) порождает (нео)традиционалистские интерпретации женской роли, предполагающие ограничение участия женщин в публичной сфере. В таком случае на мужчину возлагается ответственность за материальное обеспечение семьи и (в терминах Т. Парсонса) осуществление ее инструментальной связи с обществом.

Однако (нео)традиционалистские интерпретации женственности не были доминирующими. Критический социологический дискурс развивал и эгалитарные (либерально-феминистские) взгляды. Советские социологи и демографы доказывали наличие бытового неравенства мужчин и женщин, преодоление которого является задачей коммунистического строительства (Гордон, Клопов 1972; Грушин, 1967). Исследования бюджетов времени выявили, что женщины-работницы уделяют домашнему хозяйству в 2—2.5 раза больше времени, чем мужчины, и соответственно располагают меньшим временем для роста квалификации и развития потенциала личности. Женские занятия составляют основу домашнего хозяйства и поглощают столько внерабочего времени, что образуют своего рода вторую смену женщин-работниц.

В семье фиксируется разделение ролей по половому признаку: в кухонной работе «нет никакого равенства — или хотя бы намека на равенство» (Гордон, Клопов, 1972: 115); существуют различия, касающиеся стирки белья, уборки квартиры, воспитания детей и т. д. В целом мужчины оцениваются как «менее квалифицированные в домашнем труде» (Там же). Социальное неравенство полов усиливается в браке. В домашних обязанностях замужних женщин-работниц большую роль играет обслуживание мужа. Женщины в неполных семьях (матери детей, рожденных вне брака, вдовы и разведенные) тратят на домашние дела примерно на шесть часов в неделю меньше, чем женщины в полных семьях.

Авторы выделяют следующие причины неравенства в бытовой сфере. Во-первых, сохраняют свое значение нормы поведения, привнесенные из патриархального прошлого; традиция ориентирует девушек на обслуживание семьи. Во-вторых, зачастую женщины разделяют домостроевские убеждения относительно характера домашнего труда. В-третьих, не развита сфера обслуживания, которая приводит к тому, что мужчины и женщины ориентируются на потребление продуктов домашнего труда. В-четвертых, не используются резервы модернизации самого домохозяйства. По мнению женщин, их домашний труд должна облегчить малая механизация быта, при которой сохраняются традиционные формы семейного разделения труда (Слесарев, Янкова 1969).

Из признания социального неравенства мужчин и женщин в сфере домашнего труда следуют рецепты изменения ситуации. К ним относятся развитие сферы услуг, индустриализация быта и механизация домашнего хозяйства. Сторонники таких мер признают, однако, существование *естественных* ограничений политики равенства: домашнее хозяйство *по природе* не поддается обобществлению. В конечном счете, домашнее хозяйство служит упрочению семьи, и потому некоторые его виды не могут быть компенсированы развитием сферы обслуживания.

Второй рецепт предполагает изменения в обычаях и нравах советских людей. Авторы отмечают, что модернизирующееся общество уже привело к освоению мужчинами непривычных для них видов деятельности: «...во всяком случае, над мужчинами в наши дни почти не тяготеет своеобразное табу на участие в мелких бытовых закупках, исторические корни которого явно относятся к тому времени, когда женщины-горожанки в подавляющем большинстве были заняты в домашнем хозяйстве, а не в общественном производстве» (Гордон, Клопов 1972: 15). Социологи не решаются объяснить такое вовлечение мужчин в домашний труд проблемами повседневного экономического дефицита.

Однако знание советской повседневности приводит исследователей к выводу, что существенно облегчить домашний труд работающей замужней женщине может лишь помощь родственников. Семьи с помогающими родственниками оказываются в более выгодном положении; межпоколенческая помощь, и прежде всего матрифокальная, оказывается чрезвычайно значимой в организации семейного быта. В советском обществе повседневные стратегии многих женщин предполагали помощь старших родственников, которая компенсировала неразвитость социальной инфраструктуры и способствовала выполнению роли «работающей матери». Другой стратегией облегчения двойной нагрузки стало сознательное ограничение количества детей в семье, позволяющее более гибко совмещать обязанности.

Кризис этакратического гендерного порядка проявился также в *проблематизации советской мужской роли*. В критическом дискурсе обсуждается феминизация и демографический недостаток мужчин, низкая продолжительность их жизни, высокий уровень заболеваемости и смертности, массовость вредных

привычек, алкоголизма, производственного травматизма. Либеральный лозунг «Берегите мужчин!», получивший распространение в конце 1960-х годов, виктимизировал советского мужчину. В дискурсе о кризисе маскулинности мужчина был представлен как жертва природы, модернизации и конкретных обстоятельств жизни.

Среди мер по преодолению мужской депривации предлагается более жесткий и систематический контроль за здоровьем мужчин, оздоровление семьи, усиление ответственности женщин за правильный образ жизни мужей. Однако, как показывает анализ либерального дискурса, эти меры не могут радикально улучшить ситуацию, поскольку институциональные условия ограничивают возможности реализации «настоящей» мужественности, ориентирующейся на экономическую и политическую независимость, защиту Отечества и служение высоким идеалам.

Либерально-критический дискурс презентирует несколько моделей, которые имплицитно показывают, от чего страдают мужчины позднесоветского периода и какими качествами должен обладать идеальный мужчина (подробнее см.: Здравомыслова, Темкина 2002а). Среди нормативных образцов — «русский дворянин», человек чести; «советский воин», защитивший Родину-мать на фронтах Гражданской и Великой отечественной войны; романтизированный «западный ковбой». Эти идеалы недостижимы, поскольку они не обеспечены структурными возможностями публичной сферы. Эрзацы настоящей мужественности реализуются в практиках высокого профессионализма, мужской дружбы и романтизированных девиаций (Чернова 2002).

Таким образом, последняя фаза этакратического гендерного порядка характеризуется дискурсивным кризисом советских проектов мужественности и женственности. В рамках критики предлагаются как традиционалистские, так и эгалитарные интерпретации и соответствующие им рецепты реформирования гендерного порядка. При этом все авторы так или иначе ориентированы на перспективы приватизации семьи и натурализацию гендерных отношений.

Итак, советский гендерный порядок формировался под влиянием государственной гендерной политики, принципы которой изменялись на разных этапах социалистического стро-

ительства. Специфика советского государственного регулирования дает нам основание назвать этот порядок этакратическим и патримониальным. При этом гендерный порядок не сводился к декларациям официальной идеологии, нормативным и нормализующим суждениям власти. Оппонирующие гендерные дискурсы существовали в послереволюционный период и в период либерализации. На протяжении всего советского периода, в том числе во время сталинского репрессивного режима, в повседневной жизни гражданами вырабатывались и реализовывались гендерно специфические адаптивные стратегии подчиненных.

На всех этапах социалистического строительства государство, осуществляя институциональное и дискурсивное регулирование, выступало гегемонным агентом формирования советского поляризованного гендера. Гендерный контракт «работающая мать» доминировал на всем протяжении советского периода. Однако гендерная политика содержала внутренние противоречия, которые постоянно порождали необходимость приспосабливаться к ним и вырабатывать адаптивные стратегии. Кроме того, различные традиции патриархальных гендерных укладов оказались крайне устойчивыми и демонстрировали высокую степень консервативности. Далеко не во всех случаях нормативные и нормализующие суждения власти являлись эффективными регуляторами гендерных практик. Различия гендерных, и прежде всего семейных, укладов в разных республиках Советского Союза, в городах и деревнях, в центре и на периферии подчеркивают сложную динамику советского гендерного гражданства. В данной статье мы сконцентрировали внимание на российском варианте гендерного контракта.

Кризис гендерного гражданства, артикулированный в критическом дискурсе, в дальнейшем нашел воплощение и в позднесоветских дискурсах, когда государство начало терять контроль над повседневной частной жизнью граждан.

Модель «советского» отцовства: дискурсивные предписания[15]

(Ж. Чернова)

В статье представлен анализ истории формирования нормативной модели «советского» отцовства как особого типа родительства. Гендерная политика Советского государства не была последовательной и когерентной ни по отношению к мужчинам, ни по отношению к женщинам. «Советская» модель родительства являлась частью государственной политики формирования новых образцов мужественности и женственности. На разных этапах проект советского родительства можно рассматривать как дискриминационный, когда родительство превратилось в социальную обязанность женщин и сферу депривации мужчин. Формирование модели «советского» отцовства проходило в рамках более общей гендерной политики, представленной рядом нормативно-правовых документов. В статье рассматривается, из каких дискурсивных элементов складывался этот тип отцовства и в чем его специфика.

В социологической литературе, содержащей анализ гендерного порядка советского общества, поднимается проблема кризиса родительских ролей и дискриминации мужчин в сфере родительства. Примеры того, что в советский и современный периоды родительские права мужчин систематически нарушались, можно найти в работах западных и российских ученых (Голод 1998; Гурко 2001а, 2001б; Kukhterin 2000, и др.). К причинам, порождающим неравенство, исследователи относят в

[15] Статья написана на основе исследовательского проекта, поддержанного фондом МакАртуров, грант № 03-77857-000-GSS.

первую очередь структурные факторы: брачно-семейное законодательство; идеологическую и социальную поддержку родительства главным образом как материнства; государственную мобилизацию мужчин, исключающую их из сферы приватности; традиционные стереотипы, усугубленные гендерной политикой советского государства. Так, Е. Ярская-Смирнова, предлагая определение сексизма, характерного для российского общества, в качестве одного из основных примеров приводит утверждение о том, что «детей при разводе обычно оставляют с матерью» (Ярская-Смирнова 2001: 46). Е. Здравомыслова связывает существующие дискриминационные стереотипы со специфической русской моделью воспитания, где основная роль принадлежит женщинам: «Только матери имеют детей в российском обществе. Отцы не принимаются во внимание ни социальными институтами, ни обществом в целом. Дискриминация отцов как родителей — типичное явление» (Zdravomyslova 1996: 46).

Как правило, проблема отцовства рассматривается как часть более широкой социальной проблемы увеличения числа неполных, главным образом материнских, семей. Рост числа семей, состоящих из матери и ребенка, практически однозначно интерпретируется как негативное явление. По данным выборочной переписи населения 1994 года, доля неполных семей среди домохозяйств с детьми до 18 лет составляла 21 %, причем в семьях с одним родителем проживали 16 % детей (т. е. каждый седьмой российский ребенок). Главной причиной постоянного увеличения количества неполных семей является стабильно высокое число разводов. При этом в подавляющем большинстве случаев после расторжения брака дети остаются с матерью, т. е. образуются материнские семьи. По оценкам ИСЭПН РАН и ИС РАН, в России доля отцов, остающихся с ребенком, составляет менее 1 % от семей с одним родителем, в то время как в США — около 10 % (Гурко 1999: 221). С. Голод, рассматривая проблемы неполных семей, отмечает, что дети передаются на воспитание отцам «лишь в исключительных случаях — когда мать страдает алкоголизмом или психически больна» (Голод 1998: 193). По его мнению, причины гендерной дискриминации многоплановы, но главная из них — это «стереотип материнства, его бессознательная поддержка судьями, которые, как правило, женщины» (Там же: 193).

Сложившаяся практика нарушения прав отцовства наряду с невозможностью реализации мужчинами роли монопольного кормильца и доминированием женщин в приватной сфере явилась, по мнению исследователей, причиной кризиса маскулинности, ставшего дискурсивным фактом позднесоветского периода (Здравомыслова, Темкина 2002а: 440), и отчуждения мужчин от отцовства (Kukhterin 2000). Таким образом, можно предположить, что тип отцовства, сформированный под влиянием гендерной политики советского государства, представляет особую модель родительства, принципиально отличную от других вариантов отцовства («традиционного», «нового ответственного» и др.), а также от «советского» материнства.

Советский гендерный порядок

Ряд отечественных исследователей определяют гендерный порядок советского общества как этакратический, поскольку он в значительной степени обусловливался «государственной политикой, задающей возможности и барьеры для действий людей» (Здравомыслова, Темкина 2003: 303). Специфика этакратического гендерного порядка заключается в том, что основным агентом формирования гендерных отношений и их контроля являлось государство. Гегемоническая позиция государства влияет на структуру гендерной композиции. Вместо бинарной модели мужественности/женственности, характерной для гендерной культуры западных индустриально развитых обществ, где гегемонная маскулинность занимает доминирующую позицию в гендерной иерархии, был выстроен «треугольник», в котором государство занимало доминирующую позицию в отношении как мужественности, так и женственности, задавая и утверждая гендерную норму. Патриархальные семейные отношения, когда мужчина обладал практически неограниченной властью над своими домочадцами, сменились гегемонией государства, монополизировавшего функции «отцовской власти»; государство отчуждало от нее конкретного мужчину и тем самым лишало его самих основ патриархальной мужской идентичности (Айвазова 1998).

Советский гендерный проект предполагал вмешательство государства в частную жизнь советских граждан и традиционно рассматривал мужчину в качестве главы семьи; государство

номинально определяло его своим главным «агентом влияния», «проводником» политики партии в каждой отдельно взятой ячейке общества. Несмотря на гегемоническую позицию государства, в семейной политике под «главой семьи», как правило, понимался мужчина. Так, например, при переписи населения 1959 года отдельно был поставлен вопрос о главе семьи, которого определяли сами члены семьи. В результате были получены следующие данные: общее количество опрошенных семей составило 50 333 487, из них 35 980 299 (71.5 %), где глава семьи мужчина и 14 353 188 (28.5 %) — женщина (Курганов 1967: 175). Однако государство считало, что оно обязано активно участвовать в регулировании частной жизни советских граждан; например, в книге «Социология в СССР» говорится следующее: «...недопустимо предоставлять самотеку интимные процессы в семье, связанные прежде всего с руководством семейным коллективом. Полное овладение этими процессами и направление их в желательную сторону возможны только на основе усиления воспитательной работы с каждой семьёй. На данном этапе развития общества возникает настоятельная необходимость организации специальной воспитательной работы с главами семей» (цит. по: Курганов 1967: 178). Так, в советском гендерном проекте мужчина был подотчетен государству и нес ответственность за качество жизни своей семьи.

В отличие от женского варианта гендерного контракта «работающая мать», в котором совмещаются профессиональные, семейные и материнские обязанности, вменяемые советской женщине государством, для мужчин в качестве нормативного образца предлагался образ «строителя/защитника коммунизма». По мнению К. Келли, в 1920—1930-х годах в Советском государстве создавалась «универсальная мужественность» — это тип «мужчины крайне рационалистичного, которому предписано не показывать свои эмоции. Руководящая установка — на "закал", чрезвычайно суровый и взыскательный кодекс физической и умственной самодисциплины, требующий делать зарядку, совершать водные процедуры (например, принимать контрастный душ), а также эффективно трудиться на рабочем месте и вообще отдавать всего себя служению общему благу» (Келли 2003: 389). Этот проект советской гегемонной маскулинности базировался на традиционном разделении половых ролей, когда публичная сфера является областью самореали-

зации мужчин. При этом государство рассматривало советского мужчину как своего рода «номадический субъект» — как трудовую и/или боевую единицу, не обремененную частной собственностью и ответственностью за семью. Это должно было сделать его мобильным, т. е. способным к частым переездам, сменам места работы и жительства, готовым всегда выполнить приказ партии и правительства (участвовать в социалистических стройках, охранять границы Родины, покорять целину и т. д.). Особенно востребованным данный тип мужественности оказался в период 1930—1940-х годов, когда предвоенная и военная ситуация в стране сделала мужскую роль «солдата базовым элементом новой мужской идентичности» (Schrand 2002: 203). В результате, как отмечает И. Тартаковская, под воздействием политики «гипермаскулинного милитаризованного государства» сложился советский тип мужественности, связанный исключительно со службой Родине, «под которой понималось безоговорочное и самоотверженное участие в реализации любых государственных проектов» (Тартаковская 2003: 45). Таким образом, готовность и способность подчинить свои личные интересы общественным — это одна из отличительных особенностей советского образца нормативной мужественности.

Статус мужчины в советском гендерном порядке напрямую зависел от его профессионально-должностной позиции (Ашвин 2000; Тартаковская 2003). В этом можно увидеть сходство с концептом гегемонной маскулинности, характерным для западного капиталистического общества и формирующимся в постсоветской России. Именно сфера профессиональной занятости конституирует модель нормативной мужественности, служит фундаментом для формирования гендерной идентичности «настоящего» мужчины и тем самым создает основу для его самореализации в качестве кормильца и патриарха (Чернова 2003), в то время как сфера эмоциональных и семейных отношений находится на периферии создания и реализации образа гегемонной маскулинности. Вторичность семьи по отношению к профессии выражается в том, что статус мужчины в частной сфере достаточно сильно зависит от его успеха в роли кормильца. Более того, в случае провала «сценария маскулинности» (т. е. в ситуации профессиональной неуспешности и несостоятельности) семья, взаимоотношения с детьми и вну-

ками крайне редко становятся для мужчины «достойным» полем для самореализации. Попытки смещения акцентов, переопределения мужчиной своих жизненных задач и интересов из публичной сферы в приватную И. Тартаковская выделяет в качестве стратегии «приватизации мужественности» (Тартаковская 2003: 59). Трудность «приватизации маскулинности» заключается в том, что как в советской, так и в постсоветской гендерной культуре практически не существует позитивных версий легитимного маскулинного сценария, не связанного исключительно с профессиональным успехом. Попытки реализации этой стратегии наталкиваются на сопротивление как со стороны самих мужчин, боящихся выглядеть недостаточно «настоящими» в глазах других (мужчин, своей семьи, общества в целом), если они выбирают, например, «папину карьеру», так и со стороны женщин, привыкших считать семейную сферу зоной своей ответственности и власти и согласных принимать помощь мужа, но не готовых к кардинальному перераспределению обязанностей.

Идеологическая гегемония государства в области гендерных отношений касалась не только супружеских, но и родительско-детских отношений, так как государство провозгласило себя «основным ответственным за воспитание детей» (Пфау-Эффингер 2000: 33). Государственная гегемония в сфере родительства выражалась в том, что «государство брало на себя ответственность за исполнение традиционной мужской роли отца и кормильца, став фактически универсальным патриархом, подданными которого были мужчины и женщины» (Ашвин 2000: 64). Под гегемонией государства в сфере родительства понимается то, каким образом и посредством каких нормативно-правовых и экономических шагов государство вытесняет мужчин из семейной сферы и отчуждает их от отцовства, беря на себя выполнение родительских обязанностей (материальную и воспитательно-образовательную). В этом, по нашему мнению, заключалась политика государства в отношении мужчин и специфика идеологического проекта «советского» отцовства.

Последствия гегемонического положения государства в сфере гендерных отношений советского общества были неоднозначными. С одной стороны, благодаря мощной государственной поддержке стала возможной практическая реализация женского эмансипационного проекта (политическая и

экономическая мобилизация женщин, их массовое включение в общественное производство, квотирование при получении профессионального образования и т. д.). С другой стороны, для «советской» модели мужественности, особенно в сфере семьи и родительства, этакратический характер гендерного порядка скорее можно определить как дискриминационный. Кризисное состояние маскулинности воспроизводилось на различных уровнях: идеологическом, экономическом, юридическом. Оно выражалось в том, что мужчина переставал рассматриваться в качестве реального главы семьи с присущей ему ответственностью за свою семью и своих близких; более того, «к власти мужчин в частной сфере все же относились с подозрением» (Ашвин 2000: 64). Как было отмечено выше, государство рассматривало мужчину/мужа/отца в качестве проводника своей политики в семье и при этом значительно ограничивало возможности для самореализации мужчин в частной сфере, предоставляя им небольшой набор легитимных социальных ролей, главным образом связанных с «внешним», публичным миром.

Как замечает С. Айвазова, для идеологов нового гендерного порядка в послереволюционной России «ненадежность, или, точнее, неблагонадежность, мужчины как агента новых социальных отношений для Коллонтай очевидна. Поэтому она упорно подчеркивает мысль об общности интересов женщины и нового государства» (Айвазова 1998: 72). Подтверждение гендерной асимметрии можно найти, если обратиться к анализу семейной политики советского периода, для которой были характерны явный перекос в сторону защиты материнства и детства и практически полное исключение категории отцовства: «Женщине обеспечиваются все обходимые социально-бытовые условия для сочетания счастливого материнства со все более активным творческим участием в производственной и общественной жизни», когда государство «всемерно охраняет интересы матери», и именно «материнство в РСФСР окружено всенародным почетом и уважением, охраняется и поощряется государством» (Максимович 1996: 80–81). Итак, на протяжении всей советской истории мужчины мобилизуются государством как «строители» и «защитники Отечества». Они все больше времени проводят вдали от дома и не имеют возможности принимать непосредственное участие в воспитании

детей и жизни семьи. Материнство становится долгом женщин, а отцовство превращается в «воскресную обязанность» мужчин.

Этапы формирования модели «советского» отцовства

Гендерная политика советского государства была непоследовательной. Революционная фаза преобразования семьи сменялась традиционалистским откатом, направленным на ее укрепление. Противоречащие друг другу действия государства в сфере семейных отношений создавали предпосылки для превращения декларируемой политики гендерного равенства в «войну полов». В отношении каждой гендерной категории граждан государство проводило особую политику, вменяя им различные обязанности и наделяя разными правами. Асимметричность предписаний создавала условия для того, чтобы представители обоих полов выработали институционально поддерживаемые способы злоупотребления своими правами и манипулирования друг другом в семейных отношениях. Отцовство, на наш взгляд, является наиболее показательным примером, иллюстрирующим то, при каких условиях и из каких элементов складывается гендерный конфликт. Изменения в нормативно-правовой и экономической сферах общества, произошедшие в первые десятилетия советской власти, были направлены на подрыв главенства мужчины в семье. Массовое привлечение женщин в общественное производство делало их экономически независимыми от старших мужчин в семье; государственная поддержка материнства и детства, официальная идеологическая риторика почти полностью исключила отцов из процесса воспитания советских граждан, оставив ему по возможности роль кормильца, что также не способствовало укреплению института отцовства.

Презумпция материнской правоты, из которой исходило государство, а также сложившаяся к 1930-м годам судебная практика разрешения споров об отцовстве давали женщинам возможность манипулировать мужчинами, предъявлять им материальные и другие претензии, связанные с их отцовством. Как отмечает Л. Завадская, «та легкость, с которой женщина могла доказать факт существования фактических брачных от-

ношений со всеми вытекающими отсюда последствиями, делали мужчин совершенно беззащитными перед недобросовестными партнершами, претендовавшими и на площадь, и на часть имущества своего "супруга", требовавшими часто установления отцовства в отношении детей, к которым эти мужчины не имели никакого отношения. Со временем на практике это привело к тому, что мужчины стали вообще остерегаться женщин и бояться вступить с ними в какие бы то ни было интимные отношения» (Гендерная экспертиза... 2001: 104). Как мы можем увидеть, специфическая гендерная политика советского государства привела к возникновению напряжения как между женщинами и мужчинами, так и между самими женщинами. Для мужчин она обернулась, с одной стороны, освобождением от ответственности за женщину и ребенка, так как государство было готово оказать необходимую поддержку, с другой стороны — существованием потенциальной возможности быть привлеченным матерью и государством к исполнению отеческого долга, по крайней мере материального. Причина напряжения между женщинами объяснялась тем, что семейные отношения были не защищены от посягательств другой женщины, поскольку признание мужчиной в добровольном или судебном порядке незаконнорожденного ребенка могло привести к разрушению уже существующего брака, ухудшению материального положения семьи из-за необходимости выплачивать алименты, оказывать поддержку ребенку и его матери. Ужесточение норм семейно-брачного законодательства, запрет абортов и установления отцовства ребенка, родившегося вне брака, поставили женщин как категорию граждан в более уязвимое положение по сравнению с мужчинами, получившими институционально подкрепленную возможность уклоняться от своих родительских обязанностей.

В данной статье в фокусе рассмотрения находятся изменения, которые касались непосредственно семейно-брачных отношений, так как процесс отчуждения отцовства имел продолжительную историю. Дискурсивные трансформации рассматриваются нами как структурные условия, под воздействием которых происходит изменение повседневных действий людей, паттернов родительства вообще и моделей отцовства в частности. На разных этапах гендерной политики Советского государства отношение к отцовству было различным, что на-

шло отражение, например, в порядке установления отцовства. На основе анализа правового дискурса выделим следующие периоды гендерной политики Советского государства в отношении мужчин и отцовства.

1) 1917—середина 1940-х годов — период формирования квазиэгалитарных основ «советской» модели родительства, когда и мужчине и женщине вменяются равные обязанности в отношении ребенка: создаются юридические механизмы привлечения мужчины к ответственности за ребенка (устанавливается право на фамилию, имя отца, экономическое право на алименты и т. д.). В то же время в идеологическом дискурсе разрабатывается и популяризуется идея общественного воспитания, обобществления родительских функций. При этом формируемая и подкрепляемая государством модель «советского» родительства носит явно асимметричный характер, так как она базируется на презумпции материнского права в отношении ребенка и наделяет мужчин-отцов целым рядом обязанностей, в то же время поражая их в правах.

2) 1944—конец 1960-х годов — период закрепления гендерной асимметрии в моделях родительства на идеологическом, нормативно-правовом и повседневном уровне, когда, с одной стороны, мужчины юридически освобождались практически от всяких обязательств перед женщиной и ребенком (наибольшая степень свободы и наименьшая степень ответственности предоставлялись мужчинам во внебрачных связях), а с другой стороны, вменяемая женщинам безграничная ответственность за ребенка приучает их относиться к своим детям как к собственности, исключать мужчин из эмоциональной сферы родительства и не рассчитывать на равное разделение обязанностей.

3) 1968—середина 1980-х годов — период кризиса модели «советского» отцовства, что выражалось в таких негативных социальных явлениях, как «скрытая безотцовщина», «пассивность быта отцов» и т. д. Подтверждение депривации мужчин в сфере семьи и родительстве можно увидеть как в субъективных показателях (личностных переживаниях конкретных мужчин), так и в объективных (статистических данных о росте числа разводов, увеличении количества пьющих мужчин).

4) Вторая половина 1980-х—2000-е годы — период проблематизации роли отца в семье и российском обществе, осознание депривационного характера паттернов «советского» отцов-

ства, формирование структурных возможностей для появления новой модели — «ответственного отцовства».

Поскольку в фокусе нашего исследования находится модель «советского» отцовства, далее подробно остановимся на рассмотрении первых трех этапов, считая, что именно в этот период на уровне гендерной политики государства произошло формирование и институционализация данного типа родительства.

Первый период (1917—середина 1940-х годов)

Именно в период с 1917 по 1936 год были предприняты действия, направленные на разрушение основ старой патриархатной семьи и построение фундамента для новых отношений внутри «гендерного треугольника» (государство — мужчины — женщины), а также на усиление роли государства. Произошедшие революционные трансформации коренным образом изменили положение семьи в новом обществе. Семейное законодательство Российской империи поддерживало практически абсолютную власть мужчины над детьми и женой (Engel 2002). Приоритет отцовского права выражался в том, что в случае споров между родителями мнение отца было решающим, а также в том, что только отцу принадлежало право представлять интересы своих детей, управлять их имуществом (Нечаева 2002: 52). Обязанности родителей делились на имущественные и личные. Первые заключались в материальном содержании детей, которое могло сохраняться и после достижения ими совершеннолетия, причем эти правила распространялись и на незаконнорожденных. Согласно законодательству Российской империи, отец внебрачного ребенка, предоставляющий средства на его содержание, имел право надзора за его воспитанием. Ко вторым, личным, обязанностям родителей относились требования, связанные с воспитанием детей: «Родители должны обращать свое внимание на нравственное образование своих детей и стараться домашним воспитанием приготовить нравы их и содействовать видам правительства» (Там же: 56). Родительская, а именно отцовская, власть над ребенком была практически неограниченна; так, например, детей могли отдавать на обучение в любое заведение без их согласия. Также родители были обязаны заботиться об определении сына на

службу или в промысел соответственно их состоянию и о выдаче дочерей замуж (ст. 174).

Ликвидация частной собственности подорвала одну из основ господства мужчины в каждой отдельной семье. Власть отца лишилась важного материального основания, позволявшего осуществлять господство над своими домочадцами, контролировать их поведение. Коренные перемены в экономической и политической жизни государства не могли не затронуть и законодательную базу по вопросам семьи и брака. Инновации в первую очередь касались формальной стороны заключения брака, статуса и прав детей, рожденных в разных формах брака, а также процедуры установления отцовства. 18 декабря 1917 года Советом народных комиссаров был принят Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»: он установил в качестве единственно законного брака гражданский брак; уравнял в правах детей, рожденных в браке и вне его; установил упрощенный порядок установления отцовства. Все эти революционные изменения права были включены в Семейный кодекс 1918 года. Таким образом, «советская власть, как писал Ленин, первая и единственная в мире уничтожила полностью все старые, буржуазные, подлые законы, ставящие женщину в неравное положение с мужчиной, дающие привилегии мужчине, например, в области брачного права или в области отношений к детям» (цит. по: Курганов 1967: 85).

По новому законодательству отец ребенка записывался на основании простого заявления матери, которого было достаточно для юридического признания названного мужчины в качестве отца ребенка. Мужчине в этом случае посылалось соответствующее уведомление об установлении отцовства; если в течение одного года он не оспаривал факта своего отцовства, считалось, что он — отец ребенка (Нечаева 1996: 13—14). Подобный юридически закрепленный механизм установления отцовства определяется некоторыми исследователями истории советского брачно-семейного законодательства как «правовой примитивизм» (Максимович 1996: 82). В ст. 143 Брачно-семейного кодекса РСФСР 1918 года говорилось, что «если судом будет найдено, что отношения лица, названного в заявлении, и матери ребенка были таковы, что по естественному ходу вещей именно он является отцом ребенка», то на этом основании суд выносил «определение о признании его отцом, постанов-

ляя одновременно об его участии в расходах, связанных с беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка». Показательным в приведенной статье кодекса является то, что процедура установления отцовства не предполагала специальных медико-генетических экспертиз или сбора других доказательств; государство «на слово» верило женщине и вставало на ее защиту. Иными словами, система исходила из презумпции материнской правоты, накладывала на мужчину-отца родительские обязанности главным образом экономического характера.

Подобный подход приводил к парадоксальным случаям присуждения «коллективного отцовства». Так, ст. 144 предполагала, что «если суд при рассмотрении вопроса об установлении отцовства установит, что лицо, названное беременной женщиной в заявлении отцом ребенка, в момент зачатия хотя и было в близких отношениях с матерью ребенка, но одновременно с другими лицами, то суд постановляет о привлечении последних в качестве ответчиков и возлагает на всех них обязанность участвовать в расходах». При обсуждении второго Брачно-семейного кодекса предполагалось так усовершенствовать эту юридическую норму: «Взыскивать с таких лиц не как с солидарных ответчиков, а с одного из них — с того, "кто больше получает"» (Максимович 1996: 82—83).

В первое десятилетие советской власти семья как институт существовать не перестала; напротив, сформировалась потребность в более полной правовой регламентации ее жизнедеятельности. Поэтому «в целях урегулирования правовых отношений, вытекающих из брака, семьи и опеки на основе нового революционного быта, для обеспечения интересов матери и особенно детей и уравнивания супругов в имущественном отношении и в отношении воспитания детей» был разработан и с 1 января 1927 года введен в действие новый Семейный кодекс. Этот кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке представляет своего рода компромисс между «неприятием буржуазной модели семьи и одновременно сохранением некоторых ее элементов, например брака или традиционных отношений между полами» (Блюм 2005: 114); в нем присутствуют попытки сочетать революционные преобразования в семейной структуре, личной жизни и сексуальности с нарастающими консервативными взглядами на вопросы половой морали.

В кодексе были сохранены основные положения декрета 1917 года, но добавились положения относительно порядка усыновления. В результате признания юридического значения фактического брака в новом кодексе установление отцовства еще более упростилось. По мнению правоведов, до конца 1930-х годов судебная практика по делам об установлении отцовства представляется крайне либеральной (Тарусина 2001). Государство все больше стремилось поддержать женщину в решении семейных вопросов, все чаще становилось на ее сторону в спорных ситуациях, вырабатывало меры по ее поддержке. Так, на основе судебной практики 11 июня 1929 года Пленумом Верховного суда было утверждено инструктивное письмо по алиментным делам, касающееся в том числе и исков об отцовстве. В нем указывалось, что при установлении отцовства суд должен встать на сторону женщины-матери. Так, отказ в иске истице из-за отсутствия доказательств сожительства с мужчиной-ответчиком недопустим; напротив, ей необходимо всячески содействовать в сборе доказательств, подтверждающих ее правоту. Для признания факта отцовства, особенно в случаях «коллективного отцовства», использовалось два способа: первый — осмотр ребенка на судебном заседании и визуальный поиск внешнего сходства между ребенком и одним из предполагаемых отцов, второй — медицинская экспертиза сходства. Однако из-за недостаточного научного обоснования последняя процедура в 1939 году была отменена. Из-за отсутствия более или менее надежных методов установления биологического отцовства суд руководствовался главным образом заявлением женщины, а также «косвенными» доказательствами наличия отношений, такими как совместное проживание, материальная поддержка ребенка со стороны мужчины и другие факты, подтверждаемые свидетелями.

Судебная практика установления отцовства в этот период базировалась на презумпции правоты матери. В инструктивном письме 1929 года прописывалась максимально лояльная позиция суда в этих вопросах. В тех случаях когда по каким-то причинам у истицы отсутствовали доказательства факта отцовства, суд должен был оказать ей всевозможную помощь в их сборе. Недопустимым считалось не только отклонение заявления из-за отсутствия фактов, подтверждающих правомочность претензий женщины, но и использование в ходе су-

дебного разбирательства каких-либо формулировок или суждений, которые были бы способны поставить их под сомнение. В качестве примеров приводились следующие формулировки: «Хотя истица не доказала своего иска, но, учитывая ее забитость и тупоумие, ответчик должен быть признан отцом ребенка» (Тарусина 2001: 84). Показательным, на наш взгляд, является то, что мотивы, по которым государство в случаях спорного отцовства принимало сторону женщины-матери, были преимущественно экономическими. Практическое воплощение идеи общественного воспитания, которая активно пропагандировалась в первые годы советской власти, было затруднено главным образом из-за нехватки материальных ресурсов; государство было не способно взять на себя все бремя по обеспечению юных граждан. На уровне идеологии главенство государства в воспитании детей не ставилось под сомнение, в каждом конкретном случае государству необходимо было разделить экономическую ответственность с родителями ребенка. Семейная политика Советского государства носила патерналистский характер в отношении женщин и детей, мужчина рассматривался в качестве экономического субъекта, оказывающего им материальную поддержку. Именно поэтому в случае спорного отцовства суд, как правило, поддерживал притязания женщины из соображения, что «должен же кто-нибудь содержать ребенка» (Там же). Итак, отцовство рассматривалось главным образом как экономическая категория, когда функции мужчины по воспитанию ребенка и заботе о нем в ряде случаев сводились только к материальному содержанию.

В этот период при активной поддержке государства формировалась гендерная асимметрия в сфере родительства. Она проявлялась в том, что на формальном уровне декларировалось равенство мужчин и женщин в отношении воспитания детей, а на уровне судебной практики складывался гендерный дисбаланс, при котором позиция женщины в вопросах семьи и брака подкреплялась властными полномочиями государства в лице суда, солидаризировавшегося с ней. Так, с 1930-х годов бремя родительских обязанностей стало разделяться исключительно между женщиной и государством. Отсутствие мужчины в результате миграции, арестов или других причин привело к увеличению количества женщин, воспитывающих детей в одиночку, а государство превратилось в символического и

универсального отца, провозгласившего себя ответственным за счастье и благополучие каждой семьи (Хасбулатова 2005; Kukhterin 2000; Schrand 2002). Советская гендерная политика способствовала отчуждению мужчины от семейных и родительских обязанностей. Ответственность за детей стала практически абсолютной обязанностью женщин; мать стала рассматриваться как более компетентный родитель и получила институционально подкрепленные возможности как для манипулирования, так и для исключения мужчины из области эмоциональных, внутрисемейных отношений. На этом этапе построения нового государства и новых гендерных отношений обществу было важнее определить «экономического» отца, т. е. того, кто разделит с государством бремя материальной ответственности за ребенка. Как отмечает С. Кухтерин, индивидуальное отцовство лишается своей юридической базы — частной собственности и религиозного освящения брака и ограничивается уплатой алиментов (Kukhterin 2000: 74).

Таким образом, исходя из презумпции материнской правоты, государство как главный агент гендерной политики действует преимущественно в интересах материнства и детства, а мужчина-отец как субъект семейных отношений практически исчезает из государственной политики (Хасбулатова 2005: 197). Так, в Конституции 1936 года статус отцовства не предусмотрен, что не позволяет говорить о нормативно закрепленном неравенстве советских граждан в семейных отношениях. «Часть II ст. 122 Конституции СССР провозглашала государственную охрану интересов матери и ребенка, государственную помощь многодетным и одиноким матерям, предоставление женщине отпуска по беременности с сохранением содержания, создание широкой сети родильных домов, детских яслей и садов» (Гендерная экспертиза... 2001: 24). И если роль матери давала женщине законное основание быть освобожденной от обязанности трудиться на производстве, если она могла иметь только статус матери и не нести административную и уголовную ответственность за тунеядство, то отцовство таких «привилегий» не предполагало. Именно в этот период формируются нормативно-правовые основы отчуждения отцовства, происходит вытеснение мужчин из семейной сферы как на дискурсивном уровне, так и на уровне повседневных практик. К основным причинам, повлиявшим на формирование моде-

ли «советского» отцовства, можно отнести вмешательство государства в частную жизнь граждан, контроль за внутрисемейными отношениями, а также особую поддержку женщины-матери. Кроме того, коллективизация и индустриализация страны, миграция мужчин в поисках более высоко оплачиваемой работы и лучших условий жизни в 1930-х годах, массовая мобилизация во время Второй мировой войны, политические репрессии и другие события в истории Советского государства разлучали мужей и отцов с их семьями, делали мужчин не только психологически, но и физически исключенными из жизни родных и близких. Альянс государства и женщины-матери существенно подорвал институт отцовства, вытеснил мужчину на периферию приватной сферы, закрепил его маргинальную позицию в семейных отношениях, оставляя ему практически единственную легитимную возможность для самореализации — сферу служения Родине, выполнения своего долга.

Второй период (1944—конец 1960-х годов)

Фактическим началом нового этапа политики государства в отношении родительства вообще и отцовства в частности можно считать Указ Президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года, однако ужесточение гендерной политики началось задолго до этого времени. Самым главным показателем является Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменениях в законодательстве об абортах», принятое в 1936 году. Также произошло существенное усложнение процедуры развода, стало обязательным, чтобы в суде на слушании дела присутствовали обе стороны[16]. Пошлина за развод была значительно увеличена: 50 рублей за первый развод, 150 — за второй и 300 рублей за каждый последующий. Размеры алиментов повысились до одной трети от заработной платы отсутствующего родителя (как правило, им был отец) на

[16] В то время как либеральный Семейный кодекс 1926 года допускал заочное расторжение брака в одностороннем порядке.

одного ребенка, 50 % на двух и 60 % на трех и более детей. Увеличилась ответственность за уклонение от уплаты алиментов — до двух лет лишения свободы. Это ужесточение правового режима семейных отношений непосредственно связано и с традиционалистским откатом в гендерной политике государства, провозглашавшего необходимость укрепления семьи и семейных ценностей в контексте задач советской модернизации. Так, в 1930-е годы формируется тенденция, которая направлена, с одной стороны, на усиление традиционных женских ролей жены и матери, с другой стороны — на уменьшение ответственности мужчин за свои семьи, что в итоге приводит к формированию «матрифокального общества, в котором советский мужчина стремится к обладанию традиционными мужскими привилегиями, собственно и делающими его мужчиной, — свободному сексуальному поведению, употреблению алкоголя и проч.» (Schrand 2002: 203).

Многоженство и безответственность мужей стали одной из центральных проблем гендерных отношений в советском обществе середины 1930-х годов. После принятия постановления 1936 года в обществе развернулась кампания по борьбе с мужчинами, уклоняющимися от уплаты алиментов. Был проведен ряд показательных процессов по таким делам. Посредством СМИ формируется отрицательный образ мужчины — пьющего, бросившего свою семью, избивающего жену, уклоняющегося от уплаты алиментов (Хасбулатова 2005: 197). В различных периодических изданиях печатались письма брошенных жен, которые жаловались на измену мужа, на уклонение от уплаты алиментов и всячески просили вышестоящие и партийные инстанции вмешаться и помочь в разрешении конфликтных ситуаций. Ш. Фицпатрик отмечает, что профсоюзная газета «Труд» на своих страницах очень активно боролась против «блудных мужей» (Фицпатрик 2001а: 176). Женщины же, напротив, изображались как пострадавшая сторона существующего гендерного конфликта, как благородный и страдающий пол, способный на большое терпение и самоотверженность ради семьи и детей. В целом гендерную политику второй половины 1930-х годов можно охарактеризовать как «антимужскую», направленную на укрепление альянса государства и женщины в семейной сфере (Там же: 173). На идеологическом уровне подобного рода нововведения были нацелены на

борьбу с «легкомысленным отношением к браку», причем в общественном мнении преобладало представление, что именно отцы, а не матери недостаточно хорошо заботятся о своих детях и что они должны измениться и стать лучше.

Реакционный откат в гендерной политике, наиболее ярко проявившийся в отношении государства к абортам, можно рассматривать как выражение контроля за семьей, увеличение семейных обязанностей женщин и освобождение мужчин от ответственности за свое внебрачное сексуальное поведение, поскольку им теперь не грозило установление отцовства. Окончательный поворот к традиционным семейным ценностям произошел в законодательстве о браке и семье с принятием Указа Президиума Верховного совета СССР от 8 июля 1944 года. Это постановление является важным потому, что оно резко ужесточило два принципиально важных момента семейно-государственных отношений: во-первых, законодательство о внебрачных детях и их матерях и, во-вторых, порядок прекращения семейных отношений в виде развода. Таким образом, одно из важных завоеваний революции — равноправие детей, *рожденных в браке и вне его, — было отменено, а биологическое* отцовство было юридически отделено от социального.

Согласно этому указу 1944 года, только зарегистрированный брак признается законным и, следовательно, только дети, рожденные в зарегистрированном браке, являются законнорожденными. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, было запрещено установление отцовства как в добровольном, так и в судебном порядке. В связи с этим было отменено существовавшее ранее право матери обращаться в суд по поводу взыскания алиментов «на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке» (Указ 1944 года, ст. 20). Отныне всякое установление внебрачного отцовства запрещалось, нормативно исключалась сама возможность такой процедуры, а отец был лишен права добровольно признать родившегося вне брака ребенка. Так, например, мужчина, не состоявший с женщиной в официальной связи, но живущий с ней в гражданском браке и имеющий от нее детей, не мог непосредственно приобрести родительские права и обязанности в отношении общих детей. Для этого он мог прибегать к процедуре усыновления или другим юридическим уловкам для получения формального ста-

туса отцовства, поскольку расторгнуть существующий лишь формально брак было нелегко (Нечаева 1996: 15).

В соответствии с указом 1944 года изменился и порядок регистрации внебрачных детей: «Установить, что при регистрации... рождения ребенка от матери, не состоящей в зарегистрированном браке, ребенок записывается по фамилии матери» (Указ 1944 года, ст. 21). Фактически это означает, что в документах ребенка в графе «отец» делался прочерк — «самый тяжкий и трагический для психики ребенка знак на всю его жизнь» (Курганов, 1967: 92). Правовой статус внебрачного ребенка был значительно ниже, чем у рожденного в браке; так, внебрачный ребенок не имел права на фамилию отца, на его отчество, был лишен права на алименты, пенсию по случаю потери кормильца, не мог вступать в права наследования и т. п. (Максимович 1996: 85). Демографы отмечают, что за десятилетие существования этих репрессивных по своей сути законов в СССР наблюдается пик внебрачной рождаемости: в 1945—1949 годы — 17.9 %, в 1950—1954 годы — 17.5 %, в 1955—1959 годы — 13.1 % (Блюм 2005: 98).

Гендерная политика государства в этот период была направлена на повышение рождаемости, было увеличено пособие матерям-одиночкам на содержание и воспитание детей (Хасбулатова, 2005: 214). Указ 1944 года увеличил число категорий граждан, на которых распространялся налог на бездетность; кроме холостяков, этот налог лег на плечи малосемейных граждан, т. е. имеющих одного или двух детей. Налог на бездетность был введен 21 ноября 1941 года и действовал в СССР до января 1992 года. Он был установлен государством с целью привлечения средств бездетных граждан на общественное воспитание и содержание детей в детских учреждениях, оказание помощи многодетным семьям и одиноким матерям, а также для косвенного влияния на демографическую ситуацию в стране. Указ от 8 июля 1944 года внес ряд изменений в порядок взыскания налога. Плательщиками налога являлись граждане СССР: мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины, состоявшие в браке, в возрасте от 20 до 45 лет. Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика по основному месту работы.

Этот указ можно рассматривать как дискриминационный по отношению к определенной категории граждан — незамуж-

ним женщинам, поскольку в случае беременности у них не было никакой возможности выбора между абортом или рождением ребенка. Мужчины, с которыми они вступали в сексуальную связь, закончившуюся беременностью, освобождались государством как от моральной, так и материальной ответственности. Только в случае регистрации брака юридически признавался факт отцовства. Ужесточение семейно-брачного законодательства сделало эту группу женщин социально и экономически более уязвимыми в сфере родительства по сравнению с мужчинами и замужними женщинами. Изменив юридические нормы семейного права, государство перестало оказывать моральную поддержку матерям-одиночкам, сведя ее исключительно к материальным выплатам, и поставило этих женщин на самую нижнюю ступень гендерной иерархии. Политика двойных стандартов, когда представители одного пола наделялись «дополнительными» обязанностями или, напротив, освобождались от ответственности при декларируемом равенстве, только поддерживала ситуацию «противостояния полов». Если до 1944 года женщине-матери отдавался приоритет при решении вопроса отцовства, то указ 1944 года освободил мужчину от ответственности за рождение и воспитание внебрачного ребенка, возложив ее на мать и государство. Так на законодательном уровне государство разделило биологическое и социальное отцовство. Биологическое отцовство перестало порождать социальное, т. е., с одной стороны, фактический отец не имел никаких прав на ребенка, с другой стороны, и это особенно важно, он освобождался государством от всяческих (экономических, моральных) обязательств по отношению к незаконнорожденному ребенку[17]. Тем самым создавались условия для

[17] Показательно в этой связи сравнение этого указа с дореволюционным законодательством по вопросу материального содержания внебрачных детей. В отличие от советского законодательства нормативная мужественность времен Российской империи базировалась на ответственности мужчины за своих близких, за своих законно- и незаконнорожденных детей. Мы видим, что гендерная политика Советского государства была направлена на разрушение дихотомии мужского доминирования и женского подчинения и на создание триады отношений «государство — мужчина — женщина», в которых государство играло главную роль.

воспроизводства модели «советского» отцовства, когда по отношению к ребенку, рожденному в законном браке, функции отца главным образом сводятся к материальному обеспечению (при разводе — к выплате алиментов); при рождении внебрачного ребенка проблема отцовства вообще не рассматривается, в обоих случаях воспитание и содержание детей ложится в основном на плечи государства и женщины.

В новых условиях женщина, родившая ребенка вне брака, могла либо сдать этого ребенка в детский дом, либо взять весь груз ответственности за его воспитание на себя. Несмотря на декларируемое увеличение поддержки матерям-одиночкам, в действительности материальная помощь государства была минимальна. Государство выплачивало матери-одиночке пособие, равное 50 рублям; после денежной реформы сумма составила 5 рублей на одного ребенка, 7.5 — на двоих и 10 рублей на троих детей (Поповский, 1985: 98). Очевидно, что данных выплат от государства-отца вряд ли хватало на безбедное существование матери и ребенка. Чтобы поддержать минимальный уровень жизни, женщине приходилось работать в нескольких местах. Таким образом, государство демонстрировало «ответственное отцовство» исключительно на бумаге и не стремилось реально исполнять свои отеческие функции в отношении женщин и детей. И если материальная поддержка в воспитании ребенка, оказываемая государством, была минимальной, то моральное давление, которое мать-одиночка испытывала на себе, напротив, было максимальным. В целом общество было не совсем терпимо к женщинам, родившим вне брака, и детям, имеющим прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. М. Поповский, исследователь истории сексуальных отношений в СССР, описывая 1940-е годы, в качестве яркого примера остракизма в отношении этих женщин приводит следующую частушку военных лет (Поповский 1985: 96):

На позицию — девушка,
А с позиции — мать;
На позиции — честная,
А с позиции — б...

До середины 1950-х годов реакционные изменения в государственной семейной политике, а именно указ 1944 года, не

рассматривались как дискриминационные по отношению к женщинам; наоборот, они расценивались как вынужденная мера в чрезвычайной ситуации военного времени, а также как способ укрепления советской семьи. Весомым аргументом в поддержку ужесточения семейного права служила неблагоприятная демографическая ситуация, которая явилась результатом огромных потерь мужского населения СССР, приведших к «значительному дефициту мужского населения» (Блюм 2005: 88). Государство таким образом как бы давало карт-бланш советским мужчинам, поощряя их к внебрачным сексуальным отношениям без всяких обязательств и ответственности за женщину и ребенка, для того чтобы повысить уровень рождаемости. Преодоление демографического кризиса было важной задачей гендерной политики государства на данном этапе. Уже с конца 1920-х годов стала складываться консервативная система мер по укреплению семьи. Как отмечает А. Вишневский, в середине 1930-х годов Л. Троцкий писал о «семейном Термидоре» в СССР, «о торжественной реабилитации семьи», о том, что «брачно-семейное законодательство Октябрьской революции, некогда предмет ее законной гордости, переделывается и калечится путем широких заимствований из законодательной сокровищницы буржуазных стран» (Вишневский 1998: 136). Сюда также относятся закон 1936 года о запрете абортов и установление в 1941 году специального налога на бездетность, который распространялся на всех бездетных и малодетных граждан за исключением одиноких женщин, учащихся, пенсионеров и инвалидов.

И только после XX съезда партии стала возможна публичная критика указа 1944 года. В 1956 году в «Литературной газете» печатается открытое письмо видных культурных и научных деятелей, подписанное С. Маршаком, Д. Шостаковичем, И. Эренбургом, проф. Сперанским и др. Это обращение представителей советской интеллигенции под заголовком «Это отвергнуто жизнью» было посвящено антигуманности и дискриминации женщин и детей, рожденных вне брака: «В результате возникли тысячи трагедий, ломающих жизнь женщин, которых именуют "матерями-одиночками", и детей их, на которых обыватели смотрят как на незаконнорожденных» (цит. по: Курганов 1967: 93). Несколько раньше начинается критика указа 1944 года с точки зрения юриспруденции, артикулировалось

мнение о том, что это постановление нарушает принцип равноправия мужчин и женщин. Освобождая отца от всяких обязанностей по отношению к детям, закон приписывает матери всю полноту родительских обязанностей (Пергамент 1951).

Итак, действия, предпринятые государством, были непосредственно направлены на закрепление сложившейся асимметрии в сфере родительства, когда роль отца в семье и воспитании детей была минимальной. Второй по значимости после государства фигурой в семейных отношениях была и оставалась мать, «функция которой многократно усложнилась» (Айвазова 1998: 71). Гендерную политику государства на этом этапе можно назвать дискриминационной в отношении как мужчин, так и женщин. Мужской вариант состоял в дальнейшем отчуждении мужчин от семейных обязанностей, роли отца, а в случае внебрачных связей — практически от всякой ответственности за женщину и ребенка. Гендерная дискриминация касалась всех категорий женщин. На незамужних женщин ложился весь груз вины и ответственности за внебрачные сексуальные отношения, поскольку запрет абортов не оставлял им практически никакого выбора кроме рождения ребенка. Женщинам, состоящим в законном браке, также вменялась практически абсолютная ответственность за все стороны семейной жизни: за рождение и воспитание детей, за чистоту и порядок в доме, за моральное и материальное благополучие всех членов семьи. Они были вынуждены терпеть измены мужей, оскорбления и побои, разыскивать отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов. Несмотря на большое количество жалоб со стороны обманутых жен, по обвинениям во внебрачных связях власти практически никогда не предпринимали никаких действий (Фицпатрик 2001а: 177), молчаливо поддерживая мужчин в их активном сексуальном поведении. Дети, рожденные вне брака, были формально поражены в правах и морально стигматизированы обществом.

Третий период (1968—середина 1980-х годов)

Либерализация гендерной политики Советского государства начинается с середины 1950-х годов. В этот период произошли изменения в первую очередь нормативно-правовой базы, регулирующей семейные отношения: в 1955 году вновь был легали-

зован аборт, в 1965 году значительно облегчена процедура развода, в 1967 году отрегулировано положение с алиментными обязательствами. И только в 1968 году с принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, нормы которых были воспроизведены затем в республиканских кодексах, были изменены права и обязанности родителей и детей. Новый закон предоставлял ограниченную возможность установления отцовства в судебном порядке, регламентировал права родителя на общение с ребенком при раздельном с ним проживании (Нечаева 1996: 18). Судебное установление отцовства стало возможно при ряде условий: при совместном проживании, совместном воспитании, либо содержании, ребенка или при наличии доказательств, подтверждающих отцовство конкретного мужчины. Также новыми нормативными актами предусматривалась возможность добровольного признания отцовства (без вступления в брак с матерью ребенка), чего раньше не было. Кроме того, в случае отказа со стороны мужчины признать свое отцовство была предусмотрена форма заполнения свидетельства о рождении, в которой больше не фиксировалось отсутствие отца, т. е. прочерк больше не ставился.

Значимым в новом кодексе было то, что права и обязанности родителей выделялись в отдельную главу (гл. 8 КоБС РСФСР). При этом специально подчеркивалось, что родители обладают равными правами и обязанностями по отношению к ребенку даже в том случае, когда брак между ними расторгнут. Как отмечают исследователи семейного права, подобного рода уточнение было сделано не случайно, ибо на практике «все чаще приходилось встречаться с нарушениями прав родителя, который после расторжения брака жил отдельно от своих детей» (Нечаева 2002: 80). Поскольку при решении споров между родителями о месте проживания ребенка после развода имела значение «фактическая (прецедентная) презумпция преимущественного права матери на оставление у нее малолетнего ребенка» (Тарусина 2001: 114), то родителем, пораженным в правах, как правило, являлся отец.

В период оттепели происходит реабилитация частной сферы жизни советских граждан, государство по-новому смотрит на гендерные проблемы общества, возникает потребность поиска новых путей для решения женского вопроса. Контракт «работающая мать» по-прежнему остается базовым для совет-

ского гендерного порядка, однако в этот период акцент смещается с «работницы» на «мать». Государство разрабатывает новую социальную политику, поддерживающую материнство и детство и направленную на исполнение женщиной ее материнской функции. Например, в этот период был увеличен декретный отпуск, возросли денежные пособия, выплачивающиеся после рождения ребенка, получила широкое распространение практика работы женщин на полставки. Однако либерализация, происходящая в обществе, практически не изменила идеологию родительства, которую формировало и поддерживало государство. Биологически детерминированная позиция государства в определении гендерных моделей вообще и родительства в частности не предполагала разрешения сложившейся гендерной асимметрии, когда все заботы, связанные с воспитанием, касаются исключительно женщин-матерей; имелось в виду только улучшение условий для того, чтобы женщина исполняла предписанную ей роль жены и матери. Роль отца по-прежнему не проблематизировалась, оставалась на периферии семейных отношений. О. Хасбулатова приводит следующее высказывание секретаря ВЦСПС Н. В. Поповой: «Хотя отец и несет по закону ответственность за воспитание детей, мать никто заменить не может, особенно в воспитании детей-дошкольников, поэтому нет нужды предъявлять к отцу излишние требования» (Хасбулатова 2005: 228). Биологически детерминированная позиция государства, как можно увидеть из этой цитаты, остается практически неизменной.

В общественных дебатах конца 1950—1960-х годов впервые поднимаются вопросы о гендерном неравенстве в быту, «двойной нагрузке» женщин в семейной сфере по сравнению с мужчинами. С середины 1960-х годов социологи и педагоги начинают привлекать внимание общественности к проблеме «скрытой безотцовщины». Один из ведущих советских исследователей семьи А. Харчев отмечал, что «скрытая безотцовщина выражается в том, что в ряде случаев отцы, живя в семье, не принимают или почти не принимают участия в воспитании своих детей» (Харчев 1979: 317). Иными словами, «скрытая безотцовщина» — это один из вариантов модели «советского» отцовства, которая предполагает фрагментарное и ситуативное, в большей степени материальное, участие мужчины в воспитании детей, в то время как государство берет на себя основ-

ную часть материальной и моральной ответственности за образование и воспитание юных граждан.

Примерами, прямо или косвенно подтверждающими существование гендерной асимметрии в сфере родительства, являются результаты социологических исследований этого периода, посвященных главным образом количественному анализу семейных отношений. Гендерная асимметрия, характерная для советского родительства, — это социальный факт, который проявляется в количестве и качестве внутрисемейного общения, в воспитании детей. Результаты исследований бюджетов свободного времени мужчин и женщин — жителей различных городов европейской части СССР — фиксируют существенное различие в их затратах времени на воспитание и уход за детьми[18]. Неравномерность повседневных занятий у отцов и матерей считается «одной из наиболее серьезных, притом едва ли не самой болезненной диспропорцией в быту» (Гордон, Клопов 1972: 239). Необходимо отметить, что со временем эта дифференциация затрат времени на воспитание детей только увеличивалась. Например, по данным исследования бюджета времени населения г. Рубцовска в 1980 году, время, потраченное мужчинами на воспитание детей, составило 47 % к затратам женщин (затраты женщин приняты за 100 %) (Тартаковская 1997: 96). Анализ результатов изучения семей рабочих, проведенного в 1987 году, показал существенную разницу — «семейные рабочие тратят на занятия с детьми в 2 раза меньше времени, чем их жены» (Черняк, Захаркин 1987: 62). Таким образом, можно говорить об устойчивой тенденции неравного распределения родительских обязанностей между мужчинами и женщинами, характерной для позднесоветского общества, когда временны́е затраты отцов, связанные с воспитанием и уходом за детьми, были значительно меньше, чем затраты матерей.

Еще одним показателем гендерной асимметрии в сфере родительства является выбор ребенком родителя для доверитель-

[18] Так, по данным исследования, посвященного использованию бюджета времени жителей г. Пскова в 1965 году, затраты замужних женщин на воспитание детей и уход за ними были соответственно в 1.5 и 3 раза больше, чем затраты женатых мужчин (Караханова 2001: 83).

ного общения. Исследование семей рабочих, проведенное в 1987 году, выявило следующие различия при выборе «родителя-доверителя» в зависимости от возраста ребенка. Так, в возрасте 3—7 лет делятся всеми своими переживаниями с отцом 6.7 % детей, а с матерью — 28 %; в 7—10 лет — соответственно 2.5 и 47.5 %; в 10—14 лет — 5 и 49 %; в 14—17 лет — 4.2 и 44.3 % (Там же). Эти данные позволяют говорить о том, что в большинстве случаев отношения детей с матерью более близкие, чем отношения с отцом, поскольку именно мать на протяжении детства и отрочества является для ребенка одним из «главных доверителей», т. е. тем, с кем он хочет обсуждать волнующие его проблемы, кто осуществляет по отношению к нему эмоциональную работу. С матерью дети чаще и интенсивнее общаются по поводу своих школьных дел, взаимоотношений с друзьями и сверстниками, обсуждают свою внешность, одежду, особенности характера, в то время как с отцами они чаще говорят о политических и спортивных событиях. Данные различия говорят о том, что мать в глазах детей обладает бóльшим авторитетом по сравнению с отцом. В качестве подтверждения этого тезиса можно сослаться на результаты ответов на вопрос, к кому из родителей ребенок обращается за советом при решении важных для него проблем. И. Дементьева, описывая исследование педагогической грамотности родителей, приводит следующие результаты: «72 % подростков выбирают при этом мать, 31 % — отца» (Дементьева 1990: 61).

На основе вторичного анализа данных социологических исследований можно выделить гендерно-маркированные практики родительства, т. е. виды специальных занятий с детьми, которые осуществляются преимущественно отцом или матерью. Для матерей характерно выполнение практически всех видов деятельности — от ухода за ребенком до игр, совместных прогулок, бесед и контроля за приготовлением уроков (Гордон, Клопов 1972: 234). И лишь незначительное число отцов участвуют в прогулках, играх с детьми, проверяют домашние задания, посещают школу (Бойко 1985: 120). Рассмотренные результаты исследований позволяют реконструировать модель советского родительства, а именно модель «тотального материнства» и «скрытой безотцовщины», когда мать является более компетентным и ответственным родителем по сравнению с отцом, поскольку она обладает в глазах ребенка более высо-

ким авторитетом, считается его «главным доверителем», а также практически в одиночку воспитывает и заботится о ребенке вне зависимости от наличия или отсутствия отца. Номинальная отмена безотцовщины в семейном законодательстве, как ни печально, не привела к принципиальным изменениям в практиках родительства.

Либерализация семейного законодательства в отношении отцовства, отмена дискриминации детей, рожденных вне брака, возвращение возможности установления отцовства, к сожалению, не повлекли за собой отказа от гендерного неравенства в сфере родительства. На данном этапе гендерной политики государства стала значимой проблема «скрытой безотцовщины», когда мужчина практически не принимал участия в воспитании детей, делая их «квазисиротами». В качестве одной из причин существования феномена «скрытой безотцовщины» исследователи называют более «важную загруженность на работе» мужчин по сравнению с женщинами-матерями. Зафиксированная гендерная диспропорция в структуре затрат времени на выполнение домашней работы, уходу и воспитанию детей приводит, по мнению ученых, к «пассивности быта отцов», которая «неизбежно порождает достаточно острую (хотя и не всегда осознаваемую) психологическую напряженность» у мужчин (Гордон, Клопов 1972: 243). Отмеченная исследователями напряженность — это способ переживания мужчинами их депривации в эмоциональной и семейной сфере. Специфика мужской депривации заключается в том, что она является опосредованной, с трудом поддающейся вербализации со стороны как мужчин, так и женщин. Дисбаланс между активностью женщин и пассивностью мужчин в сфере семейных отношений воспроизводится на разных уровнях: государственном, дискурсивном и уровне межличностного общения, тем самым создавая условия и способствуя отчуждению мужчин от своих семейных и родительских обязанностей. К негативным последствиям мужской депривации в семейной сфере можно отнести увеличение числа разводов и алкогольной зависимости мужчин. Показательно, что именно эти негативные социальные явления рассматривались советскими социологами как следствия сложившейся «пассивности быта отцов» (Там же: 243—244).

Советские ученые-обществоведы предлагали целый ряд мероприятий по интеграции отцов в семейный коллектив, акти-

визации его воспитательных действий. Так, по их мнению, было бы целесообразно использовать существующую на отдельных промышленных предприятиях практику оценки личности работника по критерию уровня воспитанности его детей. Ожидалось, что это будет способствовать созданию климата общественного одобрения в адрес «отца-воспитателя, наделенного чувством ответственности за детей», позволит поднять престиж родительства в целом и отцовства в частности (Дементьева 1990: 63).

Нужно отметить, что если на первых двух этапах государство проводило целенаправленную политику по отчуждению мужчин от семейных и родительских обязанностей, то в позднесоветский период произошла существенная либерализация норм семейного права, декларация гендерного равенства в сфере родительства. Однако политика Советского государства в отношении семьи, проводимая на протяжении нескольких десятилетий, не могла не иметь негативных последствий. Одним из них можно считать сложившуюся и институционально закрепленную гендерную асимметрию в сфере родительства, когда практически вся ответственность за воспитание детей, а также выполнение родительских обязанностей, с одной стороны, ложились на плечи женщин, а с другой стороны, монополизировались ими. В результате сформировалась модель особого типа родительства — «советское» отцовство, что предполагает главным образом выполнение мужчиной экономических обязательств перед женой и детьми: предоставление в их распоряжение его заработков, а также выплату алиментов и раздел имущества в случае развода. Появление этой модели стало возможным только в контексте образования семейных отношений, которые базировались на альянсе женщины и государства и из которых мужчина был исключен. Эта модель семейных отношений вообще и родительства в частности сформировалась как результат гендерной политики Советского государства, где декларация гендерного равенства в публичной сфере сочеталась с воспроизводством традиционного разделения ролей по признаку пола в приватной сфере.

Гегемоническая позиция государства в гендерных отношениях привела к формированию специфического типа советской мужественности, отчужденной от сферы семейных отношений. Мобилизуя отцов на службу Отечеству, государство минимизи-

ровало роль мужчины в семье, возложив обязанность воспитания детей исключительно на женщин. Четко регламентировав материальную составляющую отцовства, например установление размера и формы алиментов на несовершеннолетнего ребенка, а также судебной ответственности за уклонение или несвоевременную уплату алиментов и т. д., Советское государство не выработало политики гендерного равенства в сфере родительства. Поскольку в советской семейной политике государство акцентировало защиту исключительно материнства и детства, а также брало на себя основную часть материальной и моральной ответственности за образование и воспитание юных граждан, то модель «советского» отцовства представляла фрагментарное и ситуативное участие мужчины в воспитании детей. Нормативные суждения власти определяют родительство преимущественно как материнско-государственную функцию. Отцовство репрезентируется главным образом как экономический долг. Так, гендерная политика государства в сфере родительства приводит к возникновению традиции отчуждения отцовства, которая поддерживается государственной политикой. «Советский» отец был выведен за пределы ответственности за семью, стал маргинальной фигурой в приватной сфере. С одной стороны, отсутствие структурных возможностей для более активного участия отца в уходе за ребенком (например, проведение альтернативных родов с присутствием отца в медицинских учреждениях СССР; правовые возможности использования отпуска по уходу за ребенком и т. п.) делают «советское» отцовство близким традиционной модели родительства; с другой стороны, невозможность выполнения роли «единственного кормильца» семьи превращают «советскую» модель в особый тип родительства.

Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России[19]

(А. Роткирх, А. Темкина)

В данной статье анализируются изменения гендерного порядка и гендерных контрактов российского общества. Описан советский гендерный порядок как совокупность трех контрактов: официального (легитимного) контракта «работающая мать», повседневного (теневого) и нелегитимного. Формирование постсоветских гендерных контрактов «работающая мать», «профессиональная женщина», «домохозяйка-кормилец» и «спонсорский контракт» рассматриваются как реконфигурация контрактов, составлявших основу советского гендерного порядка. В статье используются интервью, проведенные в рамках различных исследований в середине 1990-х годов, основным объектом которых являлся городской образованный средний класс.

Гендерный контракт: определение понятия

Понятие «гендерный контракт» разрабатывали в 1990-е годы скандинавские феминистские исследователи для описания доминантных типов отношений между полами и их динамики. С точки зрения финского социолога Л. Ранталайхо контракт — это правила взаимодействия, права и обязанности,

[19] Ранняя версия этого текста опубликана на английском языке в журнале «Idäntutkimus» (1997. № 4. С. 6—24). На русском языке сокращенная версия опубликована в «Социологических исследованиях» (2002. № 11. С. 4—15). Более полная версия напечатана в книге «Гендер. Культура. Общество» (под ред. И. Новиковой. Рига: Проект «Женщины Балтии». 2003. С. 58—97).

определяющие разделение труда по признаку пола в сферах производства и воспроизводства, а также взаимно ответственные отношения между женщинами и мужчинами, в том числе принадлежащими к разным поколениям (Rantalaiho 1994: 14). Под воспроизводством исследователи понимают действия и оценки, поведение и чувства, обязанности и отношения, связанные с постоянным повседневным поддержанием жизни (Laslett, Brenner 1989: 382). Воспроизводство рассматривается как социально стратифицированное; оно создает и поддерживает иерархические отношения между социальными слоями, полами, поколениями.

Гендерный контракт включает институциональное обеспечение, практики и символические репрезентации гендерных отношений, ролей и идентичностей в конкретных культурно-исторических контекстах, а также социальную регуляцию и репрезентацию сексуальности. В современном обществе гендерные контракты зависят от разделения труда в публичной и приватной сферах. В соответствии с гендерным контрактом определяется, в частности, кто и за счет каких ресурсов осуществляет организацию домашнего хозяйства и уход за детьми в семье и за ее пределами. Эту организацию могут осуществлять: неработающая мать, поддерживаемая мужем; наемные работники, оплачиваемые обоими супругами; родственники; государство через систему бесплатных детских учреждений и т. д. Английская исследовательница Р. Кромптон описывает гендерное разделение труда в континууме традиционных/менее традиционных гендерных отношений. Под разделением труда понимается соотношение оплачиваемой работы и заботы (caring work), т. е. деятельности в сфере воспроизводства. Автор представляет пять моделей гендерного разделения труда:

1. Мужчина-добытчик, женщина-домохозяйка.

2. Двухкарьерная семья: женщина работает неполный день + неполный день осуществляет заботу и обслуживание домохозяйства.

3. Государство берет на себя функцию заботы.

4. Забота и обслуживание в домохозяйстве осуществляются через рыночные механизмы.

5. И мужчина и женщина принимают равное участие в обслуживании и заботе.

Первая модель представляет нормативные условия женской субординации, характерные для традиционной гендерной культуры. Вторая модель описывает ситуацию, при которой женщина совмещает частичную занятость в публичной сфере с традиционной ответственностью в приватной сфере. Когда женщина включается в полную занятость на рынке труда (третья и четвертая модели), происходят существенные изменения в гендерном порядке: обслуживание и забота осуществляются либо государством, либо через рыночные механизмы. Наименее традиционной является модель, при которой женщина и мужчина принимают равное участие в оплачиваемой и домашней работе (Crompton 1999). Сходные модели описаны также немецкой исследовательницей Б. Пфау-Эффингер (2000).

Изменения гендерных отношений 1960-х годов в США и Западной Европе трактуются исследователями как трансформация доминирующих контрактов. Например, в Швеции наблюдается переход от контракта «домашняя хозяйка (и мужчина-кормилец)» 1950-х годов к контракту «равенство полов (два кормильца)» при усилении роли государства в конце 1960-х годов (Hirdman 1991); в Финляндии имеет место переход от контракта «социальное материнство женщин» («women's social maternity»), в соответствии с которым от женщины ожидалось выполнение в первую очередь традиционных ролей в приватной сфере и за ее пределами, к контракту «материнство, совмещенное с оплачиваемой работой» («wage working maternity») (Rantalaiho 1994: 13; см. также: Leira 2002). В США и Великобритании в 1970-е годы получила распространение модель «двухкарьерная семья/рыночные механизмы воспроизводства», которая также способствовала уменьшению гендерного неравенства (Crompton 1999).

Изменения гендерных контрактов были обусловлены трансформациями, произошедшими в обществе позднего модерна. Становление государства благосостояния и общества массового потребления, развитие женского движения и дебаты в политических партиях на Западе проблематизировали вопросы сексуальности, пола, возраста и традиционный гендерный порядок в целом, а затем повлияли на его радикальное изменение (Lennerhed 1994). В 1950-е годы увеличилось число женщин, занятых в сфере оплачиваемого труда, усилилась социальная политика; в 1960-е годы гендерные роли стали предметом об-

щественных дебатов. В 1970-х годах были изменены налоговые системы и законодательство, касающееся ответственности за детей, создавались детские учреждения и дома для престарелых, модернизировалось домохозяйство, развивалась система питания за пределами дома и т. д. Новая интерпретация гендерных ролей в рамках контракта «равенство» в Скандинавии была закреплена политикой *государственного феминизма*, т. е. политикой равенства в отношении женщин, которая осуществлялась государством, постоянно кооптирующим женщин и женские вопросы в политику (Gelb 1989).

В конкретных исторических контекстах сосуществуют разные гендерные контракты, совокупность которых образует *гендерную систему*. Под гендерной системой понимается многоуровневый феномен, включающий институты и социальные взаимодействия, которые предписывают мужчинам и женщинам образцы поведения. Согласно определению К. Рензетти и Д. Курран, гендерная система представляет собой институционализированные предписания, определяющие модели поведения и социального взаимодействия в соответствии с полом. Она включает три взаимосвязанных компонента: социальную конструкцию гендерных категорий на основе биологического пола; половое разделение труда, в соответствии с которым мужчинам и женщинам предписываются разные роли; социальную регуляцию сексуальности, позитивно оценивающую одни формы сексуального поведения и негативно — другие (Renzetti, Curran 1992: 2, 16). Шведская исследовательница И. Хирдман определяет гендерную систему как совокупность *гендерных контрактов*, регулирующих отношения между мужчинами и женщинами на уровне представлений, а также формальных и неформальных правил и норм (Hirdman 1991: 190—191).

Гендерные контракты в России: аналитическая модель

Итак, гендерный контракт — это контекстуально обусловленные, иерархически структурированные образцы взаимодействия полов. Используя данный концепт, мы собираемся очертить контуры модели, которая поможет прояснить общую направленность изменений, произошедших в отношениях между полами в России. Гендерный порядок мы рассматриваем как

совокупность гендерных контрактов, предписывающих различные гендерные роли и статусы разным сферам общественной жизни в советское время и разным социальным слоям в постсоветский период. Для построения аналитической модели необходимо обратиться к особенностям исторического контекста, в рамках которых складывалась многоуровневая конфигурация гендерных отношений с разными правилами, практиками и идеологиями в публичной и приватной сферах.

Советский гендерный порядок характеризовался монопольной ролью партии-государства в его формировании, устойчивостью и гомогенностью гендерной идеологии и гендерных ролей, постоянно воспроизводимым разрывом между официальной идеологией и практиками повседневности. Государство выступало основным агентом формирования гендерных отношений на протяжении всего советского периода, что позволяет назвать гендерный порядок *этакратическим* (Здравомыслова, Темкина 2003). Идеология, институты и практики советского гендерного порядка и основной гендерный контракт, который мы назвали контрактом «работающая мать»[20], сложились в 1930-е годы (см., например: Айвазова 1998; Здравомыслова, Темкина 2003; Lapidus 1977, 1978; Liljeström 1993, 1995). Постреволюционные попытки решения женского вопроса путем вовлечения женщин в общественное производство, переопределения роли домашнего хозяйства, трансформации институтов брака и материнства привели к разрушению традиционной патриархатной семьи. Советские женщины были *эмансипированы для подчинения государству* (Liljeström 1995), мобилизованы государством как работницы и матери (Lapidus 1977, 1978), привлечены к оплачиваемой работе в общественном производстве (см. также: Ashwin 2000; Clements 1991). Кроме того, на них по-прежнему были возложены функции воспита-

[20] С момента написания нами первой версии статьи термины «гендерный контракт» и «контракт "работающая мать"» получили широкое распространение в отечественной литературе (см., например: Айвазова 1998, 2001; Здравомыслова О. 2001; Здравомыслова, Темкина 1996; Мещеркина 2002; Мхитарян 1999; Тартаковская 1997). «Работающую жену и мать» многие авторы называют основной ролью, моделью, типом советского периода (см., например: Здравомыслова, Арутюнян 1998).

ния детей и обеспечения бытовой сферы в обществе слаборазвитого сектора обслуживания. Советская женщина работала полный рабочий день, осуществляла воспитание детей, частично разделяя его с государственными институтами и родственниками (иногда и с наемными работниками), и организацию быта. Иногда такая модель называется «тройной нагрузкой» (ср.: модели гендерного разделения труда, описанные Р. Кромптон под номерами 2 и 3).

С одной стороны, в рамках советского гендерного порядка декларировалось равенство, при котором каждый человек независимо от пола становится советским гражданином. С другой стороны, гендерная идеология воспроизводила биологический детерминизм, который наделял женственность «специфическими» естественными, физическими и психологическими свойствами (Liljeström 1995), а женщин — статусом особых граждан. Гендерный порядок такого типа А. Роткирх назвала *конвенциональным*, подчеркивая сохранение одних традиций (ценность материнства, разделение обязанностей внутри семьи) и разрушение других (экономическая зависимость женщины от мужа) (Rotkirch 2000: 130—133). Итак, государство поддерживало особую роль женщины, задавая рамки доминирующего гендерного контракта[21].

Основные свойства гендерного порядка и доминирование контракта «работающая мать» сохранялись на протяжении всего советского времени. В отличие от западных стран в Советском государстве политика и официальная идеология имели гораздо более устойчивый характер. Государство деклари-

[21] При описании контрактов мы обращаемся преимущественно к статусу женщин и лишь в незначительной степени — к статусу мужчин и интерпретациям мужественности. Причина этого заключается в том, что гендерный контракт описывает правила, которые регулируют роли женщин, касающиеся в первую очередь воспроизводства, исключая (или включая) их из публичной сферы и возлагая на них ответственность в приватной сфере. Советская гендерная политика была направлена именно на женщин как на особую категорию граждан; гораздо реже в качестве особой категории рассматривались мужчины. Официальный гендерный контракт оформлял в основном отношения между государством и работающей женщиной-матерью; мужчины были вытеснены на периферию семейной политики (Kukhterin 2000).

ровало равенство полов и осуществляло социальную поддержку работающей женщины-матери, предпринимая с 1930-х годов меры по укреплению семьи и идеологическому усилению «традиционной» женственности (Attwood 1985; Liljeström 1995). Однако, несмотря на неизменность основных принципов гендерной политики, гендерная идеология на разных этапах социалистического общества менялась. В 1960—1970-е годы ограниченная либерализация общества и приватизация частной жизни постепенно приводили к ослаблению официальной гендерной идеологии и появлению альтернативных дискурсов (Здравомыслова, Темкина 2003).

Еще одной особенностью советского гендерного порядка является постоянное воспроизводство разрыва между официальной идеологией и практиками повседневности (ср.: Левада 1993). На протяжении всего советского времени существовали гендерные роли и практики, не совпадающие с официальными предписаниями, однако начиная с 1970-х годов разрыв повседневности и идеологии приобрел систематический и повсеместный характер. Различия между официально декларируемыми половыми ролями и повседневными практиками существуют во всех обществах (Moore 1994: 25), в любом обществе также присутствуют морально осуждаемые и юридически наказуемые типы отношений между полами. Однако в социалистическом обществе официальная идеология и повседневность предполагали не только разные, но и противоположные правила, а также запрет на их обсуждение. В описании советского гендерного порядка для нас представляются значимыми различия официальных и повседневных (неформальных, теневых) правил гендерных взаимодействий.

Советский гендерный порядок может быть проанализирован как совокупность трех взаимосвязанных гендерных контрактов, а именно: *официального* (*легитимного*), *повседневного* (*теневого*) и *нелегитимного* (*криминального*). Официальный контракт поддерживался государственной политикой, идеологией и социальными институтами, обеспечивающими совмещение ролей работающей матери. Контракт в повседневной сфере жизни находился за пределами государственного регулирования и выполнял функцию приспособления к структурным напряжениям приватной сферы; на женщину возлагалась ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми людь-

ми, бытовое обслуживание семьи, компенсирующее недостатки социального сервиса и дефицита. Правила повседневного контракта складывались как непреднамеренные последствия официального контракта — например, распространение практик одинокого и внебрачного материнства. Некоторые практики не регулировались официальной политикой — например, добрачная сексуальность совершеннолетних. Одновременно в обществе существовал нелегитимный контракт, правила которого имеют альтернативный характер и к которому применяются санкции вплоть до уголовного наказания[22].

Изменения постсоветского общества с конца 1980-х годов повлекли за собой и трансформацию гендерных отношений. В постсоветском гендерном порядке государство утрачивает роль монопольного агента, формирующего гендерный контракт, частично разрушается система социальной и идеологической поддержки материнства. Рыночные механизмы и либеральная общественная сфера способствуют дифференциации гендерных норм и практик в разных социальных слоях, формированию новых, в том числе противоречащих друг другу, гендерных идеологий и интерпретаций женственности и мужественности. Реконфигурация официальных, повседневных и нелегитимных правил советского времени приводит к формированию новых гендерных контрактов с разными правилами, практиками и идеологиями.

---

[22] Выделяя данные контракты, мы первоначально исходили из некоторых положений, сформулированных в дебате о втором (теневом) обществе, дополняющем официальное общество и/или противостоящем ему, и опирались на схему, предложенную венгерским исследователем Э. Ханкишем (Hankiss 1988, 1990; см. также: Шанин 1999). Второе общество в сфере экономики, политики и культуры возникло в период ограниченной советской либерализации и включало совокупность стратегий поведения в рамках жестко ограниченных структурных возможностей (Lapidus 1978: 127–130). В настоящих рассуждениях мы учитываем также дебаты о публичной и приватной сферах в позднесоциалистическом обществе и выделение особой, опосредующей социальные взаимодействия, квазипубличной сферы, а также анализ разнообразных стратегий приспособления–выживания–сопротивления в повседневности сталинского периода (Фицпатрик 2001а, 2001б).

Оценки трансформаций гендерных отношений, которые дают современные исследователи, различны. Некоторые феминистские авторы использовали термин «патриархатный ренессанс», обозначая, что в современной России мужчины занимают доминирующие позиции в общественной жизни, а женщины «выталкиваются» в сферу приватного (см.: Attwood 1996). На 2-м Независимом женском форуме в Дубне (1992) А. Посадская определила происходящую демократизацию как «мужской проект», в котором женщине отводится роль объекта социальных реформ (Посадская 1993). В статье 1993 года английская исследовательница П. Уотсон суммировала такие взгляды следующим образом: «Создание гражданского общества и рыночной экономики в Восточной Европе влечет за собой построение "мира мужчин" и доминирование мужественности в общественной жизни. Принуждение женщин вернуться к домашней жизни, коммерциализация женственности, принижение женской идентичности — неизбежные составляющие данного процесса» (Watson 1993: 472). Во многих публикациях появились клише: «вытеснение женщин из производства», «женское лицо безработицы», «возвращение женщин в семью» (см.: Здравомыслова, Арутюнян 1998: 136).

Во второй половине 1990-х годов высказывания авторов относительно направленности трансформаций гендерного порядка стали более осторожными (см., например: Buckley 1997; Holmgren 1995; Pilkington 1996; Rotkirch 2000); в своих работах они делают акцент на противоречивость эгалитарных и патриархатных тенденций (см., например: Здравомыслова, Арутюнян 1998; Либоракина 1996; Малышева 2001; Kiblitskaya 2000, и др.). Традиционные представления о женской роли в семье и обществе оцениваются не столько как *патриархатный синдром*, сколько как стратегии «совладания с ситуацией» (Здравомыслова О. 2001: 480). Гендерная идентичность рассматривается как один из новых вариантов идентичностей, создаваемых и востребуемых либеральным обществом (Watson 1997). В период трансформаций происходит реконфигурация существующих официальных, повседневных и альтернативных правил, сложившихся в рамках этакратического гендерного порядка. Наблюдается процесс дифференциации гендерных контрактов по социальным стратам, этническим, возрастным, поколенческим и другим группам. Формируются новые кон-

тракты: «работающая мать», «женщина, ориентированная на карьеру», «домохозяйка (и мужчина-кормилец)» и «спонсорский контракт». Несмотря на структурные изменения и возникновение новых практик, правила и нормы, восходящие к советским гендерным контрактам, сохраняют свою устойчивость (что подтверждается, в частности, статистикой занятости: Женщины и мужчины... 1999, 2004).

Итак, мы представляем гендерный порядок как совокупность гендерных контрактов. Для анализа этих контрактов мы используем рассказы о повседневной жизни. Наши информанты — городские образованные женщины и мужчины среднего возраста, принадлежащие к среднему или высшему среднему классу[23]. Мы не можем учесть здесь экономические, образовательные, возрастные и этнические различия, которые необходимы для более полного описания российской гендерной системы. Однако мы предполагаем, что основной контракт позднесоветского времени в силу гомогенности государственной политики распространялся на все население России[24], а в постсоветское время именно контракты благополучного среднего класса претендуют на практическое и/или символическое доминирование. Несмотря на возрастающую социальную и идеологическую стратификацию, именно образованные женщины (и мужчины)[25] среднего и высшего среднего класса, представителями которых являются наши информанты, выступают в качестве основных агентов, создающих новую доминирующую гендерную идеологию в обществе.

---

[23] Цитаты в данной статье взяты из интервью, которые были получены во время наших исследований, посвященных политическому участию женщин, новым профессиям, сексуальности, а также из трех интервью, которые были взяты в ходе написания данной статьи.

[24] Как показали исследования А. Темкиной, в Таджикистане гомогенизирующий эффект гендерной политики был ограничен, в позднесоветское время там доминировал контракт «многодетная мать в патриархальной семье с частично оплачиваемой занятостью» (Темкина 2005; см. также: Касымова 2004).

[25] В постсоветский период мужчины в некоторых случаях становятся значимыми агентами контракта, в первую очередь в отношениях контракта «домохозяйка и кормилец», а также в «спонсорском контракте».

Модели советских гендерных контрактов

Гендерный порядок в Советской России может быть представлен как совокупность трех различных контрактов, дополняющих друг друга; официальный контракт «работающая мать» сосуществовал совместно с повседневным и нелегитимным контрактами[26]. Рассмотрим модели этих контрактов, обращая внимание на те компоненты, которые оказались впоследствии релевантны трансформации гендерной системы в постсоветской России.

Официальный гендерный контракт «работающая мать»

Под официальным контрактом мы подразумеваем правила, которые задаются государственной политикой, идеологией, законодательством, социальными институтами и наделяются официальным статусом. Данный контракт включает мобилизованный государством труд женщин и материнство как гражданские обязанности. Его историческая конструкция и воспроизводство проанализированы во многих работах (Айвазова 1998, 2001; Здравомыслова, Темкина, 2003; Lapidus 1977, 1978; Liljeström 1995, и др.). В них показано, что официальный контракт имел внутренние противоречия и напряжения, однако гендерная и семейная политика, формирующая данный контракт, в целом распространялась на подавляющее большинство советских граждан(ок).

В соответствии с правилами и нормами советского общества от женщин ожидалось сочетание производственной деятельности с материнством и заботой о семье. Одна из наших информанток говорит: «Женщина должна приносить зарплату больше, чем муж, все в доме делать вплоть до ремонта, детей родить, воспитать между своей активной общественной деятельностью и потом еще — мужу рубашки, брюки гладить» (около 50 лет, высшее гуманитарное образование, менеджер в

[26] И. Тартаковская рассмотрела данную схему контрактов применительно к мужчинам. Официальный контракт «мужчина-воин» сосуществовал с теневым (например, уклонением от армии) и нелегитимным («шикарные мужчины с деньгами неясного происхождения») контрактами (Тартаковская 1997: 59—61).

финансовой сфере, двое детей). Материнство воспринимается как *гражданская обязанность*: «Воспитание детей — это очень большая работа для общества... это звучит громко, но в какой-то степени я это воспринимала как свой гражданский долг» (около 60 лет, преподаватель, мать четверых детей).

Модель семьи была конституирована государством, которое регулировало жизненные условия, миграцию и профессиональную мобильность, а также несло ответственность за социальное обеспечение и поддержку материнства. Контракт «работающая мать» был основан на государственной помощи в воспитании детей: предоставлении декретных и послеродовых отпусков, отпусков по уходу за ребенком, льгот работающим матерям, бесплатном здравоохранении и системе детских учреждений (яслей и детских садов). «Ребенок был самостоятельный, я его приучила; помощи — бабушек никаких нет, родственников тоже; ясли, детский сад, школа, музыкальная — все расписано по минутам» (главный врач, около 50 лет, один ребенок). «У нас очень хороший детский сад, я постепенно возраст понижала: первую дочку отдала где-то в четыре с половиной года, следующую — в четыре, сына — в три с половиной» (около 60 лет, преподаватель, мать четверых детей).

Официальный контракт не был монолитным, даже несмотря на то что абсолютное большинство женщин было ориентировано на материнство и занятия профессиональной деятельностью согласно закону и экономической необходимости. При этом женщины, состоящие в браке и имеющие детей, в отличие от мужчин имели легальное право не работать. В некоторых социальных слоях профессиональная занятость женщин была скорее исключением, чем правилом, — в частности, в номенклатурных семьях и в семьях военнослужащих (о стратификационных гендерных различиях см.: Чуйкина 2002). Женщина-домохозяйка в России воспринималась как особая социальная категория[27]. Таким образом, в рамках официального контракта допускалось традиционное женское поведение, поддерживаемое идеологией женского предназначения. Вмес-

[27] Об истории номенклатурной семьи см., например: Семенова 1996: 9—12. Очерки о подобных семейных моделях можно найти во многих наших интервью.

те с тем советской нормой считалась женская занятость в общественной сфере.

Информантка 35-ти лет говорит: «Когда мне было 25 лет, то вот у нашего приятеля жена не работала, совершенно здоровая, и сидела дома с детьми, и мы все про нее думали, что она сумасшедшая: как это — не работает? ...Наша женщина не рождена домохозяйкой, это очень тяжело... работать гораздо легче» (домохозяйка, инженер по образованию). В рамках контракта «работающая мать» натурализация женских ролей сводилась к материнскому предназначению; сексуальность и телесность оставались за пределами официальной политики и репрезентации, за исключением запретов и обвинений (см. нелегитимный контракт)[28]. Женщины рассказывают о репродуктивных практиках: беременностях, абортах, родах. Бездетная женщина считает: «Я не выполнила, я считаю, главного предназначения женщины — не родила ребенка» (57 лет, высшее гуманитарное образование) (см.: Темкина 1999, 2001).

И. Кон (Кон 2005; Kon 1995) назвал политику такого рода *бесполым сексизмом*; мужчины и женщины трактовались как *одинаковые*, несмотря на явное различие формальных и неформальных правил, обеспечивающих реализацию женских и мужских ролей. Традиционные роли и гендерная индивидуализация могли восприниматься как форма самовыражения и пассивного сопротивления партийной массовой культуре (Azhgikhina, Goscilo 1996: 98—100), поэтому в официальных репрезентациях они ограничивались, что будет проиллюстрировано далее при обсуждении теневого контракта.

Гендерный контракт в повседневной жизни (теневой контракт)

Повседневный гендерный контракт включает те правила, практики и нормы, которые не подлежат прямому государственному регулированию, а складываются как реакция на ригидность официальных институтов. Под повседневностью —

[28] Примечательными исключениями являлись дискуссии, предшествующие законам 1936 года о запрете проведения абортов (Liljeström 1995). Анализ позднесоветских дискурсов (медицинских, педагогических, публицистических и т. д.) о половых отношениях, ограничивающих их брачными рамками см.: Темкина 2003.

сферой реализации данного контракта — мы понимаем действия, оценки, поведение, отношения, которые постоянно поддерживаются рутинным образом и характеризуются практическим, редко артикулируемым знанием. Нас интересуют в первую очередь социальное воспроизводство и потребление, а также гендерно маркированные взаимодействия, которые опосредуют функционирование семьи (приватной/личной/частной жизни).

Этот контракт мы также назвали *теневым*[29]. Он представляет собой промежуточный вариант между тем, что «написано на лозунгах», и тем, за что «сажают в тюрьму» (Тартаковская 1997: 55), дополняющий как официальный, так и альтернативный контракты. Данная метафора позволяет подчеркнуть неизбежное наличие *тени* у работающей матери, и имеет коннотацию с частично скрытыми, незапрещенными и неразрешенными гендерными идентичностями и нормами поведения. Они были скрыты от репрезентаций или появлялись в недоминирующих дискурсах позднесоветского времени (в кинематографе, художественной литературе).

Стабилизации данного контракта способствовали тенденции, наметившиеся в приватизации и автономизации семьи, а также возрастание роли социальных сетей в позднесоветский период. Одним из следствий государственной политики, направленной на усиление помощи семье и улучшение условий жизни, в том числе жилищных, стала ее автономизация на уровне повседневности (Здравомыслова, Темкина 2003; Liljeström 1995). В Советском Союзе к семейной сфере частично относилось то, что на Западе относилось к сфере общественной (Roos, Rotkirch 1997; Shlapentokh 1989). Семья и дружеские сети воспринимались как сфера безопасности и сопротивления, сохранения ценностей и норм, не всегда соответствующих официальным, как форма *негативного компромисса* с государством, в рамках которого *приватизируется враждебное пространство* (Олейник 2001: 236; Haukanes 2001).

---

[29] Идея теневых сред используется также в связи с концепцией П. Бурдье о профессиональных полях (Roos, Rotkirch 1997). Holmgren (1995) и Liljeström (1995) обращаются к этому феномену, когда они говорят о взаимосвязи неофициальных ценностей и женственности.

В повседневной сфере социального воспроизводства от женщин ожидалось выполнение традиционных ролей заботы, обслуживания, реального и символического материнства, а также осуществление действий, компенсирующих неразвитость государственного сервиса в сфере социальных сетей (доставания и блата; см.: Ledeneva 1998). Выполнение данных ролей требовало мобилизации гендерных ресурсов, в первую очередь компенсирующих недостатки государственного обслуживания. Стратегии выживания и сопротивления усиливали традиционные гендерные роли и разделение труда между полами и поколениями; мужественность и женственность становились культурным ресурсом (Rotkirch 2000; Watson 1993: 472, 482; см. также: Фицпатрик 2001а, 2001б). В условиях ограниченного социального обслуживания «внутрисемейная специализация» помогала организовать быт: «Муж помогал много; допустим, ремонт делал, мужскую работу: сломалась розетка — он четко все сделает, лампа там какая-то... он много уделял этому внимания» (главный врач, около 50 лет, один ребенок).

Гендерный контракт, целью которого было обеспечение семьи и быта в рамках компромисса с государством, включал мобилизацию ресурсов социальных сетей, в том числе «расширенное материнство», и мобилизацию индивидуальных ресурсов в публичной и приватной сферах. В качестве агентов контракта выступали социальные сети, друзья, родственники (в первую очередь бабушки — см.: Семенова 1996; Rotkirch 2000). Использовалась и помощь наемных работников. «Поначалу даже была возможность незадорого няню иметь, и я их (детей) никогда не отдавала в ясли; пожилые женщины охотно подрабатывали к пенсии добавку; жила я рядом с работой, по магазинам бегала сама» (около 60 лет, преподаватель, мать четверых детей).

Организация домохозяйства и сетевые ресурсы усиливали традиционные гендерные идентичности. Правила повседневности предполагали и то, что женщина «приватизирует» профессиональную занятость, используя ее как ресурс решения домашних проблем. Многие женщины, работая, фактически имели фиктивные обязанности, которые позволяли им в рабочее время делать покупки и заниматься домашними делами. Нередко женщины вообще не появлялись на рабочем месте, ос-

таваясь с больными детьми дома (Тартаковская 1997). Индивидуальные усилия (в первую очередь женщин) по организации домохозяйства выступали еще одним ресурсом выживания. Приведем описание того, как функционировало домашнее хозяйство в условиях постоянного дефицита.

«Продукты покупали в обед — бегали по Л-му проспекту, там хорошие магазины, и в выходные. В шесть часов утра по субботам нужно было занять очередь на улице в мясной магазин, куда вставал отец, чтобы быть в начале к открытию магазина в семь. Иначе достанется плохое мясо. Правда, мы ходили туда, где был знакомый мясник, и он оставлял нам хорошие части. В то же время нужно было занять очередь за молоком. Туда мы вставали в семь, чтобы оказаться в магазине в восемь, пока не кончились кефир и творог. К вечеру там оставались только плавленые сырки и кильки в томате. В конце месяца что-то выкидывали в универмаге, и нужно было занять очередь и там, этим занималась моя мама. За сапогами в Пассаже стояли несколько дней, записывались... На работе к праздникам давали заказы: сгущенка, индийский чай, зеленый горошек, конфеты, греча... Коробки (с продуктами) складывали под диваном. Там же лежали заготовки с дачи. Поскольку у нас была машина, кое-что привозили из Прибалтики: трикотаж, колготы. За творогом ездили в Зеленогорск...» (65 лет, инженер, в настоящее время на пенсии).

Для организации домохозяйства в советских условиях требовались творческий, организаторский и коммуникационный опыт и компетентность. Даже покупка недефицитных товаров нуждалась в специальной организации: нужно было выбирать на рынке лучшие и наиболее дешевые продукты. Пока жена ходила по рынку, муж мог стоять, читая газету, в очереди за другими дефицитными продуктами: югославскими сапогами, польской косметикой или финским мылом. После этого жена шла к знакомой парикмахерше в удобное время, за что нужно было дополнительно платить. Умение организовать повседневную жизнь (достать продукты, обеспечить семью питанием, одеждой, устроить ребенка в детский сад и в хорошую школу, мать — к хорошему врачу, организовать прием гостей и т. д.) являлось важным подтверждением социальной компетентности женщины-хозяйки. Положение женщины делало ее ответственной, сильной и способной к управлению другими людь-

ми, находящимися в зависимости от женской заботы. Такие качества требовались от женщин всех социальных слоев. Наша информантка говорила, что она поддержит любого рода реформы так называемой демократии, чтобы не нужно было стоять в очередях. В то же время для этих женщин навыки ведения домохозяйства и использование отношений блата—знакомств оказались важнейшим гендерным ресурсом в условиях экономических трансформаций.

Еще одним результатом, который достигался через систему *блата—доставания,* было обеспечение соответствующей внешности женщины. Идея *выглядеть женственной* появляется в официальном дискурсе в 1930-х годах и широко распространяется в 1970-е годы; в советском кинематографе и литературных произведениях становится популярной *романтизированная женственность.* Романтический дискурс выступает одним из базовых культурных дискурсов, а влюбленная, страдающая и жертвующая собой женщина — в качестве героини позднесоветского времени. Нарративы о сексуальной жизни становятся рассказами о любви и дружбе, которые поддерживаются официальными идеями о любви как основе брака, но одновременно приходят в противоречие с «репрессированной сексуальностью».

Репрезентация женственности с оттенком сексуальности превращалась в своего рода индивидуальное сопротивление. «Интенсивное занятие внешностью (читай: буржуазная женственность), приобретение дефицитной косметики и стильной одежды означало личную победу над навязанными государством нормами о потребительских предпочтениях» (Holmgren 1995: 22). В интерпретации женственности подчеркивалась умеренность; женщине постоянно давали понять, что надо применять косметику, но следует избегать излишеств (Vainshtein 1996); образцом женского поведения была *скромность* (Зеликова 2002; Liljeström 1993: 169). Сексуальность и телесность в основном оставались за пределами репрезентации, однако именно в этот период происходит за*малчиваемая* сексуальная революция, что позволяет назвать сексуальность этого времени *лицемерной* (Zdravomyslova 2001).

Нелегитимные гендерные контракты

Под нелегитимным (альтернативным) контрактом мы подразумеваем гендерные нормы и практики, которые подверга-

лись репрессиям, были скрытыми и/или криминальными. Сексуальность и в особенности *сексуальные отклонения* составляли центральный компонент нелегитимного контракта. Его альтернативность проявлялась в запрещенных и/или закрытых сообществах заключенных, проституток, гомосексуалистов. Несмотря на все различия, которые существовали между этими сообществами, гендерные взаимоотношения в них трактовались и осуществлялись согласно определенным дискурсам и нормам, противоположным официальным или независимым от них. Противоположным полюсом официального гендерного контракта являлись репрессированные и криминализированные «социальные проблемы». Само существование этих явлений отрицалось, они криминализировались и/или медикализировались, их обсуждение проходило только в профессиональных дискурсах или в виде критики проблем (пережитков, тлетворного влияния) западной капиталистической системы.

Гендерные контракты запрещенных или закрытых сообществ включают то, что М. Брильд (Bruld 1995) назвала *чудовищной* стороной советской действительности: это явления, воспринимаемые как неестественные, нечистые, иррациональные, хаотические и угрожающие телесной сексуальностью. Они охватывали обширные сферы: жизнь в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и в армии, а также проституцию, порнографию, изнасилования, гомосексуализм. В повседневной жизни нелегитимный контракт касался всякой неконтролируемой сексуальной жизни, не связанной с воспроизводством. Добрачные и внебрачные сексуальные связи, сексуальные отношения на отдыхе и в командировках, получившие широкое распространение в позднесоветское время, «балансировали» между теневыми и нелегитимными правилами гендерного поведения (Темкина 2002, 2003; Rotkirch 2000). О позднесоветских образцах сексуального поведения рассказывает женщина с высшим гуманитарным образованием (39 лет): «Я могла склеить на улице — не знаю, что от меня такое исходило, — тут же партнера и тут же улечься с ним в постель... У меня каждый день был новый или два раза в день новый». Такие рассказы достаточно распространены в автобиографиях представителей этого поколения (Темкина 2002).

Наиболее яркими формами нелегитимных контрактов являлись гомосексуализм и проституция. В 1936 году мужской

гомосексуализм был запрещен, и согласно статье 121 Уголовного кодекса Российской Федерации за него наказывали лишением свободы сроком до пяти лет (см.: Кон 1998, 2005; Kon 1995). Лесбиянство и бисексуализм уголовному преследованию не подлежали, поскольку считались в СССР несуществующими; они находились за пределами публично выражаемых символических форм советской эпохи, за исключением частушек и анекдотов. Только с наступлением периода перестройки стало возможным публично рассказывать о подобном опыте. При этом женственность лесбиянок в тюрьмах и психиатрических больницах (Zhuk 1994: 148–151; см. также: Kon 1995: 220–221) сильно отличалась от женственности *счастливой советской матери.*

О существовании проституции, напротив, было хорошо известно, несмотря на то что до середины 1980-х годов она официально не признавалась. С 1930-х годов о ней не имелось официальных данных (Гилинский 1991: 108); утверждалось, что в Советском Союзе проституция ликвидирована как социальный феномен, хотя, как утверждали в 1960-е годы юристы, «отдельные особы вступают в половую связь за плату» (цит. по: Голосенко, Голод 1998: 90; см.: Лебина 1999). После наступления гласности образ проститутки становится распространенным и популярным. Кинофильм «Интердевочка» в начале перестройки показал историю валютной проститутки 1980-х годов, обаятельной, богатой, реализовавшей позднесоветскую мечту отъезда на Запад (см.: Leontieva 2001). Для российских зрителей стиль жизни интердевочки стал захватывающим и презираемым одновременно (Kon 1995: 223). Сексуализированная женственность и потребительское поведение проститутки демонстрировали образцы гендерных норм, противоположных официальным. Схематично эти контракты могут быть представлены следующим образом.

Гендерные контракты постсоветского периода

С конца 1980-х годов происходит реконфигурация официальных, повседневных и нелегитимных правил советского времени. Несмотря на структурные изменения и возникновение новых практик, более устойчивыми оказываются правила организации жизни, восходящие к советским гендерным контрактам. На символическую доминацию претендуют роли, которые

Таблица 1. Советские гендерные контракты

Контракт	Статус гендерных отношений и практик	Сферы действия контракта	Гендерные роли
Официальный («работающая мать»)	Признанный, официально артикулируемый; регулируется правилами, устанавливаемыми государством	Официальное законодательство, политика, идеология, социальные институты	Мужская и женская роли – равное участие в общественном производстве, общественная активность; женская роль – осуществление материнства как гражданская обязанность
Повседневный	Регулируется неформальными правилами, частично выражен в недоминирующих культурных дискурсах	Повседневные взаимодействия в приватной и публичной сферах, в социальных сетях; социальное воспроизводство в семье	Использование традиционных гендерных ресурсов мужчинами и женщинами; женская роль – материнство, забота, обслуживание
Нелегитимный	Морально и юридически наказуемый, регулируется санкциями и/или правилами закрытых сообществ	Криминальная сфера, закрытые сообщества	Сексуальные роли, не связанные с воспроизводством

ранее были скрыты в повседневных и нелегитимных контрактах. Ценности и стиль жизни западного типа воспринимаются в большей степени, если они соответствуют идеалам позднесоветского времени. В частности, *женщина цивилизованного (западного) мира* предстает в качестве (буржуазной) домохозяйки, которую обеспечивает муж. Этот образ коррелирует с советскими ценностями семьи-дома, потребительскими образцами, стабильностью и с постальгией по *настоящим мужчинам*

(Здравомыслова, Темкина 2002а). Напротив, контракт «гендерное равенство» и образ женщины-феминистки получают в основном негативные коннотации с последствиями эмансипации советского времени (Lindquist 1994).

Базовый советский контракт «работающая мать» стал основанием для формирования по крайней мере трех современных контрактов: «работающая мать», «карьерноориентированная (профессиональная) женщина» и «(мать-)домохозяйка»[30]. Правила повседневного (теневого) контракта, охватывающие неформальные социальные сети и потребление, артикулируются во всех новых контрактах. Сексуальность, ранее ограниченная закрытыми сообществами, становится важнейшим компонентом формирующихся контрактов.

Обязательное участие в общественном производстве сменилось экономической необходимостью обеспечения семьи, что потребовало от женщины активизации роли работницы как в случае *одинокого материнства*, так и в случае *семьи, состоящей из двух добытчиков*. Контракт включает материнство, но акцент делается на работе (заработке). Ослабление системы государственной поддержки привело к мобилизации социальных сетей и родственников, обслуживающих домохозяйство и осуществляющих уход за детьми, в то время когда женщина ищет разнообразные источники заработков. Контракт «работающая мать» остается контрактом, «заключенным» внутри расширенной семьи и социальных сетей. Мужчина в таких контрактах часто маргинализируется (как это показала, например, С. Ярошенко в исследовании, посвященном бедным семьям — Ярошенко 2002).

Другим вариантом трансформации роли работника является контракт «женщина-профессионал». В этом случае обязанность женщины обслуживать семью не препятствует карьере. Организация домохозяйства и воспитание детей становятся предметом переговоров с родственниками и наемными работ-

[30] Эта тенденция подтверждена в исследовании российской семьи, проведенном О. Здравомысловой и М. Арутюнян: «Оба эти персонажа — профессионально ориентированная женщина и домашняя хозяйка — рождаются из компромиссной фигуры "работающей жены и матери", которая с большим трудом справляется с меняющейся на глазах жизнью» (Здравомыслова, Арутюнян 1998: 95).

никами (преимущественно с женщинами), а также включает использование платных институтов здравоохранения и образования. При этом организация домохозяйства остается женской обязанностью.

Третий вариант реконфигурации контракта «работающая мать» — превращение его в контракт «домохозяйка». В этом случае неработающую женщину обеспечивает муж, выполняющий роль добытчика. Обслуживание, материнство и забота формируют ядро женской идентичности. Кроме того, в это ядро включается *сексуальная привлекательность*, которая ранее в значительной степени находилась в сфере теневых и нелегитимных контрактов.

Бывшие нелегитимные контракты становятся легитимными, хотя и морально неодобряемыми. Проституция, порнография и гомосексуализм получают репрезентацию в публичном дискурсе[31]. Рыночные механизмы превратили сексуальность и потребление в предмет торга и обмена, что находит выражение в «спонсорском контракте». Два предыдущих контракта предполагают, что мужчина становится доминирующим агентом и обладает властными и материальными ресурсами поддержки материнства/женской сексуальной привлекательности. В первых двух контрактах основными агентами являются женщины-матери, родственники, социальные сети и наемные работники, и только иногда — мужчины.

Анализ данных тенденций позволяет проследить основные изменения советского контракта «работающая мать», а также возникновение новых прототипов контрактов, характерных для семей среднего и высшего класса (см. Таблицу 2). При этом доминирующим остается контракт «работающая мать», который предполагает, что женщина имеет автономный заработок. Далее мы рассмотрим этот вариант более подробно на примере истории Наташи. В некоторых случаях этот контракт трансформируется в контракт «женщина-профессионал», в других случаях (в группах, депривированных по возрасту, наличию большого числа детей, состоянию здоровья, месту проживания и т. д.) сохраняются пассивные стратегии приспособления к

[31] Изменения в нелегитимном контракте требуют дальнейшего изучения и здесь описываются лишь в самых общих чертах.

рыночным условиям, включающие безработицу и — при наличии работающего мужа — вынужденный переход к роли домохозяйки.

Второй и третий случаи (Татьяна и Виктория) представляют варианты трансформации контракта «работающая мать» в контракты «женщина-профессионал» и «домохозяйка» соответственно. В случае Татьяны в числе прочего значимыми являются ориентация на карьеру в публичной сфере и использование ресурсов мужа-бизнесмена; в случае Виктории контракт находится под влиянием ценностей потребительской культуры и женской привлекательности. Виктория при этом с трудом отказывается от образа работающей женщины и рассказывает о своей жизни как о драматической, хотя и оправданной, ломке стереотипов.

Во всех трех случаях женщины среднего возраста, принадлежащие к поколению 30—40-летних, рассказывают об организации своей семейной жизни позднесоветского времени, типичной для контракта «работающая мать», и затем — об изменениях, затрагивающих сферу работы и организации семейной жизни.

Наконец, мы описываем еще один случай (Дарья) — «спонсорский контракт», в котором артикулируются идеалы теневого и альтернативного контрактов. Женщина находится на содержании мужчины («спонсируется»), исполняет единственную роль — сексуальную, имеет сексуальный образ и ориентируется на ценности потребления. Этот образ во многом является противоположным советскому идеалу: для женской идентичности не значимы ни работа, ни материнство.

Таблица 2. Гендерные контракты в 1990-е годы.

Контракт	Гендерные роли
«Работающая мать»	Обязанность обеспечивать семью
«Женщина-профессионал»	Ответственность за обслуживание не препятствует карьере
«Женщина-домохозяйка и муж-кормилец»	Женская роль – обслуживание, материнство, забота; мужская роль – добытчик
Спонсорский	Женская роль – сексуальность, привлекательность; мужская роль – материальное обеспечение

Отметим, что данные контракты демонстрируют преемственность и разрывы гендерного порядка, однако не исчерпывают все варианты изменений[32].

Случай 1. Контракт «работающая мать»[33]

Наташа — разведенная женщина 40 лет, с двумя детьми подросткового возраста, по специальности инженер, в середине 1990-х годов продолжает работать инженером на государственном предприятии и бухгалтером в двух небольших частных фирмах. Соотношение зарплат от трех работ составляет приблизительно 20, 40 и 40 %. Свою профессиональную деятельность она описывает следующим образом: «Я все время работаю, и у меня нет времени ни о чем другом думать. У меня действительно нет времени для чего-нибудь кроме работы. Я хожу в банк четыре раза в неделю, два раза в налоговую инспекцию и делаю уйму бухгалтерской работы. У меня совершенно нет времени на детей и на моего любовника. Конечно, мне не хватает денег, мать считает, что пора делать ремонт, дети просят денег на поездки — скоро каникулы, но мне это не потянуть. Гораздо больше мне хочется что-нибудь сделать самой, мне очень нужен отдых».

Десять лет тому назад Наташа была занята в основном своими детьми. Ее работа не требовала особых усилий, и даже без алиментов от бывшего мужа она могла поддерживать свой образ жизни благодаря бесплатному государственному обслуживанию. Про работу советского времени она рассказывает: «На работе вязали, читали, стояли в очередях за дефицитом в местных командировках и в обед. С детьми были родители, и часто я на больничном — как только они чихнут, да и реально они

---

[32] Еще одним прототипом контракта выступает, например, религиозная или религиозно-патриотическая семья, жизнь которой описана в статье Линдквист (Lindquist 1994). Этот тип формируется на пересечении контрактов «работающая мать» и «домохозяйка». Другие, противоположные, варианты — «двухкарьерная семья» эгалитарного типа или осознанное предпочтение карьеры материнству — близки к контракту «женщина-профессионал».

[33] Этот и все последующие случаи описываются на основе четырех рассказов о жизни, полученных в наших исследованиях. Иногда мы иллюстрируем рассуждения фрагментами из аналогичных рассказов других информантов.

болели много. Потом сын ходил в детский сад, но тоже болел. Дома было много дел, а больничный платили 100 %».

Наташа рассказывает, что много работать и искать дополнительные заработки она стала из-за острых экономических проблем начала 1990-х годов, связанных с сокращением оплаты труда, получаемой на государственном предприятии. В течение двух лет ее положение было настолько тяжелым, что не хватало денег даже на покупку достаточного количества продуктов: «Были заготовки с дачи, шила и вязала для подруг и за деньги». В настоящее время с бедностью покончено. Наташа оплачивает дополнительные школьные уроки и другие внешкольные занятия детей (некоторые остаются бесплатными), частных (всегда знакомых) докторов, экскурсии и поездки. Она довольна своей жизнью, ее самооценка стала намного выше, чем раньше. У нее не хватает денег, чтобы послать своих детей за границу, но сама она путешествовала по Европе. В ее квартире имеется новый телевизор, видео, музыкальный центр, микроволновая печь и новая стиральная машина. Наташа покупает детям билеты в театры и музеи, а также оплачивает их занятия в плавательном бассейне и на языковых курсах.

Бюджет времени изменился: у нее самой нет досугового времени, хотя раньше она регулярно посещала театры и музеи. Сейчас она больше интересуется своей работой: ходит на семинары по повышению квалификации, принимает участие в выработке стратегии предприятия. У нее практически не остается времени для общения с детьми, которые частично находятся под присмотром ее родителей, а частично предоставлены сами себе. Ее бывший муж, инженер по профессии, выплачивает алименты, но сумма не составляет значительной части бюджета семьи. Наташины родители — пенсионеры — много занимаются Наташиными бытовыми делами (хотя она живет отдельно от них), на которые у нее не остается времени, а иногда помогают ей решать некоторые деловые проблемы.

Итак, в данном контракте женщина ответственна за материальное обеспечение семьи (иногда совместно с мужем или другими родственниками). Ответственность за ведение домохозяйства разделяется между женщиной, родственниками и социальными сетями. Государственная поддержка оказывается незначимой, если доходы хотя бы незначительно превышают минимальные. Этот новый гендерный контракт можно назвать также контрактом «добытчица». Советский контракт навязы-

вался и поддерживался государством, в настоящее время семья может рассчитывать в основном на себя. Материнство теряет и символический статус. Контракт «работающая мать» продолжает характеризоваться экономической независимостью женщины. Когда главным добытчиком становится муж, то женщина продолжает исполнять роль *работающей матери*. В зависимости от уровня доходов и других условий в дальнейшем она может стать или *женщиной-профессионалом*, или *домашней хозяйкой*.

Случай 2. Контракт «женщина-профессионал»

Татьяна, около 40 лет, занимается бизнесом, замужем за бизнесменом, их дочери 15 лет. Училась на вечернем отделении технического института, по окончании осталась там работать инженером, там же встретилась с будущим мужем, своим ровесником. После рождения дочери в течение трех лет находилась в отпуске по уходу за ребенком, затем устроилась на работу, которая позволяла ей больше времени проводить с дочерью и не отдавать ее в детский сад: «Я взяла на себя еще какие-то дополнительные нагрузки, вроде там раздавать заказы продуктовые, еще какая-то чушь, но все это ради того, чтобы я могла сделать это дело и уйти домой. Все было подчинено ребенку».

До перестройки у семьи были материальные проблемы, особенно в период отпуска Татьяны по уходу за ребенком. Муж, всегда много работавший, зарабатывал 140 рублей. С 1987 года он начал заниматься бизнесом. Сознательное подчинение своей жизни уходу за ребенком превратилось для Татьяны в пытку: «Я буквально лезла на стены от одиночества, потому что для меня эти годы, которые я провела с ребенком, были просто пыткой. Потому что бабушка с дедушкой — это был праздник, иногда выходной». В 1988 году Татьяна сама занялась бизнесом, сначала на фабрике одежды, совместно с мужем, а потом самостоятельно. Она получила второе высшее образование, в настоящее время владеет небольшой финансовой фирмой.

Организация домашнего хозяйства требует от Татьяны специальных усилий; она часто, пока ребенок не вырос, прибегала к помощи соседей, няни, матери, образовательных учреждений: «Ребенок был тогда во втором-третьем классе, но это было ужасно, буквально до того, что соседи забирали ребенка из школы,

кому-то платила. Приходила домой, конечно, поздно; ребенок болтался по продленкам; конечно, ничего хорошего».

Практически все время Татьяны заполнено работой, в ее планы на будущее входит расширение бизнеса и обеспечение ребенку обучения на Западе. Татьяна часто бывает в деловых поездках за границей, иногда ее сопровождает дочь. У нее есть «свой» массажист, парикмахер; квартиру, оснащенную согласно «евростандарту», убирает нанятая женщина. Татьяна сама ведет домашнее хозяйство, что не занимает много времени, поскольку в ее распоряжении есть машина с шофером и она имеет возможность покупать все продукты в дорогом супермаркете, а одежду — за границей. Она говорит, что не желает вмешательства мужа в вопросы ведения домашнего хозяйства, и он сам не имеет такой возможности: «У меня совершенно уникальный муж, который по восемнадцать часов в сутки занят тем, чем он занят, то есть своей работой... Я стараюсь ему не создавать проблем...»

Этот случай демонстрирует преемственность и разрывы с предшествующим советским контрактом. Татьянины интересы сместились с семьи на управленческую работу в фирме (для создания которой первоначально был задействован семейный ресурс — т. е. бизнес, организованный мужем), но это не оказало влияния ни на разделение семейных ролей между супругами, ни на мнение супруги о надлежащих ролях. Татьяна ведет домашнее хозяйство и заботится о дочери, в интервью не упоминалась отцовская роль мужа[34]. Татьяна считает такое положение дел естественным, поскольку муж очень много работает, хотя это касается в равной мере и самой Татьяны.

В данном случае контракт «женщина-профессионал» имеет сходство с контрактом «работающая мать». Тип отношений между мужем и женой характеризуется профессиональным равноправием и сохранившимся традиционным разделением

[34] На основе исследования «Влияние реформ на качество супружеских отношений», проведенного в 1996 году, М. Малышева делает вывод о том, что отцовство, если его рассматривать с точки зрения временны́х затрат на воспитание ребенка, сохраняет символический характер. Как правило, мужчины занимают комплиментарные позиции в воспитании детей, оставляя женщинам основное бремя ухода за детьми (Малышева 2001: 262—268, 275).

семейных ролей, несмотря на сократившееся время на домашнюю работу и его реорганизацию с привлечением наемных работников. Гендерные стратегии и ресурсы советской повседневности — социальные сети, навыки устройства домохозяйства — задействуются при изменении положения женщины в профессиональной сфере, не оказывая давления на переопределение гендерных ролей. Используются и рыночные механизмы, которые, даже в случае обеспеченных семей, занимают периферийное место в домохозяйстве и не влияют на перераспределение ролей.

Ни один из этих контрактов в 1990-е годы не являлся идеологически доминирующим в современной России, хотя успешные женщины репрезентированы в СМИ, есть известные фигуры среди журналистов, политиков. В дальнейшем имидж молодой профессиональной женщины стал более выраженным. Следующие случаи, олицетворяющие традиционную интерпретацию женственности, претендуют на гегемонию в медиадискурсе.

Случай 3. Контракт «домохозяйка-кормилец»

Виктории около 35 лет, замужем за бизнесменом, мать четырехлетнего сына, домохозяйка. Имеет диплом математика, работала инженером в научно-исследовательском институте. Когда родился ребенок, она осталась с ним дома. В том же году в месте ее работы произошли кадровые сокращения. Примерно в то же время муж занялся бизнесом в секторе сбыта, который быстро стал прибыльным, и Виктория ушла с работы совсем. Сначала она трудилась в фирме мужа, ее мать помогала ухаживать за ребенком. Потом, через полгода, она оставила работу, мать вернулась домой, в другой город. В настоящее время Виктория занята ведением домашнего хозяйства и уходом за ребенком: «Я нормально отношусь к хозяйству: я готовить люблю, пироги печь, вязать... Поскольку я не работаю, мне даже стыдно — у меня как бы таких проблем нет... Муж у меня дома практически не бывает, он дома ничего не помогает; мне как бы и грех помогать — я не работаю».

Виктория сравнивает свое нынешнее положение с тем временем, когда они вместе с мужем работали инженерами и делали всю домашнюю работу вместе. Когда она осталась дома с ребенком, то стала выполнять всю домашнюю работу одна.

Виктория рассказывает об изменениях в своей жизни и о своем отношении к ним: «Мы с мужем вместе раньше работали — у нас были общие деньги, мы вместе решали, куда что потратить... Теперь я не знаю, сколько он у меня зарабатывает, я в этом вопросе не хозяйка... Это было жутко пережить. Он сам распоряжается своим временем, говорит: мне надо, у меня дела. Все это брошено на меня, т. е. я не могу собой располагать вообще, я обязана быть с ребенком, т. е. собой не владею. И при этом я сразу резко попала в такую ситуацию — я мужу должна, как нормальная женщина, создавать условия, чтобы он работал, продвигался... Мне пришлось столько в себе переломать, очень тяжелый процесс... Я стала мужу завидовать: он везде бывает, заключает договора, ведет какую-то деятельность, а у меня ничего этого нет. ...А потом я перековалась».

Этот случай демонстрирует разрыв нового контракта с предшествующим, переход от эгалитарных семейных ролей к их поляризации. Женщина радикально изменила свою роль, идентичность и статус; из *работающей матери* она превратилась в *домохозяйку*, в зону компетенции которой входят исключительно домашняя работа и уход за ребенком. Как нам рассказывает Виктория, это изменение было психологически тяжелым, требовало рефлексивной переоценки ценностей, однако она оценивает его как неизбежное. Изменился и семейный стиль жизни, который ориентирован на престижное потребление, включающее «евростандарт», наличие дорогой машины, заграничные путешествия и модную дорогую одежду.

Случай 4. Спонсорский контракт (женщина на содержании)

Дарья — 30-летняя женщина, разведена девять лет тому назад и живет вместе с матерью и 11-летним сыном в дорогом пригороде Москвы. Многосторонне одаренная, она училась в престижном музыкальном учебном заведении, но бросила учебу, решив попробовать другие возможности. Сначала Дарья училась в одном из новых элитных университетов на гуманитарном факультете. Как одна из лучших студенток (из небольшого числа девушек на ее курсе) она хотела по окончании получить должность преподавателя. Однако ей предложили лишь административную работу, от которой она отказалась. Затем работала секретарем в нескольких торговых фирмах, в насто-

ящее время иногда пишет статьи о музыке для новых городских журналов.

Два года тому назад Дарья встретилась с Андреем — директором одной из фирм, где она работала; с тех пор между ними существуют любовные отношения. Андрей женат, у него двое маленьких детей. Он оплачивает жилье и расходы Дарьи, иногда берет ее с собой в заграничные поездки: «Он возил меня на Багамы, Бермуды, в Таиланд и Саудовскую Аравию. Я помогаю ему, например, выбирать кожаную одежду, у него совсем нет вкуса».

Дарье нравится одеваться дорого и экстравагантно, материальные расходы любовника оцениваются как совершенно естественные. Она рассказывает про свою подругу: «Я бы не могла ничего не делать, как Марина, которая сидит и ждет, пока Вася (преуспевающий бизнесмен) на ней женится. Но вы бы видели, какую он ей подарил машину на прошлой неделе, бог мой! Но я бы никогда не вышла замуж без любви».

В таком гендерном контракте женская сексуальность становится предметом обмена и потребления. Отношения существенным образом зависят от благ, которые могут быть получены. Данный «договор» наиболее отчетливо демонстрирует гендерную асимметрию, когда сексуальная привлекательность является средством получения престижного потребления (Темкина 2002). Это пример либерального подхода, т. е. с позиции мужчины такого рода связи, основанные на спонсировании, оправдываются как *нормальные, естественные*; утверждается, что так *бывает в других цивилизованных странах*. Однако история Дарьи показывает, что сначала она пыталась найти работу, однако после неудачи предпочла освоить роль женщины на содержании.

Символическая значимость данного контракта проявляется в быстром распространении термина «спонсор», под которым подразумевают (кроме обычного значения меценатства) мужчину, обеспечивающего женщину, не будучи женатым на ней (см.: Pilkington 1996). Гендерная установка «он знает, как заработать деньги, она — как их потратить» оказывает большое давление на отношения между полами.

В этом случае ценности привлекательной внешности, сексуальности и высокого уровня жизни приближаются к ранее *нелегитимному* образу проститутки. Мужчина 60 лет (пенсионер,

занимается бизнесом) рассказывает: «У меня есть подруга, но она дорогая. Был такой договор с ней, что я спонсирую ее учебу или же ее жизнь, окажу ей материальную поддержку. Когда деньги кончатся — связь прервется. Содержание женщины — это тоже вид проституции... Должно быть, нормально, что женщина принимает мужчину как мужчину, как своего друга, любовника, партнера, мужа, а не как человека — покупателя товара».

Женственность, не связанная с материнством, не соответствовала советским образцам; она стала альтернативной советскому гендерному порядку, стилю жизни родителей и контракту «работающая мать». Позиция *спонсируемой* женщины неприемлема для представительниц средних и старших поколений, но именно этот образ в разных вариантах претендует в настоящее время на гегемонию.

Итак, советский гендерный порядок рассматривается нами как совокупность и взаимодействие официального (легитимного), повседневного (теневого) и нелегитимного (альтернативного) контрактов. Официальный контракт «работающая мать» формировался социалистическим государством и определял обязанности российской женщины как гражданки, работницы и матери. Он выступал той рамкой, к которой женщины и мужчины приспосабливали свои практики повседневности. Нелегитимные правила, караемые законом и осуждаемые моралью, воспроизводились в закрытых сообществах, однако некоторые из этих правил распространялись и за их пределы, например в процессе либерализации сексуального поведения в 1970-е годы (Кон 2005; Rotkirch 2000).

Реконфигурация данных контрактов стала основой формирования постсоветского гендерного порядка. Современные изменения гендерных отношений не являются следствием целенаправленной гендерной политики государства и политических дебатов; напротив, они — результат стихийной адаптации к изменяющимся экономическим условиях и выработки стратегий разными группами. В доминирующем контракте сохраняются основные гендерные роли, однако меняется их соотношение в сторону *работающей матери.* На основе ранее существовавших, но неартикулированных, или частично артикулированных, правил и образцов поведения появились новые прототипы контрактов: «карьерно-ориентированная женщина», «мать-домохозяйка» и «женщина на содержании». Те-

невые образцы потребления и либеральной сексуальности сформировали идеологию домохозяйки, а также ее более современную версию — идеологию спонсируемой женщины.

Описанные нами гендерные контракты не являются жестко фиксированными или исключающими друг друга; напротив, они меняются на разных этапах жизненного цикла, особенно в период быстрых социальных изменений. Можно предположить, что контракт «работающая мать» стабилизируется в семьях с низким доходом; в таких семьях происходит маргинализация мужчин, не способных обеспечивать семью (см.: Здравомыслова О. 2001: 484—485; Ярошенко 2002; Ashwin 2000). В высших классах чаще встречается контракт «жена-домохозяйка и муж-кормилец», хотя в некоторых рабочих средах он тоже распространен; в этом случае контракт переопределяется как «работающая мать» или «домохозяйка». Успешная в профессии женщина с позиции *работающей матери* может перейти на позицию *карьерно ориентированной женщины*, для которой на первом плане оказываются интересы профессиональной самореализации.

Гендерный порядок в современной России имеет высокую степень преемственности по отношению к советскому гендерному порядку. Однако подвижность контрактов, разрывы между репрезентациями и практиками, наличие разных гендерных идеологий создают неустойчивость гендерных ролей, идентичностей и правил взаимодействия. Анализ преобразований гендерных контрактов подтверждает ранее высказанный нами и многими другими авторами тезис о том, что конкуренция старого и нового гендерных порядков создают ситуацию неопределенности и многовариантности.

Неотрадиционализм(ы) — трансформация гендерного гражданства в современной России

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

В статье рассматривается трансформация гендерного гражданства в современном российском обществе. Категория гендерного гражданства используется нами для анализа гендерного порядка, понимаемого как социальная организация половых различий. Гендерный порядок можно также рассматривать как статусный гражданский порядок, который характеризуется неравным распределением благ и престижа по признаку приписанного пола. Категория гражданства включает: 1) систему экономических, политических и социальных прав и обязанностей, определяющих взаимоотношения государства и граждан, и 2) устойчивые социальные практики индивидов, принадлежащих к сообществу, объединенному моральными ценностями (Marshall 1992; Turner 1990). Социологическое понимание гражданства отсылает нас к статусному измерению неравенства, закрепленному в правовом и символическом порядке и имеющему имущественные последствия.

Как показали феминистские исследователи, в национальном государстве категория гражданства является гендерно маркированной (Юваль-Дейвис 2001; Lister 1997; Pateman 1992; Walby 1994). Социальное положение женщин и мужчин как граждан разного пола определяется доминирующими и конкурирующими гендерными идеологиями, семейной и социальной политикой, императивами политического и социального участия. Параметрами гражданства в современном обществе являются гендерные идеологии, определяющие проекты женственности и мужественности. В данном тексте рассматривается советское и постсоветское гендерное гражданство на уровне иде-

ологии и политики, определяющем предписанные права и обязанности мужчин и женщин, а также на уровне социальных практик граждан, различаемых по признаку пола.

Позднесоветское гендерное гражданство

В Советском государстве система гражданства включала обязанности и права, которыми по закону наделялся каждый советский гражданин. Советское гражданство носило принудительный характер; права, по сути, имели характер обязанностей, пренебрежение которыми жестко каралось властью. Социальные практики гражданства предполагали мобилизацию советских людей на осуществление целей социалистического строительства и подтверждение политической лояльности («выполнение общественного долга»). С одной стороны, цели строительства социалистического общества были общими для всех граждан, формально имевшими равные права и обязанности. С другой стороны, гражданский статус (формально и неформально) различался в зависимости от социального происхождения и положения, возраста, пола и национальности (этничности). Государство осуществляло различение граждан по признаку пола и создавало гендерные различия между гражданами. При этом государственное конструирование гендерного гражданства создавало рамки для особых женских стратегий, возможных именно в советском контексте.

В позднесоветский период гендерно маркированное определение гражданства включает массовое вовлечение женщин в общественное производство при одновременном усилении роли «добровольного» материнства, поддерживаемого социальной политикой. Выполнение женщиной двойных обязанностей (в публичной и приватной сферах) становится более проблематичным, что находит выражение и в дискурсах, и в повседневной жизни. Гражданские обязанности женщины постепенно «приватизируются», их выполнение (или невыполнение) поддерживается и контролируется в повседневности не только государством, но также профессионализированными социальными институтами и ближайшим окружением. В этот период происходит ограниченная либерализация гендерной политики, частичное восстановление частной жизни (приватной сферы) и формирование специфической неформальной

публичной сферы, т. е. дискурса, умеренно оппонирующего официальному.

Публичное обсуждение советских практик мужественности и женственности на самом деле оказывается дебатами о соотношении общественного и частного, о преодолении неантагонистических противоречий социализма, о решении демографических проблем[35]. В этот период образованная городская семья, в которой женщина, как правило, совмещает работу и материнство, отказывается от рождения «достаточного числа» советских граждан — работников и защитников Отечества, и исполнение гражданских обязанностей материнства становится проблематичным.

В официальных дискурсах доминирует интерпретация семьи как основной ячейки общества, для которой характерно разделение ролей по признаку пола; на женщину возлагаются основные обязанности по воспитанию детей и обслуживанию семьи. Одновременно в критическом либеральном дискурсе (в социальных науках, публицистике) проблематизируются совмещение ролей матери и работницы, положение одиноких матерей. Мужская роль также становится объектом критики и это приводит монопольного кормильца и защитника к «кризису маскулинности» (Здравомыслова, Темкина 2002а). Наши исследования показывают, что позднесоветская либеральная критика гендерного гражданства была патриархатной и в большей степени выражала эссенциалистские представления о мужественности и женственности, чем официальный советский дискурс. Эта критика представляла собой камуфлированный протест против советской версии равноправия полов и защиту традиции, разрушенной насильственным путем. Традиция при этом представала как практика подчеркнутых половых различий, «стираемых» социализмом в целях мобилизации «человеческих ресурсов».

---

[35] Приватное/публичное измерение гендерного гражданства является проблемой, активно обсуждаемой в западном феминистском дискурсе. Суть проблемы в том, что публичная декларация равенства находится в противоречии с устойчивым гендерным неравенством в приватной сфере, с социальными правами, предоставляемыми отдельным категориям граждан, которые получают социальную поддержку (в данном случае в эту категорию входят женщины-матери) (Юваль-Дейвис 2001; Siim 2000).

Постсоветское гендерное гражданство: идеологии неотрадиционализма

Для современного российского общества характерны не только классовые стратификационные процессы, но и социальные различия, обусловленные внеэкономическими параметрами — этничностью, полом, возрастом, гражданским статусом. Трансформацию гендерного гражданства мы рассматриваем в контексте изменений социальной структуры общества, становления российского национального государства, разрушения старой политической системы и создания формальных институтов демократии, а также в контексте трансформации экономического строя, разрушения советских идеологий и уменьшения роли социальной политики. Изменения гендерного порядка являются следствиями данных процессов. Постсоветские трансформации разрушили структурные основы советской эмансипации (поддерживаемой *идеологией и социальной политикой*), одновременно сохранив практики совмещения женских ролей, укорененные в повседневности и востребованные рыночными условиями. В этом контексте гендерное гражданство претерпевает изменения как на политическом и идеологическом уровнях, так и на уровне повседневных практик.

Меняется законодательство; в системе семейного права происходит гендерно сбалансированное переопределение родительских обязанностей; институты социальной политики испытывают последствия бюджетного дефицита и рыночных реформ, сказывающиеся на уменьшении их вклада в обеспечение жизни российских граждан. Растет вес семьи как экономической единицы общества, повышается значимость домашнего хозяйства в создании экономического статуса семьи. Происходит изменение стратификационной картины общества, которое постепенно становится классовым. Образуются разные имущественные группы, образ жизни и семейные уклады которых существенно различаются. С этими процессами связана дифференциация моделей домохозяйства и гендерных контрактов.

Разрушаются идеологические основания официального гендерного контракта и официальной политики в отношении женщины. Советские идеологемы, связанные с интерпретацией женского предназначения как работающей матери, перестают

быть действенными. Формируется новый символический порядок, в котором присутствуют различные, зачастую конфликтующие между собой, идеологии, включающие различные репрезентации мужественности и женственности. В обсуждение проблем гендерного гражданства включаются новые общественные силы: политические акторы, общественные и религиозные организации, глобальные информационные агенты, профессиональные сообщества, СМИ и т. д.

Новые идеологии эксплицитно или имплицитно апеллируют к некоторому представлению о традиции, нуждающейся в возрождении, и о «естественном» предназначении женщин и мужчин. «В поисках прошлого» происходит усиление традиционализма в интерпретации ролей мужчины и женщины. Формируются идеи о восстановлении исконных традиций мужественности и женственности, которые были табуированы, разрушены или искажены советской действительностью. Неотрадиционализм в гендерном отношении предстает как поиск традиций истинной женственности и истинной мужественности, которые могут быть легитимно приняты в качестве новых социальных ролей.

Однако существуют разные трактовки традиции и природы женственности, варьирующие в зависимости от системы референций (того, что́ именно считается традицией в общественном дискурсе). В феминистском дискурсе традиционными считаются представления о женщине как домашней хозяйке, жизненный мир которой сконцентрирован вокруг обязанностей заботливой супруги, матери, хранительницы домашнего очага. Таков идеально-типический норматив буржуазного семейного устройства со свойственным ему патриархатным разделением половых ролей мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки. В 1990-е годы в дискурсе получает распространение миф о западной женщине — домохозяйке, реализующей женское желаемое, т. е. традиционное, предназначение. Этот миф противоречит массовым практикам совмещения ролей, появившимся во второй половине XX века. Существует также взгляд на западную женщину как на феминистку, разрушительницу общества, семьи и традиции (Никонов 2005а).

Массовый опыт российских женщин определяется их значительным вкладом в семейный бюджет, сочетанием разных видов занятости в сфере производства и воспроизводства. Тра-

диция «женщина-домохозяйка» для российского общества представляется исключением, показателем социального престижа, в то время как укорененные практики связаны с традицией «работающая мать», имеющей массовый характер по крайней мере на протяжении четырех поколений.

Различные оценки гендерного традиционализма отражены и в академическом дискурсе. Многие исследовательницы российского общества вплоть до конца 1990-х годов видели в российской трансформации симптомы патриархатного ренессанса, или неотрадиционализма (А. Посадская, О. Воронина, Н. Римашевская и др.). Практика, политика и экономика гендерных различий и гендерного неравенства затрагивают не только экономическую сферу, но и сферу, связанную с различными статусными характеристиками. Симптомы усиления гендерного неравенства — вытеснение женщины из публичной и политической сферы, возвращение ее в приватную сферу домохозяйства, феминизация бедности и безработицы. Патриархатные тенденции проявляются в дискриминации женщин в публичной сфере, в частности при найме на работу, когда женщина оценивается как «социальный инвалид», неспособный эффективно выполнять функции работника, а также в сексуальных домогательствах и незащищенности женщины от насилия. Аргумент о патриархатном ренессансе постоянно поддерживается дискуссиями о сексуальном и домашнем насилии.

Но исследователи показывают и контртенденции, которые связаны с успешными стратегиями женщин в рыночных условиях, с ростом общественной активности женщин, с яркими политическими фигурами, с продвижением женщин в некоторых отраслях бизнеса. Иными словами, происходит усиление дискурсивного неотрадиционализма, но при этом появляется новое пространство для женщин, в котором возникают новые стратегии, ведущие к успеху. Однако в условиях структурного неравенства и нехватки ресурсов происходит мобилизация других средств, в частности специфических женских ресурсов сексуальной привлекательности. Демонстративная сексуализация различий становится чертой нашей современной гендерной репрезентации (в случае женственности и в случае мужественности).

Итак, наблюдается разнообразие образцов мужественности и женственности, включающее симптомы и равенства (эга-

литарности), и поляризации, и дискриминации полов. Для российского контекста характерна специфическая система референций гендерного неотрадиционализма, в которой мы выделяем две основные идеологии. Одна из них связана с либеральной традицией, эссенциализирующей половые различия, другая — с советской государственнической традицией «работающая мать», опирающейся на целевую социальную политику[36].

Идеология неолиберального гендерного традиционализма основана на противоречивом сочетании двух принципов: равноправия и природного различия полов. С одной стороны, признается, что женщины имеют равные права с мужчинами, могут ориентироваться на различные роли, становиться профессионалами, домохозяйками, сочетать разные обязанности согласно своему выбору. С другой стороны, утверждается, что женщины обладают отличными от мужчин природно обусловленными склонностями и имеют особое предназначение, ограничивающее их карьерные возможности, и поэтому они не стремятся к равному с мужчинами продвижению в публичном пространстве. Общественное устройство в целом рефлексивно ограничивает карьерное продвижение женщин, поскольку поддержание домохозяйства и воспитание детей интерпретируются как частно-семейное дело граждан, не предполагающее государственного вмешательства. Ядром концепта гендерно-нейтрального гражданства в этом случае является система равных прав и обязанностей мужчин и женщин в публичной сфере. Особые социальные права женщин, связанные с их ролью в системе социального воспроизводства и поддержания приватной сферы, в этом дискурсе интерпретируются как *социальная инвалидизация*, приводящая к вытеснению женщин из публичной сферы. В масс-медиа образцы неолиберального традиционализма представлены подчеркнуто женственными образами бизнесвумен и домохозяйки.

Неогосударственнический традиционализм позиционирует женщин как особую категорию граждан, нуждающуюся в патерналистской социальной политике. В рамках этой идеологии под-

[36] Сходные варианты выделила и Л. Попкова в своих исследованиях, посвященных участию женщин в политике (Popkova 2004). См. также: Temkina 1995.

черкивается, что у женщин есть гендерно обусловленная гражданская функция — демографическое воспроизводство нации. Воспитание детей и поддержание домохозяйства интерпретируются как предмет государственного интереса. Утверждается, что в период трансформаций женщина оказывается жертвой: поскольку государство не обеспечивает ее патримониальной поддержкой, она не может быть полноценной работающей матерью, т. е. полноценной гражданкой. Ядром гендерно-сензитивного гражданства в таком дискурсе является система целевых социальных прав, гарантируемых мужчинам и женщинам, призванным выполнять свой «общественный долг». Образцы государственнического неотрадиционализма представлены в первую очередь в обсуждении социального положения депривированных слоев: многодетных семей, безработных, работников ВПК, мигрантов и т. д.[37]

Неотрадиционалистские проекты женственности

Рассмотрим вкратце основные неотрадиционалистские проекты, которые репрезентируются в СМИ и идеологиях, организуют практики повседневности и представляют собой современные версии российского женского гражданства. Это проекты (модели) «работающая мать», «домашняя хозяйка» и «сексуализированная женственность».

Модель «работающая мать» легитимизирована многопоколенной советской традицией массовой женской занятости, моральной и экономической ответственностью за семейно-бытовую сферу и натурализованным материнством (эксклюзивным родительством). Она находит оправдание в дискурсе равенства и поддерживается логикой рыночных механизмов переходного периода. При этом для стратегии «работающая мать» в постсоветских условиях характерны новые правила. В новой версии обязанности работающей матери не являются ее гражданским долгом. Приватизация материнства и отделение родительства от сферы гражданских обязанностей сочетаются с приватизацией работы. Занятость становится личным выбором женщины, обоснованным моралью и экономикой.

[37] Примером такого дискурса является Послание президента 2006 года.

Обязанность участвовать в общественном производстве сменилась экономической необходимостью обеспечения семьи, которая потребовала активизации роли женщины в сфере оплачиваемой занятости. Опыт экономической независимости женщины в семье, зависимость статуса женщины от ее статуса в публичной сфере, материнство как экономическая функция — все это укорененные советские стереотипы, сохраняющие свое значение в постсоветском обществе во многих социальных средах (Римашевская 1997).

Модель «работающая мать» не является однородной. В разных социальных слоях существуют различные правила игры. В случае работающей матери, делающей профессиональную карьеру, ее занятость является выбором, поддерживаемым либеральной идеологией. При варианте экономически вынужденной работы женщины воспроизводят советскую традицию ответственности за семью и репрезентируются как жертвы неэффективной социальной политики, создающей трудности совмещения ролей.

Модель «домашняя хозяйка» легитимизирована ориентацией на представления о лучших жизненных шансах, характерных для западного старого среднего класса и высших слоев досоветского и постсоветского российского общества. В российском обществе данный проект (как и проект «мужчина — единственный кормилец в семье») никогда не опирался на массовый жизненный опыт. Роль домашней хозяйки позиционируется двойственным образом. С одной стороны, это проблема идентичности женщин среднего и высшего класса. В этих слоях создаются образцы регенерации патриархатного разделения труда, которые репрезентируются как традиция. Отношения равенства в семье оказываются недостижимыми, однако женщина становится менеджером домашнего хозяйства, ее роль «профессионализируется». Однако ее позиция проблематизирована, поскольку в обществе не установлены правила игры для данного контракта. Практики и роли домохозяйки парадоксальным образом не имеют достаточной легитимности в контексте советской традиции занятости женщин в публичной сфере.

С другой стороны, проект «домохозяйка» — это проект желаемого будущего и проблематизация положения работницы низкой квалификации и вынужденно работающей матери. Вынужденные домохозяйки из бедных слоев ограничены в возмож-

ностях найти работу. Вынужденные домохозяйки-мигранты ограничены в гражданских правах. Они не могут найти легальную работу и одновременно должны помогать детям адаптироваться в инокультурной среде и обеспечивать мужу возможность ненормированно работать в сфере неформальной экономики. В результате домашняя роль женщин определена недостатком гражданских прав и экономических возможностей.

Кроме того, роль домашней хозяйки связана с возрастанием значимости приватной сферы, с необходимостью в активном управлении домохозяйством в постсоветских рыночных условиях. Мать и менеджер домашнего быта — этот образ становится моделью желаемого будущего, недостижимого для большинства семей. Далее, для определенного сегмента нового предпринимательского класса России женская роль домашней хозяйки становится статусным маркером образа жизни. Материнство и забота сохраняются как основные атрибуты гегемонного дискурса женственности. Этот дискурс опирается также на религиозные ценности, все больше продвигаемые в постсоветской публичной сфере.

«Сексуализированная женственность» как гегемонный дискурс СМИ обусловлен коммодификацией сексуальности, под которой понимается превращение сексуальности в товар, что выражается в самых разнообразных формах — от порнографии и проституции до брака по расчету. «Сексуализированная женственность» как объект и субъект потребления позиционируется в качестве ресурса обеспечения социального положения. Жизненные шансы женщины связываются с ее сексуальной привлекательностью, которая может быть обменена на социальные блага и престижное потребление в ходе «выгодной сделки».

Кроме доминирующих моделей, в общественном дискурсе появились образцы женственности, существенным образом отличающиеся от единственно легитимной и поддерживаемой ранее советской политикой роли «работающая мать». Эти образцы разнообразны и многочисленны. Среди них — феминистки, представительницы этнических и сексуальных меньшинств, активистки неправительственных организаций, женщины, сознательно отказывающиеся от материнства, женщины-инвалиды, жертвы насилия в зоне военных действий, женщины-«нелегалы», проститутки, беженки, безработные,

«бомжи», преступницы, наркоманки, террористки т. п. Все эти образы конституируют социальное пространство проблематизированного гендерного гражданства. В переопределении гендерного гражданства участвуют женские и правозащитные организации, политические партии, средства массовой информации, профессиональные эксперты, представители общественных наук[38].

Гендерное гражданство женщин в целом становится гораздо более разнообразным и сложным для определения; социальные права женщин лишь в незначительной степени обеспечены поддержкой государства и рыночных структур. В условиях трансформации социальной политики и бюджетного дефицита возрастает роль горизонтальных социальных сетей и рыночных механизмов в определении практик женственности.

Происходит и дальнейшая проблематизация мужественности. «Кризис маскулинности» распространяется на новые поколения мужчин, неспособных в рыночных условиях выполнять роль кормильца семьи. Это не относится лишь к небольшому слою обеспеченных семей, в которых мужчина становится доминирующим агентом и располагает властными и материальными ресурсами поддержки материнства/женской сексуальной привлекательности. Во многих других случаях постсоветский мужчина маргинализируется в приватной, а иногда и в публичной сфере.

Решения многих гендерно маркированных проблем общество ожидает от государства, социальная политика которого признается неэффективной; во многих слоях возникает ностальгия по патримониальной этакратической традиции советского образца. Одновременно все большее дискурсивное пространство отвоевывают образы женственности и мужественности, апеллирующие к либерально-рыночной традиции гендерного общественного устройства. При явной конкуренции дискурсов, апеллирующих к разным традициям, они сходны в признании биологически детерминированного основания социальных практик женского гражданства. Неотрадиционалистские версии

[38] Вопросы постсоветского гендерного гражданства и его переопределения в связи с национальными конфликтами, войнами, воинской повинностью, миграциями и т. д. требуют отдельного исследования, здесь мы их только обозначаем.

идеологии гендерного гражданства, при всей их привлекательности, могут способствовать половой сегрегации, дискриминации граждан по признаку пола, вытеснению женщин в приватную сферу, а также акцентуации брутальной мужественности. До сих пор декларируемое «равенство в различии» представляется недостижимым идеалом. Его достижению может способствовать лишь развитое гражданское общество, рефлексивно реагирующее на тенденции социального неравенства.

От лицемерия к рационализации: трансформация дискурсивного режима сексуальности[39]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

В тексте рассматриваются основные изменения, которые произошли в дискурсе о сексуальности в постсоветском обществе[40]. В качестве аналитического инструмента для описания устойчивых конфигураций повседневных и публичных дискурсивных практик предлагается использовать понятие «дискурсивный режим сексуальности», которое реконструируется на основании эмпирических исследований.

Интерпретации сексуальности в приватной жизни и в официальных репрезентациях во многом схожи и гомологичны, однако между ними всегда существуют зазоры и разрывы. Сфера сексуальности позднесоветского периода характеризуется структурным расхождением между официальными и приватными (повседневными) интерпретациями, советским пуританизмом публичного замалчивания и крайне низкой степенью институциональной рефлексивности в отношении вполне либеральных сексуальных практик. Публичное замалчивание сексуальности, закрытость профессиональных дискурсов, отсутствие образования и гласного обсуждения быстро либерализующихся сексуальных практик, вытеснение обсуждения сексуальности

[39] Ранняя версия этого текста опубликована в «Гендерных исследованиях» (2004. № 11. С. 176—186).

[40] В настоящее время различным аспектам трансформации сексуальных отношений в России посвящено большое число академических публикаций. Мы здесь упоминаем только некоторые из них.

в сферу теневого фольклора — все это позволяет назвать позднесоветский дискурс о сексуальности лицемерным.

В постсоветский период в России разрыв между публичным и повседневным приватным дискурсом существенно сокращается. Сексуальность репрезентируется в разнообразных конкурирующих между собой публичных и приватных дискурсах. На смену дискурсивному лицемерию, обеспеченному цензурой, приходит рационализация сексуальности, основанная на натурализации, с одной стороны, и коммерциализации — с другой. Эти тенденции воплощаются в репрезентациях, институциональных системах и в повседневном опыте.

Дискурсивный режим сексуальности как аналитический инструмент

Мы реконструируем режимы сексуальности, которые регулируют действия и взаимодействия людей в различных контекстах и управляются официальными и повседневными дискурсами. Различные дискурсивные режимы предполагают артикуляцию разных идентичностей и сексуальных практик.

Хотя предлагаемый нами термин ассоциируется с понятием «гендерный режим», используемым Р. Коннеллом, смыслы этих терминов существенно различаются. Проясним нашу позицию. Термин «гендерный режим» описывает конфигурацию структурных ограничений и гендерно маркированных практик (опытов) на уровне социальных институтов. Социальный институт понимается в данном случае в духе теории структурации Э. Гидденса как совокупность устойчивых воспроизводящихся практик, регулируемых соответствующими правилами и ресурсами (Гидденс 2003). Гендерно маркированные действия агентов в социальных институтах задаются внешними по отношению к ним гендерными иерархиями и таким образом воспроизводятся. Одновременно индивидуальные и коллективные практики агентов способны изменять структурные рамки гендерного порядка (Connell 1987).

Сексуальные отношения являются базовыми для гендерного порядка. В каждом обществе существуют внешние по отношению к индивиду правила организации сексуальности, закрепленные в устойчивых практиках (взаимо)действия. Такие правила вырабатываются гендерной и сексуальной политикой

и идеологией, законодательным и институциональным регулированием брачного, репродуктивного и сексуального поведения, культурными дискурсами, имеющими давнюю традицию или претендующими на новаторство и авангардизм. Практики приватной интимной жизни необязательно жестко соответствуют внешним предписаниям, повседневный опыт часто отклоняется от них, в результате чего возникают новые конфигурации практик и структур, в том числе и в сфере сексуальных отношений.

Итак, режимы сексуальности — это относительно автономные способы организации сексуальных отношений, представляющие собой совокупность внешних (структурных) условий, предписаний и ограничений, с одной стороны, и практических действий агентов — с другой. В рамках режимов производятся и воспроизводятся характерные для них сексуальные практики: так, например, сексуальная жизнь общеобразовательной школы отличается от сексуальных практик промышленного предприятия или железнодорожного вокзала.

Сексуальные режимы можно исследовать по-разному. В данном случае мы рассматриваем их через призму репрезентаций, представленных в публичных и приватных дискурсах (рассказах о повседневной жизни[41]), и потому говорим о дискурсивных режимах сексуальности, которые репрезентируют практики и конструируют их. На основе анализа биографических интервью и официальных текстов советского и постсоветского времени[42] мы выделяем ряд критериев, по которым можно реконструировать дискурсивные режимы сексуальности.

---

[41] О сценариях сексуальности как совокупности дискурсивных практик повседневности см.: Темкина 2002.

[42] Анализ официального советского дискурса осуществлен на основе профессиональной литературы (сексологической, культурологической, психологической, педагогической, социологической, просветительской), посвященной «половым отношениям» 1960—1980-х годов. Изучение публичного постсоветского дискурса основано на выборочном анализе журналов, профессиональной литературы и на вторичных исследованиях. Анализ повседневного дискурса осуществлен на основе 25 интервью с мужчинами и 25 — с женщинами (городское образованное население), проведенными в 1995—1996 годах в рамках российско-финского проекта «Социальные изменения и культурная инерция в России».

1. *Позиция в рамках шкалы отношения к гомо-гетеросексуальности.* Дискурсивный режим доминирующей гетеросексуальности характерен для большинства современных обществ, однако характер доминирования может различаться по степени репрессивности и уровню толерантности в отношении сексуальных меньшинств. В одних контекстах гомосексуальность может считаться преступлением, в других — маркером социального престижа и т. д. Этот режим определяется законодательными актами, уровнем общественной толерантности к другим сексуальным предпочтениям (отношение к нетипичности), степенью социальной интеграции гомосексуальных сообществ, интерпретацией гомосексуальных практик в повседневности.

2. *Позиции в рамках шкалы гендерных различий от «двойного стандарта» до «гендерного равенства».* Этот критерий задает диапазон и признаки различий в предписаниях по поводу сексуальности, адресованных мужчинам и женщинам. Иногда эти различия достигают степени поляризации и культурного противопоставления, чреватого конфликтом. В большинстве обществ от мужчины ожидается активность, инициативность и ответственность в сексуальных отношениях; мужская сексуальность и мужское желание репрезентируются как природно обусловленные, полигамные, доминирующие. Желание и сексуальное удовлетворение женщин замалчиваются, оцениваются как незначимые или опасные. В обществах, переживших сексуальную революцию, гендерные различия в сфере сексуальности переосмысливаются, двойной стандарт ослабевает или сходит на нет, дискурсивный режим сексуальности становится гомогенным. Сексуальные различия не осмысливаются как условия неравенства.

3. *Дискурсы различаются по критерию соотношения сексуальности и деторождения*, варьируя от синкретизма до полной автономизации сексуальности и отделения ее от репродуктивных практик. В некоторых обществах и социальных группах сексуальные отношения признаются единственно легитимными, если они мотивированы репродуктивными целями и ограничены рамками брака. Такой режим поддерживается традицией, государственными институтами, политикой, идеологией. В других (со)обществах сексуальность рассматривается гораздо шире: в частности, легитимными считаются добрачные

и внебрачные отношения, не мотивированные репродуктивными целями.

4. *Критерий соотношения сексуальности и романтической любви.* Романтический дискурсивный режим связывает сексуальные отношения с романтическими чувствами, при этом сексуальность репрезентируется как следствие и выражение любви и страсти. Предполагается, что браки должны основываться на любви, а любовь является средством индивидуализации, выбора и самовыражения (Giddens 1992). Романтический режим сексуальности поддерживается разного рода любовными дискурсами, циркулирующими в публичных и повседневных репрезентациях.

5. *Критерий соотношения сексуальности и дружеских гетеросексуальных связей.* В рамках коммуникативного режима сексуальность описывается как средство или составляющая часть гетеросоциального общения; в основе сексуальных отношений лежат общие интересы, сходный стиль жизни, дружба между мужчиной и женщиной. Данный режим поддерживается дискурсами о дружбе, гетеросоциальными неформальными сетями, формальными и неформальными сообществами. Осуществление некоторых сексуальных практик (например, промискуитетных) в дружеских кругах может служить маркером принадлежности к социальной среде.

6. *По критерию коммерциализации сексуальных отношений* режимы могут различаться в диапазоне от откровенно рыночных до таких, где сексуальные взаимодействия, построенные на экономической выгоде, считаются нелегитимными. В условиях рыночного дискурсивного режима сексуальность рассматривается как предмет торга и обмена. Обладатели престижной сексуальности ожидают материальных или символических благ, секс рассматривается как «сделка» между секс-работниками и клиентами, спонсорами и экономически зависимыми лицами. Рыночный режим вновь получает широкое распространение по мере новой волны коммерциализации сексуальности и развития секс-индустрии и, как правило, характеризуется асимметрией мужских и женских ролей, при которой позицию экономического доминирования занимают мужчины.

7. *Критерий ценности сексуального удовольствия.* Шкала различий в данном случае — от гедонизма до пуританства. Гедонистический режим связывает сексуальность с телесными

удовольствиями. Сексуальные отношения рассматриваются как автономная от брака и репродукции сфера жизни и интерпретируются как естественная индивидуализированная потребность, как реализация природного желания. Сексуальное наслаждение является основной смысловой рамкой для обсуждения интимных связей. Такой дискурсивный режим поддерживается обществом либерализованной сексуальности и массового потребления, в котором сексуальность получает широкую репрезентацию в масс-медиа, искусстве и секс-индустрии. Пуританский режим не обсуждает тему сексуального удовольствия, считая это неприличным и/или незначимым.

8. *По критерию отношения «сексуальность — риски безопасности»* режимы варьируют от признания сферы сексуальности сферой повышенных рисков до дискурса о безопасном сексе, не влекущем ущерба для личности. В рамках режима риска сексуальность рассматривается как причина и источник социальных болезней — насилия, эпидемий, моральной деградации и т. д. Проституция, болезни, передающиеся половым путем, разного рода преступления на сексуальной почве могут интерпретироваться как результат «падения нравов» и «морального разложения» или как социальные проблемы, вызываемые бедностью, недостатками сексуального просвещения или процессами глобализации. В рамках дискурсивного режима безопасного секса подчеркиваются условия, обеспечивающие избегание рисков, — контрацептивные практики, сексуальные знания, ответственное поведение партнеров.

Позднесоветские режимы сексуальности

Для обсуждения сексуальных отношений в позднесоветский период характерно постоянное воспроизводство разрыва между официальными и повседневными дискурсами. На протяжении всего советского времени существовали сексуальные практики, не совпадающие с официальными предписаниями, однако начиная с 1970-х годов разрыв повседневного дискурса и идеологии приобрел системный и рутинный характер.

Публичные интерпретации половых отношений в позднесоветском дискурсе утверждали эксклюзивную моральность супружеского и романтического секса, естественность гендерных различий, активность мужской сексуальности, сексуаль-

ную пассивность женщины и ее материнское предназначение. Профессиональные дискурсы (медицинский, сексологический и гигиенический, а также педагогический, психологический и научно-публицистический) поддерживали нормативные предписания (см.: Темкина 2003). Нормой считалась брачная сексуальность, основанная на взаимной любви и духовной близости; предполагалось, что сексуальные отношения в браке обязательно приводят к рождению детей. Сексуальность (половые отношения) не являлась предметом широкого публичного обсуждения, репрезентации были ограничены профессиональными рамками.

В повседневных дискурсах и в критическом публичном дискурсе воспроизводились данные нормы, но в то же время происходили существенные изменения сексуальных практик. А. Роткирх называет эти изменения «революцией в повседневности» (Rotkirch 2000: 24), способствующей распространению внебрачной и внерепродуктивной сексуальности. Начиная с 1960-х годов отмечается значительный рост разводов, повторных браков, происходит нормализация добрачных и внебрачных связей (адюльтера) в массовой культуре и повседневной жизни, а также проблематизация официального дискурса в периферийных научно-публицистических дискурсах. Разрыв в публичных и повседневных репрезентациях позволил назвать такую сексуальность лицемерной (Zdravomyslova 2001). Сексуальная сфера в основном замалчивалась; она характеризовалась низкой степенью институциональной рефлексивности (отсутствием доступного экспертного знания, институционального обеспечения репродуктивного планирования и т. д.).

Рассмотрим, как воспроизводился разрыв публичных и приватных дискурсов сексуальности, обеспечивая их непротиворечивое сосуществование.

Итак, для позднесоветской сексуальности характерно господство гетеросексуального и гендерно иерархизированного режимов сексуальности, основанных на доминанте мужской сексуальности. В официальном публичном дискурсе ядро составляет синкретизм брака—репродукции—секса. Романтический и коммуникативный режимы поддерживаются разнообразными культурными репрезентациями.

На уровне повседневности артикулируются практики, соответствующие этому режиму, однако они составляют иную

Таблица 3. Режимы сексуальности: официальный и повседневный дискурсы

Официальные дискурсы: законы, СМИ, программная школьная литература, советское кино	Повседневные дискурсы: автобиографические и биографические нарративы
Гегемония гетеросексуальности; уголовное наказание секс-меньшинств до 1993 года, умолчание	Гегемония гетеросексуальности; дифференциация социальных сред по степени толерантности в отношении секс-меньшинств; гомосексуальность репрезентируется как девиация
Биологизированное, гендерно поляризованное гражданство, выраженное в разных предписаниях, адресованных мужчинам и женщинам в отношении их сексуальных потребностей и практик; двойной стандарт и мужская сексуальная доминанта	Гендерно иерархизированная и поляризованная сексуальность, предписывание мужчинам и женщинам различных сексуальных потребностей; утверждение сексуальной активности и биологической полигамности мужчин, пассивности и проблематичной сексуальности женщин
Синкретизм сексуальности и репродуктивности — ядро официальной политики сексуальности — поддержан идеологией, законодательством, культурными репрезентациями; брак — основная легитимная форма сексуальных отношений; материнство — приоритетная гражданская обязанность; допускается внебрачное материнство; пронатальная политика и идеология поддерживаются низкой степенью институциональной рефлексивности в отношении сексуальности (недостаточностью знаний, недоступностью эффективной контрацепции); следствием является «принудительное» или вынужденное материнство	Синкретизм сексуальности и репродуктивности составляет основу повседневных дискурсов о сексуальности, поддерживается социальной политикой, предоставляющей льготы матерям, и организацией приватной жизни, ядро которой составляет «расширенная нуклеарная» семья; нарративы о сексуальной жизни, в особенности у женщин, включают развернутые рассказы о беременностях, абортах, родах и воспитании детей; контрацептивную культуру можно назвать абортной; рутинизация страхов нежелательной беременности и опыта аборта характерна для женщин на протяжении всего репродуктивного цикла

Таблица 3. ***(продолжение)***

Романтический режим сексуальности составляет ядро массово-культурных репрезентаций (литература, кино, публицистика); любовь считается необходимым условием брака и деторождения; страсть репрезентирована как разрушительная и неодолимая сила, легитимизирующая внебрачную сексуальность, в особенности для мужчин	Романтический режим составляет ядро повседневного дискурса, легитимизирующего разные формы сексуальных отношений (в том числе добрачные и внебрачные); данный режим представлен в рассказах о влюбленностях, любви, ревности, последовательной моногамии, страсти; страсть описывается в нарративах как неуправляемая, но неизбежная
Коммуникативный режим прямо не признается, однако опосредованно поддерживается дискурсами о дружбе, коллективности, солидарности; может выступать легитимацией брака	Коммуникативный режим составляет основу повседневных дискурсов, легитимизирующих внебрачную и нерепродуктивную сексуальность и промискуитет; поддерживается значимостью социальных сетей в повседневной жизни; воплощается в рассказах о сексе на основе дружбы, общения, совместных дел и интересов; иногда репрезентирован как протест против официальных регламентаций
Рыночный режим официально пресекается (наказания за проституцию, осуждение браков по расчету и т. д.)	Рыночный режим распространен в некоторых социальных средах; в рассказах о жизни возникает категория «обмена» женской сексуальности на материальные блага (например, на дефицит разного рода) или на продолжительную материальную поддержку или социальное продвижение
Доминирование пуританизма в обсуждении сексуальности; сексуальное удовольствие артикулирует в рамках брачного сценария; гедонистический режим косвенно артикулирован в различных репрезентациях мужской «спортивной»	Гедонистический режим сексуальности представлен фрагментарно; косвенно артикулирован в различных репрезентациях мужской «спортивной» сексуальности; сексуальное удовольствие женщин часто описывается ими как проблема

Таблица 3. ***(окончание)***

сексуальности; обсуждается в профессионализированных медицинских дискурсах как проблемы сексуальной дисфункции партнеров; медики признают гендерную асимметрию в сексуальном удовольствии мужчин и женщин	либо замалчивается и женщинами, и мужчинами
Темы рисков безопасности в обсуждении сексуальности замалчиваются, но присутствуют в профессиональных дискурсах; идеология рассматривает риски сексуальности как нарушение предписаний брачной моногамной сексуальности; появляется обсуждение групп риска как носителей нелегитимных сексуальных практик	Режим риска актуализирован в определенных средах, в конкретных ситуациях (отпуска и командировки), связан с эмансипированностью женщин и традиционностью мужчин, провоцирован промискуитетным поведением (употреблением алкоголя, общением с «чужаками», принуждением к сексу, насилием и т. д.)

конфигурацию, с большей значимостью романтического и коммуникативного дискурсов сексуальности. Аспекты сексуальной жизни — пресекаемые, отрицаемые и осуждаемые официальными идеологиями (гомосексуальность, коммерциализация сексуальности, частично риски сексуальности) — признаются в повседневном дискурсе как характерные для определенных социальных сред и ситуаций. Официально осуждаемые и исключаемые практики замалчиваются, скрываются от окружения, в рассказах о жизни они проблематизированы. Официальный дискурс носит пуританский характер, однако в профессиональном и повседневном дискурсах обсуждается тема сексуального удовольствия (фрагментарно и гендерно асимметрично).

Постсоветский дискурсивный режим сексуальности

Начиная с середины 1980-х годов разрыв между публичными и приватными репрезентациями в сфере сексуальных отношений сокращается. Сфера сексуальности во многом освобождается от государственного контроля, идеологической цензуры,

признается в публичных дискурсах автономной естественной сферой человеческих потребностей, широко и неограниченно репрезентируется в профессиональной, масс-медийной, секс-индустрийной продукции. Возрастает внимание к телесности и сексуальным удовольствиям. Повышается институциональная рефлексивность в отношении либерализованных сексуальных практик, которую обеспечивают экспертные системы, профессиональные знания, масс-медиа, рынок, обслуживающий сексуальную сферу. Однако уровень институциональной рефлексивности все еще отстает от либерализованных практик. Сексуальные свободы не сопровождаются массовым ответственным сексуальным поведением, соответствующим представлениям о «безопасном сексе». В новых условиях усиливается относительная значимость режима риска, в котором проблематизируются опасности, связанные с сексом. В проблематизации сексуальности участвуют конкурирующие публичные дискурсы. В либеральном дискурсе сфера сексуальности — это прежде всего просвещение, репродуктивное планирование и обеспечение сексуального здоровья. В консервативном дискурсе сексуальность репрезентируется как сфера социальных проблем, болезней и морального разложения. Консерваторы ориентируются на жесткую регламентацию сексуальных практик и утопию возврата к пронатальной брачной сексуальности.

Усиливаются разрывы между отдельными режимами, которым соответствуют разные сексуальные практики и идентичности. Рассмотрим режимы, учитывая их преемственность и разрывы по отношению к советскому периоду. Выскажем ряд положений, которые носят пока предварительный характер и нуждаются в дальнейшей проверке.

1. Сохраняется дискурсивный режим доминирующей гетеросексуальности. Одновременно растет толерантность по отношению к сексуальным меньшинствам, которые рассматриваются как концентрированные среды. На уровне повседневности происходит постепенное выделение гомосексуального милье в автономную сферу коммуникации и специфический образ жизни, имеющий свою социальную нишу и свое дискурсивное пространство.

2. Гендерная поляризация поддерживается и отчасти усиливается неотрадиционалистскими дискурсами (как либеральными, так и консервативными), которые подчеркивают природные

различия мужчин и женщин. Однако гендерная иерархия в дискурсах о сексуальности выражена не столь явно, как прежде. В публичных репрезентациях происходит сексуализация мужского и женского тела при доминанте сексуализированной женственности. На уровне повседневности признается биологическая природа различий между мужчинами и женщинами. Либеральные дискурсивные практики сексуальности сосуществуют с двойным гендерным стандартом. Признается наличие сексуальных потребностей у женщин. Сексуальная инициатива женщин остается проблематичной, но постепенно и она обретает свою дискурсивную и социальную нишу.

3. Брак и деторождение остаются ядром публичной политики сексуальности, однако в конкурирующих дискурсах брачный режим имеет разное смысловое наполнение. Для либерального дискурса брачный режим сексуальности предполагает реализацию индивидуального рационального выбора, для консервативного — брак и деторождение связаны с гражданской ответственностью перед нацией или выражают соответствие религиозным и нравственным нормам гетеросексуальности. В повседневности соотношение брака, репродукции и сексуальной жизни предстает как предмет планирования и регламентации совместной жизни, переговоров между партнерами, выбора и индивидуальных решений. Однако рационализация в сфере сексуального и репродуктивного поведения часто срывается из-за эффектов недостаточной институциональной рефлексивности. Как показывают наши исследования, осуществлению рациональной программы репродуктивного поведения, которой намереваются следовать молодые партнеры, противодействуют следующие обстоятельства (их список далек от завершения):

- недостаточность знаний в области репродуктивного поведения (при этом женщины обладают большим знанием, чем мужчины);
- недоступность подходящей контрацепции;
- отсутствие навыков в переговорах между партнерами по поводу сексуального и репродуктивного поведения;
- гендерная поляризация установок на ответственное сексуальное поведение (в том числе предписывание женщине ответственности за предохранение от беременности и за принятие решения о деторождении).

4. «Жизнь страстями» (Rotkirch 2000), характерная для позднесоветского поколения, оттесняется на периферию в публичных и приватных дискурсах. Романтизация отношений свойственна только молодым, при этом в масс-медийном дискурсе романтизм приобретает эротический характер. Романтическому режиму оппонирует тенденция к рационализации, демистификации сильных чувств и страсти. Эта тенденция находит выражение в публичных и приватных дискурсах. В биографических нарративах рассказывается о контроле над эмоциями, о рациональном поиске и выборе партнеров, о преимуществах браков по расчету. Романтическая любовь перестает выступать структурно образующим стержнем рассказов о сексуальности. Но страсть как не поддающееся управлению желание по-прежнему легитимизирует внебрачную сексуальность — не только мужскую, но и женскую.

5. Коммуникативный режим сохраняет свое значение в повседневности, усиливается в определенных средах, для которых характерен поиск и выбор партнера, разделяющего ценности и стиль жизни. Сексуальные отношения становятся предметом переговоров между партнерами и саморефлексии, средством индивидуализации и идентификации, выстраивания совместной биографии (Giddens 1991).

6. Рыночный режим, широко распространенный в масс-медийных репрезентациях, поддерживается обществом потребления и коммерциализацией сексуальности. Сексуальные отношения в повседневности описываются как сделка или обмен между обладателями разных ресурсов: сексуальной привлекательности, с одной стороны, и экономических, социальных или культурных капиталов — с другой. Практики спонсирования, проституции, в некоторых средах полная легитимация «института любовницы» получают все более широкое распространение и свидетельствуют о тенденциях гендерной иерархизации. Контракт между молодой, сексуально привлекательной женщиной и богатым мужчиной претендует на гегемонный тип сексуальных отношений.

7. Гедонистический режим составляет ядро репрезентаций в масс-медийном дискурсе, в секс-индустрии. Это автономная сфера сексуальных отношений, направленных на получение удовольствия. Тело и телесные ощущения репрезентированы в биографических нарративах как источник удовольствия, сек-

суальное желание обретает самостоятельный статус, пропагандируются и практикуются техники достижения максимального удовлетворения в сексе.

8. *Режим риска — другое ядро публичных репрезентаций.* В консервативных дискурсах сексуальность легитимизируется как тема публичного обсуждения в связи с социальными болезнями — в контексте проблем СПИДа, проституции, гомосексуальности, наркомании, насилия и т. д. Влияние на общество и его моральное устройство становится точкой отсчета для трактовки секса. Секс определяется как «опасный» (Кон 2005) и «рискованный». В биографических рассказах чаще появляются упоминания о насилии, заболеваниях, сексуальном принуждении, о связи наркотиков и секса, о разного рода рискованных ситуациях, с которыми сталкиваются рассказчицы и рассказчики.

Итак, в постсоветской сексуальности существует тенденция перехода от лицемерного дискурса о сексуальности советского периода к рационализации. Последняя находит выражение в выборе сексуального или брачного партнера, в определении сексуальных отношений как получения удовольствия или как обмена благами. Рациональные интенции присутствуют в планировании семьи и деторождения как части организации жизни индивида и пары, хотя такие намерения зачастую оказываются под угрозой срыва из-за недостаточной институциональной рефлексивности на уровне повседневности. С рациональными тенденциями пытается конкурировать консервативный дискурс, постоянно обыгрывающий риски свободной сексуальности, сочетающейся с недостаточной институциональной рефлексивностью.

ГЛАВА 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Анализ нарративного интервью: реконструкция биографической работы[1]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

В статье описывается одна из методик биографического исследования — анализ биографического нарративного интервью. Обращается внимание на контекст биографизации современности, рассматриваются процедуры проведения нарративного интервью и его структура; приведен сегмент секвенционального анализа текста.

«Дедуктивный метод» социолога

Не без некоторой иронии можно утверждать, что методы социолога вполне сопоставимы с методами детектива, успешного в реконструкции неявных причин и мотиваций поступков, приводящих к непредвиденным последствиям. Вспомним рассуждения всемирно известного детектива Шерлока Холмса о дедуктивном методе, помогающем ему обнаружить преступника, т. е. определить его идентичность. Восстанавливая последовательность событий, социолог, как и детектив, должен уметь рассуждать аналитически,: «При решении подобных задач очень важно уметь рассуждать ретроспективно. <...> Лишь немногие, узнав результат, способны проделать умственную работу, которая дает возможность проследить, какие же при-

[1] Ранняя версия этого текста опубликована в сборнике «Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Материалы всероссийского семинара» (Краснодар: Институт социологии РАН; НИИ социально-гуманитарных проблем Кубанского госуниверситета, 2004. С. 200–222).

чины привели к этому результату. Вот эту способность я называю ретроспективными или аналитическими рассуждениями» (Конан-Дойль 1991: 129).

Социолог должен уметь рассуждать от следствия к причине — только так можно изучить идентичность субъектов социального действия. Эта профессия требует интуиции, способности к логическому сопоставлению фактов и их интерпретаций (в том числе фактов, противоречащих сложившейся логике анализа) исходя из принципа когерентности социальных явлений: «Надо больше доверять себе... Если какой-либо факт идет вразрез с длинной цепью логических заключений, значит, его можно истолковать иначе» (Там же: 64).

Аналогично детективу социолог должен увидеть то, чего не замечают другие и что содержит ключ к решению исследовательской задачи. Опираясь на эмпирические детали, на первый взгляд противоречащие друг другу, он может выделить базовые компоненты в цепи событий, приведших к видимому результату. Описывая свой метод доктору Ватсону, Холмс рассуждает: «В самом начале расследования вы не обратили внимания на единственное обстоятельство, которое и служило настоящим ключом к тайне. Мне посчастливилось ухватиться за него, и все дальнейшее только подтверждало мою догадку и, в сущности, являлось ее логическим следствием. Поэтому все то, что ставило вас в тупик и, как вам казалось, еще больше запутывало дело, мне, наоборот, многое объясняло и только подтверждало мои заключения... Странные подробности вовсе не осложняют расследование, а наоборот, облегчают его» (Там же: 65). Подобно Шерлоку Холмсу социолог должен проверять и перепроверять свои предположения, обращая внимание на всевозможные, и в особенности «странные», обстоятельства, упомянутые рассказчиком. Дедуктивный метод — отличное подспорье в биографическом исследовании идентичности, поскольку «всякая жизнь — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену» (Там же).

Познакомившись с некоторыми премудростями детективного расследования, обратимся теперь к социологическому анализу идентичности посредством текстуального анализа автобиографий. Для этого мы попытаемся оценить роль (авто)биографии в мире (пост)современности (post-moder-

nity), затем опишем свойства нарративного биографического интервью, особенности его проведения и метод анализа. В качестве примера обратимся к анализу конкретного фрагмента текста. Так же как и Шерлок Холмс, при анализе структуры нарративного Я мы будем искать ключ к разгадке идентичности рассказчицы, ретроспективно реконструируя факты ее жизни, их интерпретации и сопутствующие переживания, иными словами — реконструируя событийное (практическое), когнитивное и аффективное измерение рассказа о жизни.

Биографизация современности

С точки зрения многих социологов современное общество характеризуется процессом биографизации или биографической эмансипации (см., например, работы Э. Гидденса и У. Бека). В таком обществе у индивида существует большая степень свободы выбора собственной жизненной траектории. Биография становится результатом индивидуальных решений и выборов, не скованных жесткими сословными структурными рамками, традициями и ригидными моральными нормами. Имеется простор для различных, в том числе фантазийных, перспектив конструирования личной идентичности. Индивид может изменить место работы и место жительства, и не только в пределах одного государства, но и за его пределами; можно выйти за пределы фиксированной локализации и обрести идентичность кочевника. Предметом постоянной рефлексии и объектом политики идентичности становятся не только социальное положение и стиль жизни, но и собственное тело. Можно не только похудеть, изменить цвет волос и глаз, но и поменять цвет кожи и даже пол, не говоря уже о таких «пустяках», как сексуальная ориентация, семейное положение и гражданство. Биография перестала быть предзаданной, возможности для конструирования своего Я расширились по сравнению с предшествующими временами, и в этом заключается биографизация пост(современного) общества.

Биографизация общества как конструирование многообразных и не всегда предсказуемых Я выражается в феномене биографической работы (см.: Fisher-Rosenthal 1995), которая охватывает все социальные слои и среды. Отвечая на вопрос «КТО Я?», ключевой для определения идентичности, совре-

менный человек обескуражен. Часто он не находит готовых ответов, хотя раньше вопрос казался таким простым. Усложнение социальных конфигураций, функциональная дифференциация и фрагментация, бытийная неопределенность в контексте случайностей и глобальных рисков, множественность личностных аффилиаций, иногда конфликтных, уходящих в глубь темного ядра бессознательного, — это типичные черты (пост)современного общества. В таком хаосе трудно выстроить собственную идентичность; для этого требуются постоянные рефлексивные усилия. Самоопределение в социальном контексте превращается в повседневную и постоянную задачу современного человека. Многообразная деятельность по вписыванию себя в мозаику социальной реальности становится биографической работой, требующей навыков и затрат. Любые действия, решения, выборы могут интерпретироваться как элементы биографической работы. Она осуществляется в ответ на потребность фиксирования места личности в ткани бытия. Такое (пере)определение необходимо для эффективной коммуникации, для совершения любого социального действия, для обеспечения интерактивной компетентности и подотчетности действующего лица. Итак, биографическая работа как формирование идентичности в условиях современного сверхсложного и неопределенного общества становится значимым социальным процессом, определяющим конфигурации социального мира.

Кризис идентичности (еще один феномен современности) связан с тем, что границы Я размыты, не определены; это вызывает фрустрации и потребность поиска границ своего и чужого. Трансформирующееся общество (а именно такое общество наблюдается в России уже не одно десятилетие) — особый вызов для идентичности, а значит — и для биографической работы. Отечественные (В. Ядов, Л. Ионин, В. Голофаст) и иноземные (например, П. Штомпка) исследователи описывают состояние кризиса идентичности в контексте ломки российских социальных институтов. «Шкатулка идентичностей» содержит ограниченное число версий, но и из них непросто сделать выбор. В них надо разобраться, примерить (подойдет ли?), отбросить то, что не годится, и в конечном счете остановить свой выбор на той личине, которая накрепко пристанет и будет распознаваться окружением как «истинное лицо». «Че-

ловек меняет кожу»[2], и это болезненный, длительный и сложный процесс, обусловленный неопределенным контекстом. Контекстуальные условия, создающие матрицу возможностей и барьеров уместной идентичности, не сводятся к социальному пространству и синхроническому измерению. Темпоральный контекст новой биографической работы актуализирует генеалогии семей и родов, а также устойчивую и недавнюю память поколений.

Субъектами биографической работы становятся индивиды, семьи и более масштабные коллективные образования — корпорации, организации, т. е. все те, кто обладает идентичностью или выстраивает ее. Форматы биографической работы могут быть различны, здесь нас интересует лишь один из них: собственно индивидуальная автобиографическая работа — устное авторское жизнеописание, получаемое в ходе биографического нарративного интервью.

Форматы авторских жизнеописаний различны. Люди рассказывают о своей жизни часто в разных контекстах и по разным поводам. В учреждениях они следуют матрицам самопрезентации, заданным бюрократическими и функциональными задачами. В самопроизвольных жизнеописаниях мемуарного характера они следуют форматам, определенным культурными парадигмами (см.: Голофаст 1997). Такие жизнеописания разворачиваются по принципу литературного романа — длительного повествования, имеющего начало, середину и конец. Действующие лица вплетаются в ткань рассказа, насыщенного институционализированными сюжетами — нарративами о детстве, отрочестве и юности, работе, семье и досуге.

Особый жанр биографической работы связан с проведением глубинного интервью, когда в присутствии чужого лица, в

---

[2] Описывая ситуацию кризиса идентичности, в которой оказалось постреволюционное поколение России, одна из героинь романа Б. Ясенского «Человек меняет кожу» рассуждает так, как мог бы рассуждать современный молодой человек: «“Мы... пока что меняем кожу. Это массовый и болезненный процесс. Изменились отношения между людьми, между людьми и вещами, между людьми и государством. Расширились масштабы каждой отдельной личности, старая кожа... лопнула. Мы меняем ее на более просторную, в которой нам легче дышать”, — говорит комсомолка Полозова в споре с американским инженером Кларком...» (Ясенский 1983: 15—16).

режиме актуализации памяти рассказчик реагирует на стимул исследователя. Такой рассказ, несомненно, ситуативен. На атмосферу рассказа влияет не только личность интервьюера, но и характер стимула, побуждающего к автобиографическому повествованию, а также легенда, представляемая исследователем, — т. е. то, как он описывает задачу своего проекта, как объясняет причину, по которой он обратился к этому человеку, для чего он хочет получить доступ к его интимной жизни, «за что ему это?» и «что ему за это будет?».

Итак, если мы соглашаемся с вышеописанным диагнозом биографической эмансипации общества и понимаем, что биографическая работа по созданию самоидентичности в трансформирующемся обществе достаточно напряженна и сложна, что существуют культурные парадигмы жизнеописаний, характерные для тех или иных обществ, — то мы можем сформулировать некоторые характеристики авторского жизнеописания, полученного в ходе нарративного биографического интервью.

Нарративное биографическое интервью и его свойства

Опишем некоторые характеристики нарративного биографического интервью, выделяемые исследователями. Прежде всего авторский рассказ о пережитом (или авторское устное жизнеописание) содержит всевозможные временны́е измерения; он является многоуровневым и пестрым в темпоральном отношении. В нем присутствуют рефлексии о прошлом, настоящем и ожидаемом будущем. Исследователь исходит из того, что настоящее тематизирует прошлое. Тематизация задается, когда социолог предлагает потенциальному рассказчику легенду, объясняя мотивацию своего проекта. Он может, например, сказать: «Мне интересно услышать ваш рассказ потому, что вы живой свидетель таких-то событий», или «потому, что вы достигли такого редкого положения», или «потому, что вы уникальны», или «потому, что вы типичны», и т. д. Кроме того, та ситуация, в которой находится рассказчик «здесь и сейчас», — болен он или здоров, счастлив или травмирован, оптимистичен или находится в депрессии, голоден или сыт, — также влияет на селективную работу индивидуальной памяти. Итак, прошлое представлено в биографическом интервью избира-

тельно, но сами рассказчики могут этого не осознавать. Кроме того, рассказ о пережитом выстраивается с ориентацией на ожидаемое будущее — изменение места жительства и профессионального положения, вступление в новую фазу жизненного цикла, уход из жизни и т. д.

Исследователи проводят различие между прожитой жизнью и рассказом о пережитом. Повествуя о своем прошлом опыте, человек выстраивает его как аутентичный, т. е. события и сопутствующие им переживания и оценки предстают как достоверные и действительно имевшие место. Однако мы согласимся с П. Бурдье, утверждающим, что эта достоверность вполне иллюзорна. Но именно претензия на аутентичность является конституирующей частью биографической работы, в результате которой создается нарративное Я (Я рассказчика). Это Я стремится не только к тому, чтобы предстать подлинным, но и к тому, чтобы быть признанным в качестве такового другими. Таким образом, рассказчик постоянно должен выстраивать последовательность разных фрагментов своей жизни (фактов, переживаний, интерпретаций) так, чтобы она была узнаваема другими и вызывала доверие.

В результате рассказ о жизни представляет собой некоторую целостность. Согласно Дильтею, автобиограф всегда ориентирован на то, чтобы охватить опыты своей жизни в смысловое целое, а не в череду разрозненных событий. Подспудная когерентность изложения предполагает, что отдельные фрагменты будут связаны общим смыслом. Именно наличие латентного смыслообразующего ядра приводит к тому, что рассказчик выделяет и подробно описывает одни фрагменты своей жизни и забывает или оставляет в тени другие. Рассказывая о пережитом, человек совершает контекстуально определенную биографическую работу, придавая (не всегда осознанно) смысл своей жизни перед лицом вызовов жизненного многообразия. Формирование этой нарративной структуры особенно важно в современном фрагментированном мире, где задачи конструирования идентичности определяются поиском стратегий жизнеустройства. Биографическое структурирование в интервью — один из аспектов повседневной техники жизнеорганизации.

Еще одной особенностью нарративного биографического интервью является множественность текстуальных модальностей. Поясним, что имеется в виду. В тексте интервью репрезен-

тирован пережитой опыт. Согласно феноменологическому подходу, структуры опыта предполагают три измерения — практическое, аффективное и когнитивное. Это означает, что во всяком фрагменте опыта можно аналитически выделить действия и взаимодействия, переживания и ощущения, связанные с этими (взаимо)действиями, и осмысление этих (взаимо)действий. В соответствии с таким представлением о структуре опыта исследователи различают три смысловых пласта, которым соответствуют разные текстовые модальности. Анализируя разные модальности текста и их сочетания, сравнивая текстовые репрезентации с событийной канвой рассказа, можно составить представление о смысловых нагрузках текста и выявить тот смысловой стержень, который объединяет нарратив в единое целое. Опишем подробнее модальности, которые исследователь должен распознавать в автобиографическом тексте.

Описание. Эта модальность представлена изложением последовательности событий и опытов, соотнесенных с пространственно-временны́м контекстом. Стиль текста — объективистский, в нем нет описания эмоций и ощущений, нет эксплицированных оценок. Такой текст подобен дистанцированному (отстраненному) изложению, где вовлеченность рассказчика обозначена лишь указанием на его функцию. Примером может служить типовая автобиография, которую представляют при поступлении на работу.

Собственно нарратив включает эмоционально насыщенные фрагменты текста — личного сообщения, которое содержит описание собственных или чужих переживаний, относящихся к некоторому ситуативному опыту. Такой текст включает в себя грамматические формы и интонационные фигурации, которые призваны вызвать ответную эмоцию у слушателя. В них суть пережитого — боль, страх, смех, слезы, радость, тревога и т. д. Без эмоциональной части нет нарративного интервью, нет рассказа о пережитом, а есть лишь сухая канва событийной цепочки.

Интерпретация, содержащая объяснение и оценку произошедшего. Рассказчик эксплицирует причинно-следственную связь событий, относящихся к его жизненному опыту, генерализирует факты, выстраивает системы референций и т. д. Такая текстовая модальность призвана упорядочить событийный ряд, помочь осмыслить его место в рассказе о пережитом.

Каждой из текстовых модальностей соответствуют языковые и речевые маркеры, которые искушенный исследователь легко распознает. В интервью текстовые модальности встречаются в разных сочетаниях, однако исследователи исходят из того, что композиция разных типов текста, относящихся к некоторому фрагменту жизни, создает смысловую насыщенность опыта.

Обратимся теперь к структуре нарративного интервью. Текст автобиографического повествования (результат авторской импровизации) состоит из секвенций и коды. Секвенция представляет собой фрагмент в последовательности текста, выделенный по тематическому критерию и составляющий смысловое целое. Каждая секвенция характеризуется особой конфигурацией текстовых модальностей[3]. Кода является завершением последовательности секвенций. Она интонационно и грамматически маркирована различными финалистскими оборотами, например: «вот и все, собственно». Как правило, кода содержит смысловое резюме, подытоживающее жизнеописание, хотя вывод не всегда эксплицируется. Для аналитических целей секвенции можно делить на более мелкие нарративные единицы, выделяя промежуточные коды и дробя таким образом текст по критериям эмического или внешнего характера.

Задача анализа нарративного интервью — тип биографической работы, характерной для того или иного нарративного Я. Исследователю важно дать наименование типу нарративного интервью (придумать слово), найти категорию (эмпирическую или аналитическую), улавливающую тип биографической работы, представленный в тексте. Предполагается, что тип биографической работы обусловлен субъективно и объективно, т. е. зависит от пережитого опыта рассказчика и культурной парадигмы биографической самопрезентации. При этом главные структуры жизнеописания рассматриваются как выражение биографической работы, соответствующей процессу самоидентификации личности.

---

[3] Секвенция в музыкальном произведении представляет собой одну из возможных вариаций темы, которая занимает свое место в гармонически заданной последовательности фрагментов (секвенций) пьесы. В коде, завершающей пьесу, повторяются и сводятся воедино основные темы.

Изучив множество исследовательских проектов, немецкий социолог Ф. Шутце выделил четыре типа биографических процессов, которые он реконструирует на основе анализа текстов нарративных интервью. Для каждого типа характерна своя собственная секвенциональность, особенности социо-лингвистических построений, выраженные в разных сочетаниях текстовых модальностей. Шутце предполагает, что жизненный путь и презентация жизненного опыта изоморфны. Рассмотрим кратко каждый из выделенных типов. Термин «биографический процесс» нам представляется не вполне удачным, потому что он предполагает объективность и достоверность изложенного в нарративе. Поскольку мы исходим из различения жизненного опыта и рассказа о нем, то предпочитаем термин «биографическая работа», который предполагает, что автобиографический нарратив является процессом и результатом констуирования Я рассказчика.

Биография как траектория (trajectory). Пример такой биографической работы — жизнеописание тяжелобольного человека, повествующего о том, как началось и как протекало его заболевание, как постепенно изменялись его место в социальном пространстве и его идентичность. Ретроспективно рассказчик нанизывает все воспроизводимые им события на одну нить — становление и разворачивание опыта страдания больного. В таком рассказе всегда присутствует ключевой момент, который является поворотным для жизни и жизнеописания: воспоминание о начальной точке траектории, о том, как человек почувствовал себя больным или узнал о своей болезни. Эта биография представляет человека, жизнь которого задана не зависящими от него обстоятельствами, которым он не в силах противиться. Траектория — это жизненная колея, путь, который невозможно изменить.

Биография как стратегия (biographical action scheme). Пример такого конструирования нарративного Я — жизнеописание человека, который «сделал себя сам» (по крайней мере, таким он себя представляет). В таком жизнеописании выражен стратегический сюжет, подчеркивается поступательное продвижение действующего лица от события к событию, от одного этапа обдуманного и распланированного жизненного пути к другому. При этом рассказчик подчеркивает наличие первоначального замысла действия, делает акцент на своей рацио-

нальности и самостоятельности в целеполагании, принятии решений, мобилизации возможностей. Рассказ насыщен воспоминаниями о «помощниках», способствующих достижению поставленной цели, и «злодеях», создающих препятствия и строящих козни. Такой рассказ легко распадается на смысловые фрагменты, каждый из которых маркирован событием, значимым в стратегической биографической схеме. В центре нарративного Я — идея self-made person, человека, последовательно идущего к поставленной цели и добивающегося ее.

Биография как институциональная карьера (institutional career line). Нарративное Я сводится к описанию цепочки ролевых образцов, соответствующих разным институциональным аффилиациям рассказчика. Жизненный путь представлен как последовательность и сочетание ролей: ребенка, учащегося, военнослужащего, работника, отца, супруга, пенсионера и т. д. Рассказчик чаще прибегает к перечислению событий, не акцентируя внимание на своих переживаниях и не интерпретируя свой опыт в категориях активности, индивидуальности и т. д.

Биографический процесс как «превращение» (metamorphosis). Ключ к пониманию такого нарратива — изменение биографического гештальта рассказчика. Описывая свою жизнь, информант отмечает ее переломные моменты (эпифании), которые он представляет как ключевые события, не просто способствующие его социальному продвижению, а приведшие к его полному перерождению. В результате конкретного опыта, накрепко отпечатанного в памяти и сопряженного с сильными эмоциональными переживаниями, меняется, по словам рассказчика, смысл его собственной жизни и его понимание себя. Такое изменение биографического гештальта подобно эффекту психологического эксперимента по восприятию сложной конфигурации фона и фигуры (эксперимент с вазой и профилями). Человек видит на рисунке либо вазу, либо два профиля, в зависимости от рамки восприятия, которая формируется под воздействием обстоятельств, Пример такого биографического превращения — жизнеописания людей, которые резко поменяли свои ценности и примкнули к альтернативным общественным движениям. Так, в одном из интервью, собранных Шутце, информант, в прошлом участник Второй мировой войны, ныне лидер пацифистского движения, рассказывает, как опыт рукопашной схватки с противником-подростком оказал-

ся решающим в изменении его взглядов на роль военного насилия при решении конфликтов.

Обращая внимание читателя на описанные варианты биографической работы, мы хотели бы подчеркнуть следующее. Во-первых, этот короткий список не является исчерпывающим, так как он был сформирован индуктивно (по большому счету, в данном случае трудно говорить о «типологии» в логическом смысле). Во-вторых, исследователь имеет шанс обнаружить в каждом нарративном интервью (хотя и в неравной мере) фрагменты той или иной версии биографической работы. Знакомство с исследованиями Шутце позволит нам обратиться к поискам биографических структур в тех нарративных интервью, которые мы собирали сами в рамках наших исследовательских проектов.

Процедуры проведения нарративного интервью

Представляется, что теперь читателю стало понятно, что задача интервьюера — получить насыщенное развернутое жизнеописание, распадающееся на секвенции, далеко не всегда соответствующие ходу событий, но подчиненные внутренней логике изложения и завершенные кодой. Чтобы получить такой рассказ, необходимо его провоцировать открывающим стимулирующим вопросом, который создает рамки ответного изложения. Такой вопрос предполагает открытость тем и временного интервала, содержит понятную информанту формулировку первичного исследовательского вопроса. Уместным началом интервью может быть такая фраза: «Как складывалась ваша жизнь до того, как вы стали феминисткой?», или: «Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее о том, как проходило ваше детство». Такие общие вопросы-задания обрисовывают исследовательскую задачу. В первом случае задачей является изучение жизненного опыта феминистки, во втором — опыт детства. Кроме того, в обоих приведенных примерах сказуемые вопросительных предложений указывают на процессуальность опыта и ожидаемую процессуальность и детальность рассказа.

В ответ на предложенный вопрос интервьюер должен услышать продолжительный рассказ. Интервьюеру не следует перебивать рассказчика. Его задача — мимически и с помощью междометий поддерживать поток речи, который завершится

кодой. В завершение рассказа можно услышать финальную фразу: «Вот и все». Так мы получаем первую, основную, часть интервью. Вторая часть представляет собой ответы на вопросы, адресованные к основному рассказу, задаваемые согласно последовательности изложения и контексту. В случае неясности интервьюеру рекомендуется пользоваться лексикой информанта. Вопросы могут быть подготовлены заранее в виде путеводителя или гида; в процессе интервью они задаются последовательно в соответствии с разными фазами жизненного пути информанта или логикой его рассказа.

Интервью обычно завершается тем, что рассказчика просят отвлечься от воспоминаний, вернуться в настоящее время и оценить прошлое с позиций сегодняшнего дня. Цель этой просьбы — получить в фокусированном виде интерпретацию прошлого опыта в современном контексте. Пример завершающего вопроса: «Как теперь вы оцениваете то, что с вами тогда произошло?». Задача последнего вопроса — спровоцировать коду как основную смысловую фигуру нарративного интервью. Интервью записывается на диктофон и транскрибируется с фиксацией интонационных модуляций рассказа. Для облегчения процедуры анализа строки текста последовательно нумеруются.

Перед тем как перейти к анализу фрагмента биографического интервью, нам необходимо сформулировать основные принципы нашего подхода и определить его процедуры. Итак, в процессе реконструкции идентичности на основании биографического интервью исследователи опираются на следующие методологические принципы.

1) На начальном этапе исследователь избегает точно и однозначно сформулированных гипотез и теорий, руководствуясь самыми общими философскими и эпистемологическими представлениями о нарративном Я (см. выше).

2) Исследователь исходит из того, что нарративное интервью содержит смысловое ядро (красную нить), отображающее целостность биографической работы и выражающее сконструированную идентичность. Задача исследователя — выявить гештальт биографического нарратива[4], т. е. рамку, которая организует рассказ о пережитом и придает ему смысл.

---

[4] Немецкая школа гештальт-психологии (В. Келер, М. Вертгеймер, Э. Рубин) обращает внимание на роль так называемых автохронных

3) Поскольку каждая секвенция соотносится определенным образом с биографическим гештальтом рассказчика, исследователь должен стремиться к определению места конкретной секвенции в целостном нарративе.

4) Исследователь старается ответить на вопрос о том, по каким правилам строится жизнеописание, как представляются разные фазы жизненного цикла, процесс принятия решений, как автор совершает отбор тем воспоминаний. Диапазон возможностей рассказа сужается благодаря умышленному или неумышленному выбору, сделанному рассказчиком. Рассказ о жизни содержит сообщение о значимости того или иного опыта для идентичности рассказчика.

5) Цель анализа — понять единичность данного случая и его представительность (типичность), т. е. реконструировать тот объективный латентный смысл, который может быть не осознан автором. Конечный смысл складывается не только на основании собственных интерпретаций рассказчика, но и в результате социологического осмысления текста. В итоге исследователь определяет тип биографической работы, воспроизведенной в интервью, и дает ей наименование.

Шесть шагов анализа биографического интервью

Первый шаг — анализ биографических данных информанта, т. е. построение биограммы, необходимой для анализа контекста, которая включает информацию о событийной канве жизненного опыта.

Второй шаг — выдвижение первичных предположений о конструировании идентичности рассказчика. Выполняя этот шаг, исследователь исходит из первичного знакомства с биографией и опирается на свое социологическое знание и знание исторического контекста. При этом осуществляется дистанцирование от материала нарратива и оценок информанта. Исследователь последовательно различает рассказ о пережитом опы-

---

факторов восприятия. Известен психологический эксперимент, демонстрирующий двойственность восприятия конфигурации «фигура — фон» (ваза — два профиля). Восприятие этой конфигурации зависит от системы поощрений и наказаний.

те и событийную канву жизни. Техника анализа на данном этапе следующая. Биография читается целиком, затем при групповом обсуждении восстанавливается хронология событий и выдвигаются всевозможные реалистические предположения о том, чту составляет суть (красную нить) нарративного Я (представленной биографической работы рассказчика). (Например: «Я успешная женщина, постоянно преодолевающая неблагоприятные обстоятельства», или «Я женщина, эффективно использующая помощь близких», или «Я уникальный человек, неповторимый по своим внешним и внутренним качествам» и т. д.)

Третий шаг — анализ текста, ориентированный на реконструкцию гештальта автобиографического рассказа. Исследователь исходит из секвенциональности жизнеописания. На данном этапе необходимо выделить нарративные единицы — секвенции — и ответить на вопрос, почему они выстроены именно в такой последовательности. Мы обращаем внимание на переключение речевой модальности, нарушение событийной последовательности, насыщение текста разными модальностями. Сочетание всех видов модальностей показывает значимость конкретной темы для рассказчиков. Нам необходимо ответить на вопрос, почему происходит переход от темы к теме, почему рассказ завершен так, а не иначе. На данном этапе анализа мы ищем секвенции и обращаем внимание на фигуры речи, помогающие распознать секвенциальное переключение рассказа, — замешательство, перемену темы, определенные лингвистические маркеры («потом» и «вдруг») или завершающие коды. Кода — это ключ к пониманию всего рассказа; она представлена умозаключением или аргументами, приводимыми, как правило, в конце секвенции. Кода привязана к настоящему времени и общему ходу рассказа[5].

Четвертый шаг — сравнение биограммы с нарративом и социально-историческим контекстом. Исследователь вновь обращает внимание на то, почему рассказчик отклоняется от по-

[5] Например, после рассказа о болезни в детстве и юношестве следует рассказ об успешной профессиональной карьере во взрослом возрасте, хотя болезнь продолжает развиваться и накладывает существенные ограничения на жизнь рассказчицы. Переход к новой секвенции маркирован фразой: «А потом я начала работать».

следовательного изложения хода событий, чему он придает значение, а что остается за рамками подробного рассказа, описывается походя, без передачи эмоций и интерпретаций.

Пятый шаг — подробный анализ фрагментов текста, который может быть проведен по методу открытого кодирования[6]. При анализе отдельных секвенций выделяются ключевые категории, характеризующие тот или иной опыт рассказчика. Результатом является уточненное представление о нарративном Я, реконструированное на основании конкретных фрагментов опыта (например, в рассказе о школьных годах рассказчик подробно описывает то, как он преодолевал неблагоприятные обстоятельства болезни и одиночества, опираясь на помощь старшей сестры). Исследователь обращает внимание на коды отдельных секвенций (например, «итак, я справилась со школьной программой, хотя это было нелегко»; в данном случае кода представляет собой оценку окончания школы как успешно законченного этапа образования). Технически процедура анализа выглядит следующим образом: сначала выделяется рассказ о событиях в рамках данной секвенции; затем определяется эмоциональная окраска повествования (именно на этом этапе можно говорить о значимости пережитого опыта); после этого исследователь выделяет коду и обращается к интерпретации событий, представленной в рассказе.

Шестой шаг — сопоставление уточненного представления о нарративном Я, полученного при анализе каждой из выделенных секвенций с предварительными гипотезами об идентичности рассказчика. По завершении секвенциального анализа проверяются предположения о причинах тематического переключения нарратива, о выборе одних событий как значимых (например, помощь врачей, активность в поиске новых средств лечения) и вытеснении других (например, проблемы болезни отходят на задний план при репрезентации профессиональной успешности). Затем исследователь определяет тип биографической работы (например, биография как траектория жизненного пути, определяемого постоянным преодолением болезни).

---

[6] Открытое кодирование — процедура, характерная для методологии построения обоснованной теории; разработана Б. Глезером и А. Страуссом.

Теперь представим фрагмент интервью и опишем, как мы его анализировали[7]. Мы анализируем биографию Марианны Петровны (МП) — женщины, достигшей в 1990-е годы высокого положения в региональной политической иерархии: на момент проведения интервью она являлась членом правительства одной из автономных республик Российской Федерации.

Секвенция, выбранная нами для анализа, представляет собой рассказ о детстве и ранней юности (стрк. 3—73).

И: Расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша жизнь до сегодняшнего дня.

О: 46-й год, родилась в Крыму, в семье — мама была учительницей, папа — служащим, радиотехник. Это был 46-й год, в Крыму был голод, и наша семья страдала от голода.

Я родилась семимесячной, потому что, чтобы не умереть с голоду, мама завела козу и, чтобы передвинуть в нужное место (**), она подняла рельсу, поэтому я родилась вот преждевременно. Была такая маленькая, ну совсем... как бы нежизнеспособная. И когда отнесли к врачу — я не знаю, почему я сразу это вспоминаю, ну, наверное, это для чего-то надо, — отнесли к врачу, врачи сказали: «Не выживет, так что...» Когда возвратились домой, встретили знакомую — пожилую бабушку, она говорит: «Да вы что! Вы ее в тепло...» Мне сшили теплую одежду из ваты и положили меня в печку. И я была, как вот, ха!..

В: Как...

О: Как в камере, да! В специальной. Вот, и я выжила. Но мама говорит, что когда я родилась, я почему-то с самого начала улыбалась. И мое какое-то естественное физиологическое состояние всегда было радостное, всегда, что бы ни происходило, то есть вот это мне от природы как бы дано, чисто физиологически. Когда мне годик исполнился, мои родители уехали в Сибирь — папу пригласили туда на работу. У меня интересный такой папа. И там

[7] Интервью с Марианной Петровной взято Е. Здравомысловой в 1999 году в ходе осуществления проекта «Поколение 1950-х годов рождения: формирование элиты».

до 13-ти лет я прожила, сначала на Алтае, потом в Томске, но всегда в замкнутой системе: папа радиотехник — и всегда жил на радиостанциях, это закрытые такие места, закрытые участки где-то среди леса, несколько семей живет. А радиостанция — это передача, радиотрансляционная передача. И, насколько я понимаю теперь, тогда с их помощью ну как бы шел анализ тех радиопередач, которые отовсюду; и что-то отсекалось, идеология такая была, то есть они этим занимались. И так как коллективы были очень суженные, маленькие, то я получила какое-то такое, может быть, особое воспитание.

В: А где в Сибири?

О: В Томске. Тоже всегда в закрытых зонах, всегда. Да, там была закрытая зона, там был такой рядом город Б. — атомная электростанция находилась там и недалеко наша радиостанция. Поэтому как-то всегда вот такие закрытые места. Ну, детство я помню каким-то... на мой взгляд, достаточно счастливым детством, я не помню каких-то отрицательных моментов. Почему-то больше всего в детстве запомнила... я любила ходить одна в лес, любила ходить рассматривать что-то, узнавать, и мне это приносило огромное удовольствие. Но я помню и такие моменты, когда на меня нападали — (*) сильное отчаяние, какие-то пессимистичные были моменты, — и я как бы готовилась к предстоящему несчастью, к горю какому-то или несчастливой жизни, не знаю, но вот это было. Было с чем-то связано — наверное, сейчас я уже могла бы это понять, если бы вошла по соответствующим методикам, — а тогда это было, и это, наверное, как-то сказывалось. Но при этом безудержный оптимизм, который был мне свойствен, как-то все отсеивал. И когда в школе я училась, и в институте как бы отмечали все мои друзья, что я чересчур веселая. «Вот, будь немножко серьезнее». А при этом как бы по своей сути я правда серьезный человек, как... Ну, потом мне очень... практически все легко давалось: я хорошо училась, но не для того, чтобы хорошо учиться, а как бы само собой. И вот такое ощущение у меня всегда было, как будто я это уже знаю, то, что мне рассказывают, вот изначально, поэтому мне никогда не хотелось

59 ничего учить. Физически не хотелось. Я как бы вот автоматически
60 в нужный момент в нужном месте открывала книжку, в нужный
61 момент дополняла — и получала все время пятерки. Вот правда!
62 Но могла получить и двойку, у меня были такие моменты:
63 где-нибудь я что-то или забуду, или пропущу, или отвлекусь. Но в
64 общем-то я хорошо училась и была лучшей ученицей и у учителя
65 русского языка — лучшие сочинения у меня были в школе, и
66 лучшая была ученица по физике, то есть как бы...
67 *В:* Такие разные...
68 *О:* Да, разные. И лучшей ученицей по истории. Но историю я
69 совершенно не знала, абсолютно, я ни одной даты не помнила, но
70 я выезжала всегда на выводах и заключениях и на философском
71 каком-то обосновании. И физику я полюбила только из-за
72 философского ее основания, так скажем. И во мне боролось много
73 начал, когда я заканчивала школу, вообще куда пойти.

Первый шаг. Реконструируем общий событийный ряд (построение биограммы) и предложим первичные гипотезы о Я-концепции нарратива. Событийный ряд, представленный в данной секвенции, выглядит следующим образом: МП родилась в 1946 году, младенчество ее прошло в небольшом крымском городе. Когда ей исполнился год, отца перевели на работу в Сибирь, куда за ним последовала семья — жена и дочь. В связи с работой отца семья несколько раз переезжала. Наша героиня прожила в Сибири до тринадцати лет в разных маленьких городах в закрытых зонах. Здесь она закончила среднюю школу.

Второй шаг. Обсуждая общее впечатление от целиком прочитанного интервью и выделенной секвенции, группа молодых исследователей, с которыми мы работали, следующим образом сформулировала предварительные гипотезы об идентичности рассказчицы. В автобиографии МП предстает как самоуверенная, способная, удачливая женщина, уникальная по своим врожденным качествам. Она представляет себя как многообразно талантливого человека, который, несмотря на трудности, обладает врожденным оптимизмом, и в целом жизнь ее складывается удачно. В тексте мы видим, что высокие достижения рассказчицы вполне соответствуют ее способностям и заслу-

гам. Автобиография разворачивается как меритократический образец восходящей социальной мобильности.

Третий шаг. В данном сегменте текста выделяется три секвенции. Первая из них (стрк. 3—21) — рассказ о младенчестве (до года). Кодой данной секвенции является фраза «Вот я и выжила». Вторая секвенция (стрк. 21—54) — это рассказ об изменении жизненных обстоятельств, когда МП вместе с родителями переезжает в Сибирь. В тексте описывается ее жизнь в подростковом возрасте. Фраза «когда мне годик исполнился» обозначает переход к рассказу о новом возрастном этапе, включающем детские и школьные годы. Кода секвенции указывает на «безудержный оптимизм» как базовую черту личности рассказчицы. Третья секвенция (стрк. 54—73) — рассказ о школьных годах. Переход к ней обозначен лингвистическим маркером «Ну, потом...» Кода содержится в конце фрагмента и связана с описанием многосторонних интересов и способностей МП, включающих ее склонность к философскому мышлению.

Четвертый шаг. Сравним нарратив с биограммой, обращая внимание на то, что́ автор описывает обстоятельно, какие фрагменты текста насыщены метафорами и переживаниями. Мы видим, что МП подробно рассказывает о своем младенчестве, а затем практически сразу переходит к повествованию о подростковом возрасте и школьных годах. Рассказчица не обсуждает ни детали переезда, ни проблемы, связанные со сменой школ; нет описания родительской семьи, взаимоотношений со сверстниками и т. д. Вчитываясь в такой текст, мы можем предположить, что именно младенчество и особенности обучения в школе являются для информантки наиболее значимыми в создании нарративной Я-концепции. Используя метафору «специальной камеры», в которую ее поместили после преждевременных родов матери, рассказчица, по существу, говорит нам о счастливом и непредвиденном спасении; в этом же фрагменте впервые звучит тезис о ее врожденном оптимизме, который затем повторяется в тексте интервью неоднократно.

Далее мы должны ответить на вопрос: почему именно описываемые периоды жизни важны для рассказа МП, какое развитие получат по ходу интервью прозвучавшие в данной секвенции метафоры и наиболее часто повторяющиеся тезисы? На этом же этапе мы формулируем предположение о том, что автор жизнеописания акцентирует внимание на «особых

условиях жизни, сформировавших особую личность», а также на «врожденном характере своих способностей и других личностных особенностей».

Пятый шаг. Теперь обратимся к тексту первой секвенции, который посвящен рассказу о младенчестве. Прежде всего определим контекст, к которому отсылает нас рассказчица, и выделим описательную, нарративную и интерпретативную модальности изложения. Контекст рассказа определяем через пространственно-временны́е координаты событийного ряда. Речь идет о послевоенной жизни в Крыму, недавно освобожденном от нацистской оккупации. Контекст свидетельствует о тяжелом периоде, который переживало в послевоенном Советском Союзе большинство людей. Голод, непосильный труд, *высокая детская смертность, в целом низкий уровень жизни населения* — вот о чем сообщает нам рассказчица в самом начале интервью. Одиночество женщин, их тяжелый физический труд — гендерно специфический контекст, на который стоит обратить внимание. Описательная часть секвенции прямо соотносится с социально-историческим контекстом и персонализирует его. Событийный ряд включает упоминание о трудностях, переживаемых семьей, о непосильных физических нагрузках, о преждевременных родах матери, в результате которых врачи ставят диагноз, смертельный для нашей героини. Однако случайная встреча с бабушкой, от которой получен «рецепт» спасения, изменяет ситуацию, и девочка чудом выживает.

Переживания, которые описывает информантка, это мучения людей, вызванные голодом, это страдания матери. Нас интересуют референции к эмоциям, которые информантка приписывает людям, имевшим опыт жизни в послевоенном Крыму, людям, среди которых она выросла и благодаря которым выжила. Фрагменты текста, описывающие эмоции, указывают на тот опыт, который рассказчица считает значимым для своего Я. Ребенок оказывается оптимистом несмотря ни на что; свое состояние в младенчестве рассказчица описывает как «физиологически радостное». Эмоции выражены не только в лингвистических маркерах, но и в интонациях — МП подыскивает слова, делает паузы в рассказе, чтобы вернее описать младенческий опыт, замечает, что «сама не знает, зачем вспомнила это». Рассказ призван вызвать сострадание к матери и ребен-

ку, а также удивление и радость, вызванные сюжетом о «чудесном спасении» девочки.

Информантка интерпретирует свое раннее младенчество как историю о выживании (кода подсеквенции: «Вот я и выжила»). Такое спасение стало возможным благодаря случайности (чуду) и заботе близких, которые создали особые условия, приведшие к благополучному исходу. Рассказчица утверждает, что с младенчества на физиологическом уровне в основе ее идентичности был заложен природный оптимизм, т. е. радостное и открытое отношение к жизни, врожденная способность к выживанию несмотря ни на что.

Шестой шаг. Сравним уточненное представление о нарративном Я с предварительными гипотезами об идентичности рассказчицы и постараемся определить тип биографического процесса, или биографической работы, который представлен в жизнеописании[8]. Уже в младенчестве МП способствует удача, проявляются ее уникальные врожденные качества радости и оптимизма, способности к выживанию. Удача позволяет ей преодолеть чрезвычайно тяжелые обстоятельства. Обратим внимание на то, что рассказчица не может помнить о своем младенчестве, но воспоминания о нем, по свидетельствам родных (прежде всего матери), показывают, насколько значим для ее самоидентификации этот начальный этап жизни. (Напомним, что задача исследования, о которой знает информантка, — изучение жизненного пути и идентичности успешных людей; иными словами, она волей-неволей отвечает на вопрос интервьюера: «Как вам удалось достичь такого высокого социального положения?»)

Итак, данная секвенция представляет собой повесть о выживании, в ней создается идентичность выжившего человека (и в этом проявляется успешность нашей героини уже в самые ранние годы) благодаря чудесному избавлению и врожденным качествам. Знакомая старушка, повстречавшаяся на дороге и давшая совет, как поступить с преждевременно родившейся нежизнеспособной девочкой, стала волшебным помощником (в терминах «Морфологии сказки» Проппа). При последую-

[8] Разумеется, для окончательного определения типа биографической работы требуется анализ всего интервью.

щем анализе текста нам стоит обратить внимание на роль других помощников в личностном становлении и жизненном пути МП.

Приведенный фрагмент анализа текста позволяет нам поставить вопрос о специфике биографической работы представителей первой когорты постсоветской российской элиты, чей путь наверх начался при советской власти. Я-концепция таких информантов, выраженная в нарративном биографическом интервью, по нашему предположению, содержит две основные характеристики: во-первых, в ней подчеркивается природная уникальность индивида, его врожденные выдающиеся интеллектуальные и психологические способности и, во-вторых, акцентируется внимание на значимости счастливого непредвиденного стечения обстоятельств, способствующих институциональному продвижению. Нам представляется, что данное нарративное интервью не может быть отнесено к «стратегическому» типу (по Шутце). Рациональные действия, ориентированные на достижение высокого служебного положения, в рассказе не столь значимы, как акцент на случайности счастливой судьбы, которая определила не только обстоятельства жизни нашей героини, но и уникальные черты ее индивидуальности.

Категоризация взаимодействий: конструирование гендерной идентичности в сексуальной сфере[9]

(Е. Здравомыслова, А. Темкина)

Статья знакомит читателя с методикой анализа текста, разработанной в рамках социально-конструктивистского подхода и получившей название «анализ категоризации взаимодействия». Данная методика адаптирована для изучения конструирования идентичности на материале биографического интервью.

Принципы конструктивистского исследования

Выбор исследовательской методики как совокупности «более или менее формализованных правил сбора, обработки и анализа доступной информации» (Ядов 1999: 62) обусловлен методологическими позициями исследователя-социолога. Методология понимается в данном случае как «система принципов научного исследования» (Там же: 53). В рамках методологии определяется вопрос исследования и методы, с помощью которых возможно приблизиться к его решению.

Предметом нашего изучения является формирование гендерной идентичности. Этот процесс можно рассматривать с разных методологических позиций, таких как, например, полоролевой подход, психоаналитический, марксистский и т. д. В данном случае мы опираемся на позиции социально-конструктивистского социологического подхода. В его рамках создание гендерной идентичности понимается как производство гендера с помощью механизмов социального взаимодействия.

[9] Ранняя версия этого текста опубликована в «Гендерных исследованиях» (2000. № 5. С. 211—225).

Представим вкратце методологические основания социально-конструктивистского подхода. Его принципы сформулированы в текстах П. Бергера и Н. Лукмана, И. Гофмана и Г. Гарфинкеля (см. подробнее: Здравомыслова, Темкина 1998, 1999; Уэст, Зиммерман 1997). В рамках этого подхода утверждается, что гендер создается в процессе межличностного взаимодействия, посредством которого воспроизводится представление о мужском и женском как о базовых категориях социального порядка.

Э. Габа и Я. Линкольн (Guba, Lincoln 1998) обобщают особенности применения социально-конструктивистской парадигмы в эмпирических исследованиях. По их мнению, целью таких исследований является понимание и воссоздание конструктов, которые создаются индивидами в процессе взаимодействия, включая конструкты, производимые исследователями — не только экспертами, но и участниками процесса «производства реальности». Парадигма конструктивизма исходит из признания того, что установки исследователя влияют на конечный научный результат. Позиция исследователя — это позиция заинтересованного участника, который вовлечен в процесс реконструкции множественности голосов — своего собственного и тех, что принадлежат другим участникам.

Конструктивизм является антиэссенциалистской парадигмой; социальные факты анализируются как продукты сложных дискурсивных практик. Соответственно предметом анализа становятся системы репрезентаций, социальные и материальные практики, конфигурации дискурсивных практик, идеологические эффекты (Schwandt 1998). Гендерная идентичность — это один из социальных фактов, который подлежит реконструкции. Повседневное знание опирается на использование категорий, посредством которых придается смысл интерсубъективному опыту и происходит его типизация. Для исследователя становится принципиально важным, каким образом участники процесса взаимодействия типизируют повседневность.

В рамках такого подхода гендерная идентичность предстает как совокупность смыслов, которые приписываются категории, обозначающей половую принадлежность в разных взаимодействиях. Задачей исследования гендерной идентичности становится выявление того, каким образом вербально создаются мужская и женская идентичности во взаимодействии лицом

к лицу, в каких сферах и с помощью чего они поддерживаются и воспроизводятся. Реконструкция гендерной идентичности участников взаимодействия осуществляется на основании интерпретации ими своего опыта. Результатом такого анализа становится «насыщенное (плотное) описание», т. е. описание *совокупности смыслов взаимодействия, представленных с точки зрения действующего лица* (Гирц 1997).

В данной статье рассматривается, как в нарративе, посвященном сексуальному опыту, создается гендерная идентичность рассказчицы. При анализе конкретных фрагментов текста мы реконструируем категории, с помощью которых женщина описывает свой сексуальный опыт; квалифицирует свои и чужие действия и разнообразные отношения с партнерами; дает оценки тем действиям и отношениям, о которых рассказывает. В этом и заключается «насыщенное описание» того, как производится гендерная идентичность в тексте.

Подобные подходы к изучению идентичности получили распространение также в рамках культурной антропологии и в социолингвистике. Например, российская исследовательница гендерных стереотипов языка А. Кирилина анализирует, каким образом происходит приписывание мужчинам и женщинам определенных качеств и их оценка (Кирилина 1999: 90—96). Особенность социологического подхода состоит в том, что анализ гендерной идентичности, создаваемой в тексте, становится анализом социальной реальности повседневного взаимодействия.

Методика анализа текста

Используемая нами методика анализа текста — *анализ категоризации взаимодействий* — была разработана на основе техники *анализа разговора* (conversation analysis), получившей распространение в рамках этнометодологии (Garfinkel 1967; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; West, Zimmerman 1982). Предметом анализа разговоров являются вербальные процедуры, посредством которых участники взаимодействия осуществляют коммуникацию. Действующие лица при этом интерпретируются как методологи-практики, обладающие компетентностью в исполнении и интерпретации своих действий. Взаимодействие успешно осуществляется в том случае, если

его участники следуют практическим правилам повседневности, в том числе и на вербальном уровне, и интерпретируют поведение друг друга как нормальное.

Техника «анализа разговора» использовалась при исследовании коммуникаций в разных контекстах: между родителями и детьми, врачами и пациентами, мужчинами и женщинами (Sacks 1972). Одним из вариантов этой техники стала методика, которую мы называем «анализом категоризации взаимодействий» (membership categorization device[10]). Эту методику разработал Х. Сакс (Sacks 1974). Он и вслед за ним Д. Силверман (Silverman 1993) исследуют, как в текстах «производятся» описания социальной реальности, обеспечивающие взаимопонимание участников взаимодействия. Используя категории (т. е. слова, за которыми стоят понятия) для описания повседневной жизни, индивиды тем самым осмысливают действительность, вырабатывают интерсубъективные значения, обеспечивающие взаимное понимание и общий фон интерпретации происходящего.

Интервью представляет собой текст, содержащий категории, посредством которых индивид описывает социальные взаимодействия как понятные их участникам, т. е. наделенные смыслом. Мы предлагаем здесь адаптированный вариант методики, который был апробирован при анализе биографического интервью, посвященного сексуальному опыту (см. ниже)[11].

Для реконструкции того, как создается в тексте гендерная идентичность в сфере сексуальных взаимодействий, следует выполнить три шага. Во-первых, мы выделяем категории, которыми пользуется рассказчица при описании своего сексуального опыта (данные категории чаще всего представлены в виде имен существительных и прилагательных). Во-вторых, выявляем лексемы, обозначающие виды действий и отношений, которые рассказчица связывает с данными категориями (чаще всего ими

[10] Данный перевод названия методики не является дословным, он передает смысл процедуры анализа текста.

[11] Эта методика применяется на семинарах по качественным методам, проводимых в рамках образовательной программы по гендерным исследованиям на факультете политических наук и социологии Европейского университета и на летних школах по гендерным исследованиям (Форос).

являются глаголы и отглагольные формы). В-третьих, реконструируем моральные оценки, которыми наделяются данные категории и соответствующие им действия и отношения.

Силверман рассматривает категории как способы описания событий и действующих лиц, посредством которых происходит их осмысление, т. е. идентификация, классификация, типизация. Используем пример, приведенный исследователем. В тексте одна и та же женщина может описываться как «стройная блондинка, мать пятерых детей — 1» и как «тридцатидвухлетняя преподавательница — 2» (Silverman 1993: 81). Таким образом эта женщина идентифицируется, с одной стороны, в категориях семейных ролей (1), а с другой — в категориях профессиональной деятельности (2). В ходе дальнейшего анализа текста исследователь может определить, какие качества и действия связаны с разными моделями классификации женщины. В нашем случае мы будем выделять категории, на которых построен рассказ о (гетеро)сексуальном опыте информантки.

Анализ категоризации взаимодействия опирается на принципы социального конструктивизма, подразумевающие, что речь есть слепок социальной реальности. В связи с этим методика предполагает следование двум правилам. Во-первых, исследователь исходит из того, что используемая рассказчиком категория принадлежит к некоторому более общему родовому классу категорий (collection). Так, например, категория «преподавательница» (использованная для идентификации женщины) относится к классу «профессия», категория «мать» — к классу «семья». Во-вторых, исследователь исходит из правила *семантической консистентности* (consistency) повествования. Суть этого правила заключается в том, что в нарративе рассказчик сохраняет некоторую логику изложения и объединяет категории в рамках одного смыслового блока. Когда речь идет о семье или о профессии, мы ожидаем, что рассказ будет связан именно с этой темой, если нет специального указания на то, что консистентность нарушена и текст намеренно носит абсурдистский характер.

Следующий шаг анализа категоризации взаимодействия заключается в выявлении лексем, обозначающих действия, связанные с категориями (category-bound activities). Лица и события, описываемые в повествовании и обозначенные определенными категориями, связываются в тексте с определенными видами

действий и отношений. Реконструируя эти связки, мы выявляем те смыслы, которыми наделяются повседневные взаимодействия.

Далее при определении связанности категорий и действий/отношений мы выявляем их оценку с точки зрения информанта. При этом мы (исследователи) исходим из того, что можно назвать *правилом морального суждения*. Оно заключается в том, что любое описание опыта рассматривается как содержащее (явно или неявно) его моральную оценку. Исследователь исходит из того, что рассказчик постоянно оценивает (правильно или неправильно) осуществление данных действий со стороны данных лиц, обозначенных категориями. Так, в примере, приводимом Силверманом, правильным действием со стороны преподавателя является обучение, со стороны матери — воспитание детей. И те и другие действия, с точки зрения рассказчика, морально оправданы и не подвергаются сомнению. Рассказчики приписывают определенные моральные смыслы происходящему и тем самым (вос)производят социальный порядок.

«Социальная жизнь, — замечает Силверман, — в отличие от иностранных фильмов не сопровождается субтитрами», проясняющими происходящее (Silverman 1993: 82). Смыслы взаимодействий вплетены в ткань повседневности. Задача исследователя — реконструировать эти смыслы, снабдить субтитрами социальную жизнь, чтобы помыслить ее социологически.

Техника анализа выглядит следующим образом. Обсуждение *транскрипта* биографического интервью осуществляется группой исследователей. Таким образом соблюдается принцип *триангуляции*, т. е. обеспечивается перекрестная интерпретация фрагментов текста несколькими исследователями (Семенова 1998: 192, 228). Сначала каждый из участников знакомится с полным текстом интервью. После того как прочитан весь текст, наступает стадия групповой работы. В выбранном для анализа фрагменте выделяются смысловые *секвенции*, т. е. содержательно законченные эпизоды, — смысловые единицы текста, следующие друг за другом в определенной последовательности (Там же: 227). Понимание того, что́ содержательно представляет собой секвенция (смысловая единица) текста, зависит от задачи исследования. В работе группы выделение секвенций происходит следующим образом: один человек чи-

тает текст вслух, до тех пор пока словом «стоп» его не остановит кто-либо из участников, идентифицировавший смысловую единицу и предлагающий код для ее обозначения. Затем дается комментарий и обсуждаются все возможные (разумные) интерпретации категорий, связанных с ними действий, отношений и оценок, до тех пор пока не устанавливается консенсус по этому поводу. Иногда такой консенсус установить невозможно, что фиксируется исследователями, и для дальнейшего уточнения они прибегают к сопоставлению разных фрагментов текста или к дополнительной информации, которая может прояснить смысл. Обратимся теперь к анализу конкретного текста.

«Производство гендера»: анализ фрагментов текста

Задача анализа предлагаемого текста — выявить способы конструирования гендерной идентичности в интервью о сексуальной жизни[12]. Разумеется, для того чтобы представить плотное описание гендерной идентичности в сексуальной сфере, нужен анализ всего текста интервью[13]. Здесь мы останавливаемся только на нескольких фрагментах, демонстрирующих эвристические возможности предлагаемой методики.

---

[12] Фрагменты текста взяты из интервью о сексуальности, полученного в рамках российско-финского проекта «Социальная трансформация и культурная инерция в России» (Санкт-Петербург, 1996—1997) методом глубинного фокусированного интервью. Было собрано 25 биографий городских образованных женщин трех возрастных когорт: шесть биографий женщин 57—63 лет, 1934—1940 годов рождения; десять — 32—48 лет, 1949—1965 годов рождения; девять — 22—31 года, 1966—1975 годов рождения. Интервью было посвящено широкому спектру вопросов, касающихся сексуальности, и включало следующие темы: детство, студенческие годы, брак, развод, вдовство, параллельные сексуальные отношения, отношения со стабильным партнером (партнерами); задавались вопросы, касающиеся разговоров о сексе с партнером, любви, отношения к адюльтеру, сексуального насилия, секса под давлением, детского сексуального опыта, ревности, абортов, деторождения, менструации, климакса, венерических заболеваний, контрацепции, сексуальных техник, тела, гомосексуализма.

[13] Этот метод является крайне трудоемким и ресурсозатратным.

Прежде всего необходимо очертить жизненный путь информантки на основании данных интервью и прилагаемой стандартизированной анкеты. Мы анализируем биографию женщины 1950 года рождения, получившей высшее образование в области естественных наук и работающей в настоящее время в бизнесе. Информантка (назовем ее М.) была замужем, имеет ребенка от первого брака, во время брака и после него у нее были постоянные и случайные сексуальные партнеры. В ходе интервью М. характеризовала свое сексуальное поведение как ориентированное прежде всего на получение сексуального удовольствия. Нас заинтересовал данный рассказ как нетипичный для данной когорты российских женщин, большинство из которых строят рассказ о своей сексуальной жизни в рамках культурно приемлемых сценариев сексуальности: брачного, романтического, коммуникативного. В исследовании, проведенном одним из авторов данной публикации ранее, биография М. рассматривалась как представляющая гедонистический сценарий сексуальности, автономной по отношению к супружеству и дружеским связям (подробное описание см.: Темкина 1999).

Рассмотрим, как происходит гендерная самоидентификация рассказчицы на примере нескольких фрагментов интервью. Основываясь на описанной выше методике, мы реконструируем: а) категориальный ряд, используемый информанткой для описания *себя*, *мужчин* и *женщин*, фигурирующих в ее рассказе; б) действия и отношения, которые информантка связывает с данными категориями; в) оценки этих действий и отношений, присутствующие в тексте. Ниже представлен первый фрагмент текста, разделенный для удобства анализа по строкам, каждая из которых пронумерована.

Фрагмент 1

1 *В:* Какие партнеры вам нравятся?
2 *О:* Здесь очень много проблем. У меня очень большие трудности
3 с сексуальными партнерами. Даже если мне мужчина очень
4 нравится, даже если я имею намерение выйти за него замуж, то
5 все равно фантастические проблемы. Я бы сказала, что у 99 %
6 мужчин, с которыми я общалась, у них проблемы в сексе. Не у
7 меня — у них. У них секс сводится к семяизвержению — больше
8 ни к чему. Они совершенно не могут раскрыть женщину, они

совершенно не могут ее довести до экстаза и сами войти в экстаз. Они абсолютно этого не понимают. Причем они думают, что здесь надо работать больше членом. А собственно говоря, секс — это голова и руки. А член здесь ни при чем. Он может быть и очень маленький, и семяизвержение быстро наступать, но не этим достигается вся радость общения между мужчиной и женщиной. Это невозможно им объяснить, они этого не понимают. Если он совершил половой акт и у него хорошо произошло семяизвержение, то он считает, что все понял, все познал в женщине и доставил ей массу удовольствия. Ничего подобного. Он ничего не знает об этой женщине. Это большинство мужчин. Редко встречаются такие мужчины, которые знают, что женщину можно довести до белого каления и в ответ получить фантастическое удовольствие. Это очень редко встречается. Причем для этого совершенно не требуется духовное родство, или близость, или интеллект общий. Требуются совершенно простые вещи: любовь к телу той самой женщины, с которой он общается. Он из этого тела может извлечь фантастическую музыку.

Рассмотрим, как в этом фрагменте происходит конструирование Я информантки. Очевидно, что она относит себя к категории гетеросексуальных женщин, которые имеют опыт множественных сексуальных связей с мужчинами. Таким образом, она определяет себя через отношения с мужчинами. Поэтому категоризация мужчин становится формативным элементом ее гендерной идентичности. Категоризация мужчин носит характер классификации. М. выделяет разные типы сексуальных партнеров на основании их личностных и сексуальных свойств, а также на основании тех отношений, которые у нее с ними возникали или могли возникнуть (по ее версии). Далее мы представим предлагаемую ею классификацию мужчин и связанные с ними свойства и отношения.

Прежде всего *мужчины* определяются как реальные или потенциальные *сексуальные партнеры*. Свое отношение к ним М. описывает через лексему *нравятся*. Это определение стимулировано вопросом интервьюера (стрк. 1). Особую группу сексуальных партнеров составляют потенциальные мужья — те

сексуальные партнеры, которые ей не только *нравятся,* но за которых *она имеет намерение выйти замуж* (стрк. 4—5).

Далее М. различает следующие типы мужчин по критерию наличия у них проблем в сексуальных отношениях:

1) мужчины, которые *имеют проблемы в сексе и составляют большинство* (99 %, по оценке М.) (стрк. 5—6);

2) мужчины, которые *этих проблем не имеют и которые встречаются редко и очень редко* (стрк. 19—22).

Отношения, связывающие информантку с большинством сексуальных партнеров, описываются как вызывающие *большие, фантастические проблемы, трудности* (стрк. 2—3, 5). Информантка определяет свои отношения с теми мужчинами, которые ей нравятся, как *проблемные.* Очевидно, что эта проблемность вызвана тем, что сами имеют проблемы, связанные с сексуальной сферой. Категория *проблемы в сексе* становится атрибутивной характеристикой мужчин.

Рассмотрим далее действия и отношения, приписываемые М. большинству мужчин. Эти атрибуции важны для ее гендерной самоидентификации, поскольку их проблемы становятся компонентом ее сексуального опыта. По мнению М., проблемы большинства мужчин в сексуальной жизни заключаются в том, что

— они *не могут раскрыть женщину, не могут ее довести до экстаза, не могут сами войти в экстаз* (стрк. 8—10); это означает, что степень сексуальной удовлетворенности партнеров достаточно низка;

— мужчины *абсолютно этого не понимают* (стрк. 10—11); М. отмечает, что, как правило, мужчины не осознают наличия проблемы сексуальной неудовлетворенности;

— мужчины не понимают природы сексуального взаимодействия; для их сознания характерна неверная интерпретация сексуальности (стрк. 8—12). В данной секвенции мы обнаруживаем, что мужчины этой категории и М. придерживаются противоположных концепций сексуальности. Именно поэтому сексуальные отношения оказываются *фантастической проблемой.* Для большинства мужчин секс — это *работа члена,* это анатомо-физиологические особенности, которые конкретизированы как *размер полового органа мужчины, скорость семяизвержения* (стрк. 7—8, 13—14).

Когда секс для мужчины представляет собой анатомо-физиологический акт — он считает, что *все понял, познал женщи-*

ну (стрк. 17—19). Однако с таким мужчиной не может быть достигнута *радость общения* (стрк. 14). Мужчина, который принадлежит к большинству, становится ответственным за проблемность сексуального общения. На самом деле, как считает М., «секс — это *голова и руки*» (стрк. 11—12).

На основании вышеизложенного мы можем сделать некоторые предположения о гендерном конструкте. М. рассказывает редкую для женщин ее поколения историю «сексуального раскрепощения». При этом она конструирует свою гетеросексуальную идентичность по двум параметрам: через интерпретацию сексуальности и через позиционирование себя в сексуальных отношениях с партнерами, т. е. через когнитивные механизмы и реальный опыт.

М. интерпретирует свою сексуальную жизнь как проблемную. Проблемность ее отношений с большинством сексуальных партнеров связана прежде всего с тем, что они относятся к той категории мужчин, чьи представления о сексуальности противоположны *правильным* представлениям, которые разделяют Мария как типичная женщина и незначительное число мужчин (1 %)[14]. Для большинства мужчин секс — это физиология; для женщин и меньшинства мужчин — это иное. Гендерный конфликт двух миров в интерпретации сексуальности приводит к недоразумениям, непониманию между партнерами. Мужчин описываются как неспособные к пониманию сути сексуального взаимодействия. В данном фрагменте М. позиционирует себя как объект, зависимый от характеристик и действий партнеров. При этом шансов на беспроблемные отношения остается очень мало, поскольку ее *трудности* являются следствием *сексуальных проблем*, которые присутствуют у подавляющего большинства мужчин.

Пропустим несколько строк (которые также должны быть проанализированы при сплошном чтении интервью), чтобы ответить на вопрос: а каким образом возможны «правильные сексуальные отношения», каким образом *достигается радость общения* (стрк. 14) между сексуальными партнерами с точки зрения нашей информантки? Для правильных сексуальных

[14] Присутствовавшие в группе слушателей психологи предложили выделить среди мужчин «реальный» и «идеальный» образы: к первому относятся 99 %, ко второму — 1 %.

отношений, удовлетворяющих женщину, считает она, необходимо выполнение нескольких условий. Прежде всего нужен партнер, наделенный особыми качествами, а именно для такого мужчины характерна *любовь к телу женщины* (стрк. 24—25), из которого *он может извлечь фантастическую музыку* (стрк. 25—26). Такое отношение не обязательно предполагает *духовное родство, близость, интеллект* (стрк. 23). На такие отношения, по мнению нашей информантки, способно лишь небольшое число мужчин. Такого сексуального партнера можно встретить редко и очень редко.

Предлагая свою интерпретацию *правильной* сексуальности, М. продолжает позиционировать себя в отношениях зависимости от сексуального партнера. Таким образом, удовлетворенность сексуальными отношениями связана с тем, найдется ли правильный партнер. Итак, сексуально активная женщина (а именно так мы идентифицировали М. из ее биографии в целом) позиционирует себя как объект, т. е. как реципиент мужской сексуальности. Ее сексуальность зависима от мужских действий, желаний и интерпретаций. Далее исследователь может обнаружить в тексте все фрагменты, в которых женщина позиционирует себя как объект, и проанализировать ее идентичность в таких случаях. Обратимся еще к одному фрагменту интервью и проанализируем его по той же методике.

Фрагмент 2

1 И я их всех учу сексу. Потому что те мужчины, которых я
2 выбираю, которые мне симпатичны, с которыми я продолжаю
3 поддерживать отношения, как правило, сами очень любят
4 поговорить со мной о сексе.

В этом фрагменте М. продолжает репрезентировать свою сексуальную идентичность. Она позиционирует себя как активный агент поля секуальности. Рассмотрим те действия, которые она приписывает себе в этом поле. М. *выбирает сексуальных партнеров, которые ей симпатичны, с ними она поддерживает отношения* (стрк. 1—3). М. позиционирует себя не только как активный агент сексуальной сферы; она выступает как эксперт, обладающий знанием того, что́ составляет смысл истинной сексуальности. Кроме того, она не только эксперт,

знающий, что́ правильно и что́ неправильно (см. фрагмент 1), но и учитель. Она *обучает своих сексуальных партнеров сексу* (стрк. 1). Таким образом, она претендует на доминирующую позицию в сфере сексуальных отношений. Следующим этапом может стать анализ всех эпизодов, в которых М. позиционирует себя как активный и доминирующий агент сексуальных отношений.

Итак, если в первом фрагменте М. описывает себя как объект мужской сексуальности, то во втором — репрезентирует себя как активную, ответственную и доминирующую женщину. Представляется, что презентируемые в данных фрагментах конструкции гетеросексуальной идентичности противоположны. Рассмотрим еще один фрагмент.

Фрагмент 3

1 А он считает, что я злая, коварная, противная, издевающаяся и,
2 вообще, феминистка и, вообще, дрянная баба, которая третирует
3 мужиков, — дьявол в женской юбке. Он себя чувствует
4 несостоятельным. И всякое мое замечание воспринимается им
5 как оскорбление, у него даже на глазах появляются слезы от
6 обиды.

В данном фрагменте М. описывает, как ее воспринимает большинство мужчин, сексуальные отношения с которыми порождают фантастические проблемы. Суть этих проблем заключена в различных интерпретациях сексуальных миров. Конкретный партнер, о котором идет речь в данном фрагменте, является «типичным» представителем 99 % *не могущих и не умеющих доставить женщине радость в сексе* (см. фрагмент 1).

Такой партнер оценивает М. через совокупность негативных характеристик, считает ее *злой, коварной, дрянной бабой, феминисткой* (стрк. 1—3). Причины этого связаны с ее активной позицией и претензией на доминирование: она не только *учит сексу* (см. фрагмент 2), а осуществляет контроль, делая партнеру *многочисленные замечания* (стрк. 4). Такой партнер характеризуется как *чувствующий себя несостоятельным* (стрк. 3—4), как *оскорбленный и обижающийся до слез* (стрк. 5—6).

Итак, активная и доминирующая позиция М. в сексуальной сфере рассматривается партнером как коммуникативный вы-

зов. Анализ третьего фрагмента существенно дополняет наше знание о конструкте сексуальной идентичности М. Ее активная и доминирующая роль в сфере сексуальных отношений порождает конфликт и сбой в коммуникации с большинством сексуальных партнеров. Эти партнеры, понимающие сексуальные отношения как анатомо-физиологический акт, неспособные доставить женщине наслаждение, общаясь с М., ставят под угрозу свое представление о сексуальности.

Таким образом, на примере анализа фрагментов одного интервью мы можем сделать некоторые предположения об основаниях гендерной идентичности информантки. Гендерная идентичность в сексуальной сфере основывается, во-первых, на противопоставлении мужской и женской интерпретации сексуальных отношений. М. относит себя к категории гетеросексуальных женщин, имеющих множественный опыт сексуальных отношений. Она позиционирует себя как женщина, обладающая правильным знанием о сути сексуальных отношений. Женщины и лишь небольшое число мужчин обладают правильным знанием и пониманием сексуальности, которое не разделяется большинством мужчин, считает она.

Во-вторых, анализ интервью показывает, что отношения в сексуальной сфере всегда репрезентируются М. как гендерная асимметрия. Она исходит из того, что во взаимодействии мужчины и женщины, как правило, доминирующую позицию занимает мужчина. Доминирование проявляется в том, что его представление о сексуальных отношениях навязывается партнерше и что ответственность за сексуальную удовлетворенность женщина также возлагает на него. В том случае, когда информантка переопределяет свою позицию и претендует на доминирование во взаимодействии, возникает угроза коммуникативного сбоя для сексуальных партнеров. Итак, сексуальная идентичность М. — эта проблематизированная женская (гетеро)сексуальность, претендующая на изменения правил игры, сложившихся в сфере сексуальных отношений. Возможности этих изменений она видит в приобщении мужчин к *правильному знанию о сексе* путем их обучения. Роль *эксперта* и *учителя* она готова взять на себя. И эта роль делает ее сексуальный опыт проблемным. Это выражается в том, что она демонстрирует свое недовольство отношениями с партнерами и рассказывает о недовольстве партнеров ею. При этом не нару-

шается базовое гетеросексуальное основание гендерного конструкта.

Итак, данный метод анализа текста позволил нам реконструировать некоторые основания гендерной идентичности информантки, которые мы рассматриваем как интерсубъективные. Апробация данной методики показывает, что посредством ее применения мы выстраиваем более информированную перспективу по отношению, в частности, к женской сексуальности и производству гендера в сексуальной сфере. Данную методику можно рекомендовать как «поисковую», когда исследователю предстоит только выявить, какие категории используются участниками взаимодействий для описания той или иной сферы социальной реальности. Данная методика может быть применена для решения конкретных задач, при которых нужно определить, как происходит «строительство» тех или иных сторон мира повседневности, т. е. той реальности, которая «интерпретируется людьми и имеет для них субъективную значимость в качестве цельного мира» (Бергер, Лукман 1995: 38).

Изучение истории семьи как стратегия качественного исследования

(О. Ткач)

Цель статьи — представление генеалогического метода, обсуждение его происхождения, технических сторон его применения в исследованиях и востребованности при изучении современной социальной проблематики. Для этого был обобщен и систематизирован основной методологический и эмпирический материал, накопленный за последние 20—30 лет западными и российскими исследователями семейных историй. В изложении содержательных сторон метода и описании основных полевых и аналитических процедур мы также опирались на собственный исследовательский опыт в области изучения социальных генеалогий.

Стратегия (дизайн) качественного исследования предполагает выработку специфического подхода к изучаемому объекту, задает исследовательскую рамку и определяет выбор соответствующих методов сбора, обработки и анализа эмпирического материала. В современной качественной методологии описывается конвенциональный набор исследовательских стратегий (см., например: Семенова 1998; Denzin, Lincoln 1994). Как правило, генеалогический метод не входит в их число. Можно предложить несколько объяснений в некоторой степени маргинального статуса данного исследовательского подхода.

Во-первых, стратегия изучения истории семьи стала активно применяться в западных и российских социологических исследованиях сравнительно недавно. Всего 15 лет назад, выступая на международном социологическом конгрессе в Мадриде, один из основоположников метода устной истории в Великобритании П. Томпсон с сожалением отмечал, что историки и

социальные исследователи избегают изучения семейных рассказов, незаслуженно считая их тривиальными. Он пишет: «Те же самые социологи, изучающие социальную мобильность, — т. е. люди, для которых передача информации от одного поколения к другому должна быть одной из основных проблем, — упорно не замечают потенциальной ценности рассказов о жизни» (Томпсон 2003б: 113). С начала 1980-х годов формулировались основные принципы данной исследовательской стратегии и происходило ее постепенное включение в репертуар качественной методологии. Вместе с оформлением процедурной стороны генеалогического метода осуществлялись активные поиски его названия.

Исследования семейных рассказов проводились под самыми разнообразными заголовками: рассказ о жизни (life story approach), изучение отдельных семей (case studies of families) и т. д. Современный французский социолог Д. Берто, внесший весомый вклад в развитие метода и его популяризацию в социологии, предлагает именовать его «методом сравнения и интерпретации социальных генеалогий» (social genealogies commented and compared). Тем не менее в отличие от других стратегий, уже ставших классическими, подход, о котором пойдет речь в данной статье, по-прежнему не имеет устоявшегося названия. Такие наименования, как «генеалогия», «генеалогический метод», «метод изучения социальных генеалогий», применительно к исследовательской стратегии можно считать синонимичными. На наш взгляд, наиболее адекватным русскоязычной традиции является перевод «метод изучения истории семьи». С одной стороны, такая формулировка позволяет избежать распространенной терминологической проблемы с использованием калек с английского языка. С другой стороны, перспектива семейных *историй*, в отличие от схематизма генеалогии, фокусирует исследование на *рассказах* о жизни поколений, устном материале, значимом для социолога-качественника.

Второй причиной, в связи с которой методологи предпочитают не рассматривать историю семьи в качестве самостоятельной стратегии, является его междисциплинарность, тесная взаимосвязь с другими исследовательскими подходами и, казалось бы, отсутствие специфического фокуса. Как показывает опыт социологических исследований, генеалогическую ин-

формацию возможно получить с помощью биографического метода, метода устной истории, case-study, этнографического подхода. История семьи может быть реконструирована из материалов биографии и автобиографии. Элементы семейных историй нередко вплетаются в текст интервью, необязательно биографического, составляют часть полевого материала. Между тем растущий интерес современных исследователей к многопоколенной семье как к субъекту трансформации и воспроизводства различных социальных институтов, практик, представлений, значений, правил, а также социальных процессов и отношений, складывающихся в социальных средах, потребовал разработки методологических оснований изучения истории семьи как самостоятельной стратегии качественного *социологического исследования*[15].

Использование генеалогического метода в социологии

Генеалогия представляет собой двойственный феномен. С одной стороны, она образует схему, или карту, многопоколенных родственных связей, с другой — реконструирует прошлое и настоящее семьи в общий нарратив. Каждое из этих измерений родословной может актуализироваться в социальной и исследовательской практике.

Принадлежность к роду или семейному клану является одним из первых исторически сложившихся механизмов социального различения и стратификации. Системы социальной иерархии в традиционных обществах (кастовая и сословная) складывались и воспроизводились преимущественно по родовому, т. е. генеалогическому (наследственному), принципу (Радаев, Шкаратан 1996: 51–52). Родовая закрепленность социальных прав и обязанностей в подобных системах способствовала тому, что социальные генеалогии использовались в

[15] Метод изучения истории семьи не следует напрямую отождествлять с социологией семьи. В первом случае речь идет о методологическом подходе к исследованию, во втором — об одной из отраслевых социологий. Метод изучения генеалогий, безусловно, может быть применен к изучению проблематики социологии семьи, но не ограничивается им (см. ниже).

качестве правового механизма (генеалогия по мужской линии как инструмент установления права на наследование и собственность). В то же время генеалогические данные традиционно представляли собой материал для фиксации, а позже — для изучения демографических процессов (рождаемости, смертности, миграции и т. д.).

Этнографы и социальные антропологи одними из первых признали феномен родства достойным социального исследования. Более того, родоплеменные сообщества стали основным объектом их исследования. Для основателей антропологии родства — К. Леви-Стросса, А. Рэдклиф-Брауна, Б. Малиновского — представляли интерес семейные структуры племенных сообществ в Африке, Танзании, Бразилии и Австралии[16]. Неудивительно, что для структуралистов и последователей структурно-функционального анализа генеалогии оказались заманчивым предметом исследования, поскольку они легко подвергаются формализации, наглядному табличному или схематичному изображению[17]. В фокусе исследований антропологов оказались семейные кланы, браки, системы и термины родства. Они также обращали внимание на взаимосвязь родственных структур и структур мифологического мышления. Этот аспект в изучении семейных генеалогий не утратил свою привлекательность и для современных исследователей.

Именно от структуралистской традиции культурной антропологии отталкивался П. Бурдье, когда изучал систему родства кабилов (Алжир). Однако его подход к исследованию имеет существенные отличия. Он рассматривает генеалогию не как «состоявшийся факт» или схематическое изображение родственных связей на бумаге, а как «продукт стратегий, направленных на удовлетворение материальных и символических ин-

---

[16] Наиболее известные работы отцов-основателей социальной антропологии, посвященные анализу систем родства и брачных правил в племенных сообществах: «Семья среди австралийских аборигенов» (1913) Б. Малиновского; «Социальная организация австралийских племен» (1930–1931) А. Рэдклиф-Брауна; «Элементарные структуры родства» (1949) К. Леви-Стросса.

[17] Например, исследования петербургского социолога О. Божкова посвящены сбору, формализации и компьютерной обработке деревенских генеалогий (см.: Божков 1998, 2001; Божков, Боголюбов 2002).

тересов» родственного клана. С точки зрения Бурдье воспроизводство рода и защита его интересов осуществляются «с помощью постоянной работы по установлению привилегированной сети практических связей», которая включает совокупность действующих генеалогических связей (практического родства) и негенеалогических (практических) связей, «мобилизуемых для ежедневных житейских потребностей» (Бурдье 2001: 325). Описываемые связи поддерживаются в повседневном взаимодействии, в том числе посредством материальных и символических обменов между поколениями. Практическая значимость генеалогии, задающей систему социальных координат обитателей алжирской деревни, требует реализации многочисленных стратегий (например, матримониальных) ее воспроизводства и обогащения ресурсами. Логика и концептуальный аппарат изучения генеалогических связей с точки зрения теории практик были активно востребованы при разработке метода изучения истории семьи в социологии.

Генеалогия как *рассказ* о семейном прошлом становится предметом научных исследований в рамках исторической науки. В XVII—XVIII веках она оформилась в особый раздел истории, который принято называть вспомогательной, или специальной, исторической дисциплиной, изучающей родословие (Современный словарь... 2001: 143), а точнее — происхождение, историю и родственные связи родов и семей. Историки того времени, как правило, имели дело с родословными аристократических фамилий. Развитие социальных наук перевело исследования родословных в более демократичное русло, когда «хроники царствований дополняются жизненным опытом простых людей» (Томпсон 2003а: 20). Этот новый импульс в изучении генеалогий и семейных историй связан со становлением с середины XX века социальной истории, *устной истории, исследований культурной памяти, воспоминаний прошлого.* Наиболее известными специалистами в этой области считаются такие исследователи, как П. Томпсон (Великобритания), А. Портелли (Италия), Я. Вансина (Бельгия), Т. Харевен (США) и др.

В США устная история, или «история снизу» (history from below), развивалась на волне постколониальных исследований и фокусировалась на изучении жизни ранее «невидимых» и исключенных из истории женщин; искателей приключений и

авантюристов, не имевших корней; сирот и усыновленных детей; других маргинальных, дискриминируемых групп населения: мигрантов, переселенцев и т. д. История, написанная из перспективы «простого» человека или маргинала, призвана переинтерпретировать общенациональный исторический нарратив и восполнить белые пятна истории. Например, исследования генеалогий афро-американцев позволили реконструировать социальную историю рабства в США (Watson 2001: 361–362)[18]. Попытка написания женской истории (her-story) принадлежит последовательницам феминизма. Этот политический и исследовательский проект, возникший в США и Западной Европе в 1970-х годах, иногда называют «феминистской историей». Целью его сторонников было создание на основе воспоминаний и рассказов женщин новых измерений и смыслов истории, переосмысление иерархии публичного и приватного в исторических процессах[19].

Классической работой в области устной истории считается исследование Т. Харевен «Время семьи и время промышленности» (Харевен 2003; Hareven 2000). Оно посвящено изучению истории одной из прядильных фабрик Манчестера с 1830-х годов до ее закрытия в 1936 году. Харевен реконструировала историю компании по заводским документам (личным делам персонала; домовым книгам многоквартирных домов, сдаваемых компанией рабочим; письмам рабочих к руко-

[18] Одним из первых и наиболее влиятельных в этом направлении стало исследование А. Хейли «Корни» (Haley 1976). По архивным материалам и устным свидетельствам африканских сказителей ему удалось восстановить прошлое своей семьи — чернокожих рабов американского Юга. Книга была переведена на 37 языков, а ее тираж составил более чем 12 миллионов экземпляров.

[19] Первые крупные публикации, нарушившие «вековое молчание»: Bloom 1980; Gluck 1976; Rowbotham, McCrindle 1977. Социальный эффект этого направления достигается посредством образовательных практик (феминистской педагогики). Например, современная венгерская исследовательница А. Пето проводит практические занятия по написанию и осмыслению женской истории. На семинарах обсуждаются истории жизни женщин-родственниц, лично повлиявших на участниц семинара, оценивается соотношение канонизированной общей истории и историй родственниц, проводятся сравнения. О данной образовательной программе см.: Peto, Waaldijk 2002.

водству компании и т. д.) и по устным источникам (биографическим интервью с рабочими и членами их семей). Исследовательница, в частности, приходит к выводу о том, что расширенные (в том числе многопоколенные) семьи в рабочей среде являлись поставщиками рабочих-мигрантов на фабрику, и они же в конечном итоге сыграли роль страховочной сети для рабочих в ходе постепенного свертывания производства.

В отличие от устных историков социологи нацелены не только на реконструкцию социальной истории и семейного прошлого, но и на поиск их связей с жизненными сценариями представителей ныне живущих семей. Основные принципы метода изучения истории семьи в социологии были разработаны в рамках *исследований социальной мобильности и социального воспроизводства*. Традиционные американские и британские исследования социальной мобильности опирались на количественные опросные методы (см., например: Blau, Duncan 1967; Glass 1954; Goldthorpe 1980; Hauser, Featherman 1977; Heath 1981; Lipset, Bendix 1967; Steward et al. 1980). Примерно с конца 1970—начала 1980-х годов последователи качественной парадигмы в социологии критикуют ограничения традиционного подхода к изучению мобильности и формулируют ряд аргументов в пользу обращения к семейным историям[20].

· Количественный подход к исследованию социальной мобильности применим не во всех обществах. Он релевантен для гомогенных обществ со стабильными социальными структурами и для достаточно открытых индивидуализированных обществ или их сегментов, где социальная мобильность осуществляется в виде преимущественно индивидуальных траекторий. С точки зрения Берто традиция изучения мобильности количественными методами неприменима для европейских обществ, в том числе французского. Он полагает, что в Европе, в отличие от Северной Америки, семьи и семейные связи, а не индивиды образуют систему социальной стратификации и что они должны представлять собой объект для исследований мобильности. Исходя из того что общество состоит не из ато-

[20] Детальный анализ основных количественных подходов к исследованию социальной мобильности в социологии, их сильных и слабых сторон представлен в статье М. Сэвэйджа «Социальная мобильность и опросный метод: критический анализ» (Savage 1997).

мизированных индивидов, а из семей, исследователи социальной мобильности не могут игнорировать семейные интеракции, отношения и процессы. Динамика процессов межпоколенческой мобильности может быть изучена лишь с применением качественных методов. Например, таблицы, показывающие воспроизводство рабочего класса, совершенно не отражают тех усилий, которые были приложены родителями для того, чтобы их дети не утратили этот статус (Bertaux 1994: 89–96).

· Социальное положение не ограничивается профессиональной принадлежностью индивида и включает самые разнообразные измерения, например: уровень образования, брачный статус, культурный уровень, жилищные условия, тип поселения и т. д. Соответственно изменение социального статуса понимается шире, чем в количественных исследованиях.

· В фокусе исследования социальной мобильности должна находиться вся семья включая женщин, братьев и сестер (siblings), а не только главы семей и их сыновья. Необходимо учитывать роль женщин в воспитании детей и передаче семейных традиций, исследовать их собственную профессиональную культуру.

· Исследования социальной мобильности не должны быть сконцентрированы исключительно на представителях среднего класса и исключать из поля зрения маргинальные группы (например, мигрантов).

· В исследованиях социальной мобильности необходимо учитывать исторический и культурный контексты, в которые погружены индивиды и семьи.

Наиболее известным, уже ставшим классическим, исследованием с применением генеалогического метода считается изучение ремесленного хлебопечения во Франции, предпринятое Д. и И. Берто[21]. Ученых заинтересовал тот факт, что в современной Франции, развитой (пост)индустриальной стране, сохраняется архаичная форма хлебопечения, когда 95 % хлеба изготавливается вручную. Проект был нацелен на выяснение

[21] Исследование было проведено в 1980-х годах, и стало очень популярным. На сегодняшний день по результатам этого проекта только на английском и русском языках опубликовано более десятка статей. Наиболее известные из них: Берто, Берто-Вьям 1992; Bertaux, Bertaux-Wiame 1981, 1997.

причин сохранения и воспроизводства мелких пекарен, понимание логики развития ремесленного хлебопечения. На основании интервью с представителями этого бизнеса исследователи реконструировали несколько десятков семейных историй. Анализ собранного материала позволил сделать интересные выводы. Многовековое воспроизводство ремесленного хлебопечения во французских городах основывается не столько на межпоколенческом наследовании материальной составляющей семейных предприятий, сколько на традициях рекрутирования новой рабочей силы из семейного окружения или подмастерьев, на воспитании у детей специфического отношения к труду, а также на исторически сложившейся системе гендерного разделения труда в семьях хлебопеков. Однако ключевым ресурсом, позволяющим семейному предприятию не только воспроизводиться, но и успешно адаптироваться к рынку, является «наследование» пекарями сетей потребителей-клиентов, т. е. тех покупателей, которые традиционно, из поколения в поколение приобретают хлеб в одной и той же пекарне. Оказывается, что вне зависимости от исторической эпохи именно постоянная клиентура «воспроизводит» ремесленное хлебопечение. Иными словами, не ремесленник наследует свое дело, а пекарня наследует своих работников.

Исследование Д. и И. Берто заслужило известность и признание не только благодаря своим содержательным выводам, касающихся профессиональной среды французского ремесленничества, но и благодаря методологии, которой придерживались ученые. В 1994 году в журнале «Инновация» вышла статья Д. Берто «Семьи и мобильность: европейский опыт», которую принято считать программным текстом для исследователей, обращающихся к методу изучения социальных генеалогий.

Содержание метода: фокус исследования и основные термины

Стратегия изучения социальных генеалогий предполагает рассмотрение проблем социальной стратификации и мобильности в перспективе (многопоколенной) семьи, семейных связей и отношений («family-based» perspective). Основная идея метода состоит в прослеживании роли семьи и семейных связей в передаче статусных характеристик ее представителей из поколения в

поколение. Изначальная посылка, которую формулируют создатели данного подхода, заключается в том, что «семейные мифы, модели развития семейных отношений, семейные традиции и отрицание этих традиций... составляют для большинства людей тот контекст, в котором они должны сделать свой собственный, решающий выбор в жизни, и именно они и толкают их на тот или иной жизненный путь» (Томпсон 2003б: 144—145).

Единицей анализа в исследовании является история семьи. Однако под семьей в данном случае понимается не нуклеарная семья, а сеть родственных отношений, которая может быть неограниченной как во времени, так и в пространстве (Bertaux 1994: 97). Исследователи обращают внимание на социальный и культурный аспекты изучения истории семьи. В социальном смысле семья — это «сеть индивидов, связанных родством, включающая три или более поколений». В свою очередь, «культурный образ» семьи «конструируется как реальными, ныне живущими индивидами, так и их легендарным происхождением» (Bertaux, Thompson 1993: 2). В семейной истории может описываться жизнь представителей нескольких поколений, и этих персонажей может быть более сотни. Таким образом, в рамках данной стратегии семья рассматривается, с одной стороны, как единое целое, как воображенная социальная «группа», с другой — как последовательность поколений и совокупность индивидуальных биографий. В конкретном исследовании данная «методологическая диалектика» разрешается в зависимости от его целей и задач.

Согласно Берто, межпоколенческое воспроизводство осуществляется на нескольких уровнях:

— на уровне внутрисемейных процессов (социализация, передача культурных и моральных ресурсов из поколения в поколение);

— на уровне соревновательного взаимодействия семей, конкурирующих за материальные и политические ресурсы повышения социального статуса и социального капитала детей;

— на уровне институциональных условий, социального контекста, правил игры, которые предписаны семьям извне (Bertaux 1994: 96—97).

Все эти социальные процессы, касающиеся семей, взаимосвязаны. В поисках аналитических инструментов, позволяющих увязать в реконструированных семейных историях уровни

структурных условий и повседневных практик, исследователи формулируют концепции межпоколенческой трансмиссии и семейной траектории.

Межпоколенческая *трансмиссия* (трансляция, передача) — один из терминов, входящих в тезаурус данного метода. Семья как последовательность поколений является важным каналом трансмиссии (т. е. межпоколенческой передачи опыта) в виде знаний, установок и практик. Из поколения в поколение в семьях передаются знание языка, фамилии, религиозные представления, материальные и нравственные ценности, взгляды на жизнь, профессиональные установки, социальные предрассудки и страхи, стили поведения, отношение к телу, модели родительства и брака и т. д. По мнению Берто и Томпсона, все эти «унаследованные» социальные компоненты представляют собой «конденсацию опыта, характеризующего определенную классовую группу» (Bertaux, Thompson 1993: 1) или социальную среду, т. е. то, что Бурдье называет хабитусом. Под трансляцией семейного опыта понимается не прямой переход какого-либо ресурса семьи к следующему поколению, а трансформация этого ресурса в условие действия члена семьи (например, используется капитал связей отца, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, или умение вязать, полученное от бабушки, дает внучке возможность дополнительного заработка). Примеры восприятия внутрисемейного наследуемого опыта или дистанцирования от него в целях самосохранения индивида задают основную динамику процесса трансмиссии.

В результате межпоколенческих трансмиссий на уровне социализации, социальных и институциональных взаимодействий формируются индивидуальные и семейные социальные *траектории*. Под семейной социальной траекторией понимается последовательная смена социальных статусов семьи как непрерывности поколений (Берто, Берто-Вьям 1992: 106), траектория перемещения семьи в социальном пространстве. Концепция семейной траектории позволяет осмыслить преемственность и изменчивость социальных статусов, ресурсов, жизненных шансов семьи в зависимости от изменяющегося контекста. Генеалогический метод фокусирует внимание не только на семейных, но и на индивидуальных траекториях. Он нацелен на получение знаний о том, каким образом под влиянием различных внутрисемейных процессов и исторических условий формируются

жизненные траектории индивидов и их родственников, образующих семейные связи и семейные истории.

Семья как преемственность поколений аккумулирует, конвертирует, воспроизводит и передает через поколения разнообразные семейные *ресурсы* (капиталы). Наличие ресурсов обусловливает разнообразные *стратегии* семейного воспроизводства, которые в свою очередь способствуют дальнейшему накоплению и циркуляции капиталов в семье. Социальные траектории индивидов и семей разворачиваются посредством реализации тех или иных стратегий. Таким образом, понятия «семья», «поколение», «трансмиссия», «траектории, ресурсы и стратегии» представляют собой основной аналитический инструментарий рассматриваемого подхода.

Сбор и обработка эмпирического материала: этапы, методы, репрезентативность

Изучение истории семьи предполагает последовательное выполнение ряда универсальных исследовательских процедур: полевой работы, обработки эмпирического материала, анализа полученных данных. Рассмотрим, каким образом организуются эти исследовательские шаги в соответствии с описываемой стратегией (см.: Bertaux 1994: 96—98).

Шаг первый: сбор биографической информации о представителях как минимум трех-четырех последних поколений семьи. История семьи, т. е. рассказ, повествование, — это коллекция взаимосвязанных биографий членов семьи, которая собирается как из устных, так и из письменных и других визуальных источников и затем складывается в единое полотно. Полевая работа проводится с применением двух основных методов: биографического или проблемноориентированного *интервью и анализа документов.*

В рамках рассматриваемой стратегии правильнее было бы говорить *о серии интервью и бесед* с представителями нескольких поколений семьи для получения многопоколенческой перспективы в рассказах. Берто предлагает интервьюировать как минимум двух, а предпочтительно трех и более информантов — представителей каждого поколения. Как правило, социолог сначала знакомится с одним из членов семьи, который, вероятнее всего, становится «проводником» (т. е. представляет ис-

следователя другим родственникам) и ключевым информантом, поскольку располагает наиболее глубокими знаниями истории семьи. Такой центральной фигурой генеалогии (эго) преимущественно становится представитель среднего поколения, в биографии которого пересекаются жизненные пути родственников по восходящей и нисходящей линии.

Как показывает практика, интервью в рамках данной стратегии могут быть как индивидуальными, так и парными, и даже групповыми, когда в них участвуют несколько членов семьи[22]. Предполагается, что каждый член семьи повествует не только о своей жизни, но и о жизни своих родственников (предках, родителях, братьях и сестрах, мужьях и женах, детях и племянниках), а также о взаимоотношениях с ними, об их роли в жизни рассказчика и семьи в целом. Взгляд на семейную историю изнутри и собственный жизненный опыт информанта дополняют его описания и интерпретации культурного и исторического контекстов, сопровождающих жизнь каждого поколения. Применение генеалогического метода в исследовании требует от социолога исторических знаний, знакомства с локальным контекстом, что позволяет грамотно построить беседу с представителями нескольких поколений семьи. Путеводитель интервью с членом семьи должен содержать блоки, касающиеся истории рода, биографии рассказчика и современного этапа семейной траектории[23]. В процессе беседы эти темы, как прави-

[22] Поскольку интервью с членами семьи, как правило, проводятся дома у информантов, избежать присутствия родственников оказывается достаточно сложно. Пытаясь соревноваться за звание «экспертов» в области семейной истории, информанты стремятся уточнять, дополнять и исправлять друг друга. Преимуществом подобной организации интервью является возможность получить более четкую, выверенную фактологическую канву семейной истории; недостатком же служит то, что в процессе коллективного интервью нарушается диалог информанта и интервьюера, рассказчики могут перебивать друг друга, чрезмерно концентрируясь на деталях. На наш взгляд, если интервью с несколькими информантами избежать не удается, желательно, чтобы они, по крайней мере, принадлежали к одному поколению.

[23] Примером путеводителя интервью, позволяющего получить информацию о нескольких поколениях семьи, может служить «Руководство по биографическому интервью», детально разработанное П. Томпсоном (см.: Томпсон 2003а: 304–318).

ло, пересекаются. Например, у информанта, рассказывающего о переезде в другой город, желательно узнать, кто был инициатором переезда, как к этому отнеслись его родители, были ли им востребованы социальные сети семьи, как в дальнейшем складывались семейные отношения и т. д.

Ретроспективный взгляд является как сильной, так и слабой стороной данного метода. В исследованиях, связанных с изучением родословия, способны участвовать лишь те информанты, которые готовы поделиться своими воспоминаниями, познакомить социолога со своей семьей, с интимными (не всегда лицеприятными) подробностями семейной истории. Кроме того, исследователь ограничен доступом лишь к тем информантам, которые дожили до наших дней. В рассказах современников о жизни прошлых поколений он рискует обнаружить большое количество белых пятен. Следовательно, специфика полученных данных определяется тем объемом знаний, которыми обладают члены семьи, а также объемом семейной памяти, доступной интервенции извне.

Метод *анализа документов* в некоторой степени позволяет компенсировать ограничения устных воспоминаний, а также верифицировать данные, полученные в ходе интервью. Документы, образующие семейный архив, могут быть неформальными личными (мемуары, дневники, фотографии, семейное видео и т. д.) и официальными личными (трудовые книжки, грамоты, дипломы и т. д.). В зависимости от целей и задач исследования в фокусе интересов социолога могут также оказаться официальные документы, беллетристика, визуальные материалы (газетные публикации, книги, фильмы, плакаты, картины и т. д.), связанные с публичной репрезентацией семейных историй[24].

Работа с документами и интервьюирование требуют неоднократных встреч исследователя с членами семьи, в том числе для

[24] Изучение проблем, связанных с политикой публичных репрезентаций генеалогии, имеет смысл для более глубокого понимания тех институциональных условий, официального дискурсивного поля, идеологического контекста, в которые погружена семья. О публичных репрезентациях генеалогий и семейных историй в советский и постсоветский период см., например: Лукеренко 2004; Непомнящая 2004; Орлова 2004; Прохоров 2004; Савкина 2004; Ткач 2003.

коррекции и уточнений собранного материала. Серьезным методологическим затруднением при использовании рассматриваемой исследовательской стратегии является вопрос о том, какой объем информации об истории семьи следует считать достаточным. На наш взгляд, эта проблема стоит в ряду тех вопросов, по поводу которых постоянно ведут дискуссии социологи-качественники: что следует считать биографией, исследовательским случаем, единицей наблюдения и т. д. Разрешение этих вопросов зависит от целей и задач исследования. Историю семьи можно считать насыщенной, если из рассказов информантов и документальных источников синтезируется логика семейной траектории. Погружение в многовековую генеалогию и скрупулезная детализация биографий боковых родственников в рамках социологического исследования, как правило, излишни.

Шаг второй: объединение всех собранных историй жизни в общий нарратив и написание семейной истории. С учетом того, что случай одной семьи может быть представлен в виде десятка интервью, материал, полученный в результате полевой работы, оказывается достаточно объемным. В целом исследователь располагает двухуровневой генеалогической информацией: 1) биографическими данными о каждом персонаже, образующими фактологическую канву семейной истории (время и место рождения членов семьи, образовательные и карьерные линии в их жизни, смена местожительства, заключение браков и рождение детей, другие важные для рассказчиков события); 2) интерпретациями и рефлексией по поводу того, каким образом и почему оформлялись эти жизненные траектории.

Обработка материала начинается с систематизации фактической информации. Для этого исследователь реконструирует историю семьи из собранных рассказов. В ее первой, подробной, версии идентифицируется каждый персонаж семейных рассказов, прослеживаются родственные связи; возрасты, даты и места происшедших событий соотносятся с историческим контекстом. Реконструкция семейного (генеалогического) древа в виде схем семейных связей с указанием хронологической линейки и социальных статусов членов семьи помогает наглядно представить материал. Вот как выглядело генеалогическое древо семьи Тэрнуар, историю которой изучали Д. и И. Берто (см.: Bertaux, Bertaux-Wiame 1997: 68).

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

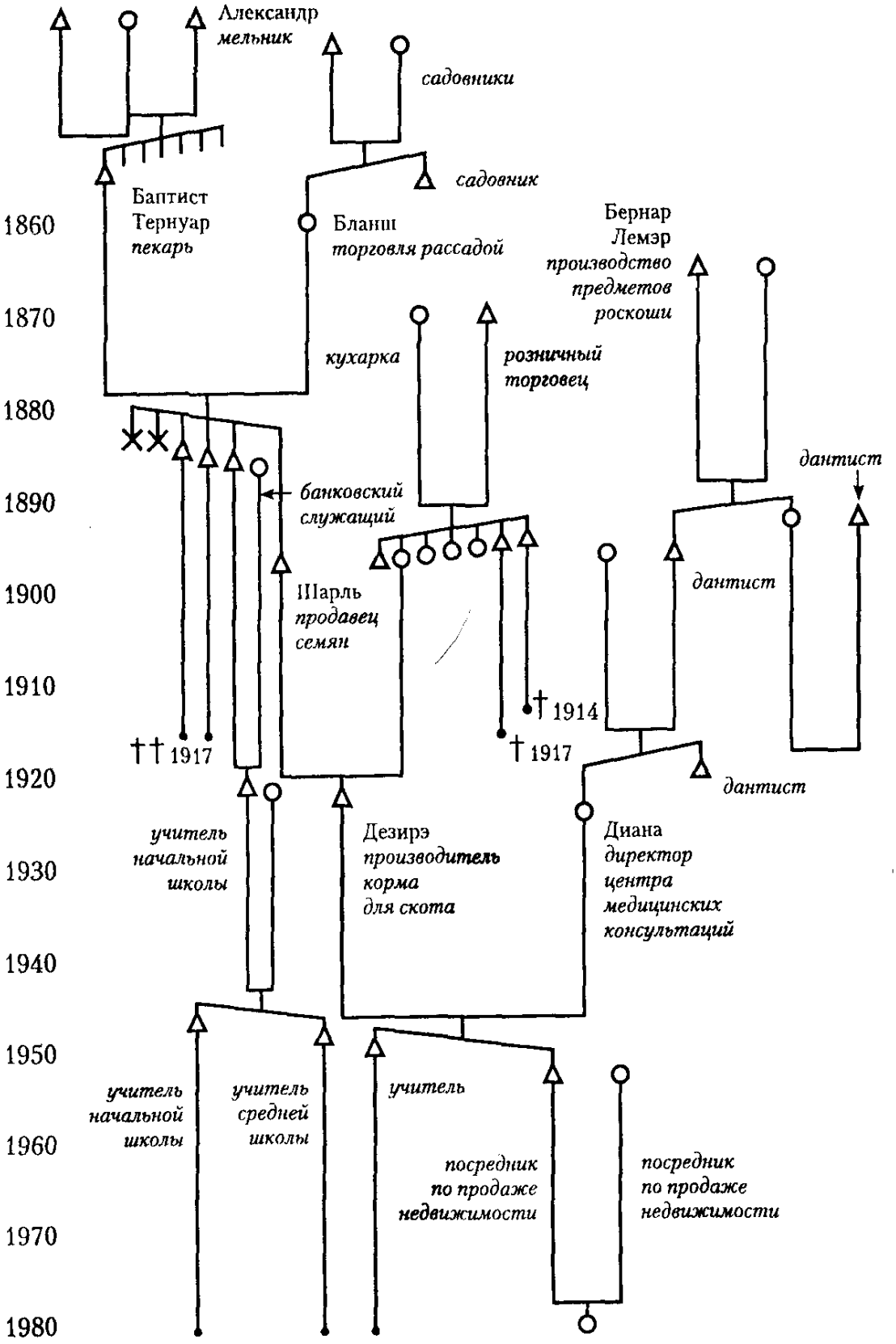

Рис. 1. Социальная генеалогия рода Тернуар

Информацию об основных персонажах семейной истории удобно оформить в виде таблицы.

Приведем пример:

Семья Ивановых, Николай, 1940 г. р., пенсионер:

Год	*Возраст*	*Событие*	*Комментарии, интерпретации событий*
1959	19	Отчисление из университета за неуспеваемость	Оценивает как освобождение, как возможность устроиться на работу и зарабатывать деньги
1976	36	Повышение по службе, был переведен на должность начальника отдела	Переживает как начало распада семьи: реже бывает дома, теряет контакт с женой (Татьяна, 1936 г. р.) и детьми (Сергей, 1960 г. р.; Ольга, 1962 г. р.).

Вторая версия истории семьи представляет собой сокращенный, сжатый вариант первой версии и содержит ключевой материал, необходимый для дальнейшего анализа, для восстановления микрологики семейного развития.

Шаг третий: анализ случая (семьи). На данном этапе реконструируется социальная траектория одной семьи. Предполагается, что исследования одного случая может быть достаточно лишь для описания общих тенденций образования той или иной семейной траектории, для выявления ресурсов, важных для воспроизводства или изменения социального статуса семьи или ее представителей. Обобщение на материале одного конкретного случая может претендовать на создание гипотез и с определенной степенью приближения позволяет делать общие выводы относительно социальных процессов, происходящих в определенной социальной среде. (А)типичность случая для данной социальной среды определяется в соотношении с траекториями других семей, представленных в выборке.

Шаг четвертый: сравнение случаев, построение типизаций. Сравнительный анализ нескольких исследованных случаев позволяет делать некоторые обобщения относительно социальных явлений и сред. Важно задать четкие основания для сравнения: например, занятость нескольких семей в одной

корпорации либо принадлежность предков в третьем поколении к одному и тому же социальному слою. Подобные точки отсчета позволят ретроспективно проследить траектории семей в рамках того или иного локального и исторического контекста.

Этапы анализа и презентации данных

Концептуализация данных, полученных с помощью качественных методов, требует от исследователя не только знания техники анализа, но и социологического воображения, видения социологического смысла собранного материала. Метод изучения социальных генеалогий не является исключением. Как правило, исследователи семейных историй не располагают готовыми аналитическими схемами, которые следует применять на этапе сравнений и построения типизаций. Томпсон предложил один из возможных вариантов концептуализации процессов передачи семейной традиции от одного поколения к другому. Он применяет два подхода к проблеме.

- В рамках первого подхода, возникшего под влиянием работ Бурдье, предполагается выяснить, какие аспекты материального и культурного капитала семьи могут передаваться через поколения и каким образом это происходит. Особое внимание, по мнению исследователя, стоит уделить межпоколенной передаче социальных связей и контактов, а также семейных преданий и мифов. Томпсон предполагает, что «сакральная» сфера семейных легенд описывает пространство культурных «инстинктов», неосознаваемых механизмов воспроизводства опыта предков в биографии потомков. Он фокусируется на вопросах о том, какие темы мифологизируются в семейном нарративе, каким образом эти мифы воспринимаются (воспроизводятся или корректируются) каждым последующим поколением и т. д.

- Согласно второму подходу, который основывается на интеракционизме и теории социальных ролей, семья исследуется как система переплетающихся в нескольких поколениях социальных и эмоциональных отношений. Эмоциональные оценки брачных, родительско-детских отношений, историй болезни и алкоголизма, успехов и разочарований и других событий семейной истории представляют собой материал для

изучения тех возможностей и ограничений, которыми обладают семейные ресурсы, и тех жизненных шансов, которые они предоставляют членам семьи.

Генеалогии исследуются также в гендерной перспективе: межпоколенческие трансмиссии по мужским и женским линиям, а также между мужчинами и женщинами осуществляются по различным принципам (см., например: Thompson 1997: 32—61). Они имеют разную динамику, основываются на отличных по силе и насыщенности семейных связях, могут быть явными и скрытыми и зависят от семейных гендерных статусов. Вследствие этого направленность социальной мобильности и ее смыслы для мужчин и женщин — представителей одного рода — образуют самостоятельные сферы для интерпретаций.

Предлагаемые подходы к анализу семейных историй основываются преимущественно на идеях «внутрисемейного детерминизма» (преемственности занятий, брачных моделей, стилей поведения и т. д.), которые распространяются в том числе и на возможности, не реализованные членами семьи. Структуралистский акцент, основанный на предсказуемости и заданности индивидуальных и семейных траекторий и их экстраполяции на последующие поколения, значительно ограничивает познавательные возможности стратегии изучения истории семьи. Вместе с тем траектории могут представлять собой кривые, ломаные и разорванные линии, а в социальных генеалогиях можно обнаружить факторы, влияющие на жизненные выборы и шансы членов семьи, которые нельзя объяснить с точки зрения теории рационального действия и практической логики. Метод изучения социальных генеалогий актуализирует роль памяти в конструировании социальной реальности. В перспективе индивидуальной и семейной памяти некоторые феномены могут получать самые неожиданные интерпретации и оценки.

Многообразие тем, ракурсов и связей, возникших в результате изучения генеалогий, требуют от социолога поиска интересной, оптимальной формы подачи материала, не перегружающей текст[25]. Как показывает профессиональная практика,

[25] Полевой и аналитический материал исследователя семейных историй может составить сотни страниц реконструированных биографий и генеалогий, а также сформулированных в результате концепций социальных траекторий.

возможны несколько вариантов построения публикации, основанной на семейных историях. Иногда основные результаты и темы исследования излагаются на примере одного, наиболее яркого, семейного случая (см., например: Берто, Берто-Вьям 1992). Возможна также иная организация текста, когда несколько случаев семейных траекторий рассматриваются параллельно (см.: Marcus, Hall 1992). Их расположение на одной хронологической линии позволяет увидеть взаимосвязь внутрисемейных процессов и исторического контекста, а также фокусирует внимание на контрастных семейных случаях, на вариативности траекторий. В случаях когда в генеалогиях четко прослеживаются линии наследования и формирующие их семейные ресурсы и механизмы, возможна тематизация семейных историй, которая наглядно демонстрирует специфику случая. Творческий подход к упорядочиванию данных позволяет исследователям изобретать и другие формы их презентации.

Обзор исследовательских направлений, фокусирующихся на изучении семейных историй

Описанные выше этапы и процедуры исследования семейной истории представляют собой общую схему, разработанную преимущественно в процессе апробации нового, качественного, подхода к изучению социальной мобильности и воспроизводства. Вместе с тем рассматриваемая стратегия задает исследовательскую рамку для анализа самых разнообразных социальных процессов и сред. В данном разделе мы рассматриваем несколько связанных между собой направлений и тем, для разработки которых релевантно применение метода изучения семейной истории или его отдельных принципов и элементов. Некоторые из направлений иллюстрируются примерами современных социологических исследований.

Изучение маргинальных и исключенных групп, мигрантов, «андеркласса». Исследование социальной мобильности и воспроизводства указанных групп возможно лишь с применением качественной методологии. Ввиду труднодоступности данного поля даже единственный случай представляет собой незаменимый материал, демонстрирующий ломаные, разорванные и

нисходящие социальные траектории, а также стратегии семейного воспроизводства в условиях недостатка ресурсов. Последний тезис иллюстрирует исследование, проведенное Берто, в котором реконструировалась социальная траектория семьи, проживавшей в Квебеке; на протяжении нескольких поколений средством существования этой семьи было социальное пособие (Томпсон 2003а).

Гендерная проблематика в семейных историях, социология семьи. В настоящее время метод изучения истории семьи становится востребованным в российских женских исследованиях (women's studies). В семейных историях, рассказанных женщинами и о женщинах, исследователей интересуют такие темы, как отношения между матерями и дочерьми; женская дружба и любовь; совместная работа женщин; образование женских социальных сетей; забота о детях; сексуальность; техники ведения домашнего хозяйства; роль женщин в формировании жизненных траекторий мужчин и детей и т. д. Реконструкция матрилинейных генеалогий предоставляет материал для изучения трансформаций в сфере сексуальных практик и норм сексуальности, практик материнства, жизненных шансов женщин разных поколений.

Генеалогический метод расширяет сферу исследований социологии семьи. Томпсон пишет: «Роль мужа и жены, воспитание девочек и мальчиков, эмоциональные и материальные конфликты, зависимость, проблема отцов и детей, ухаживание, сексуальное поведение в браке и вне его, предохранение от беременности и аборты — все эти проблемы (до недавнего времени. — *Авт.*) были тайной за семью печатями» (Томпсон 2003а: 20). Рассматриваемый метод обнаруживает эти аспекты семейной жизни на микроуровне повседневных взаимодействий в исторической перспективе. Возможности метода позволяют гибко подходить к определению родства, включая в исследования разные типы семей (нуклеарные, неполные, гомосексуальные и т. д.), и прослеживать трансформации семейных ролей, гендерных и родительско-детских отношений в них.

Исследование процессов социальной трансформации. Данное направление современных социальных исследований приобрело большую популярность в связи с оживлением биографической работы в постсоциалистических обществах, а также в свя-

зи с реабилитацией генеалогических исследований и семейной памяти.

В начале 1990-х годов группа московских социологов совместно с Д. Берто провела исследование «Век социальной мобильности в России», в рамках которого было собрано и проанализировано около 100 социальных генеалогий москвичей (см.: Семенова, Фотеева 1995). Основной задачей проекта было изучение советской социальной истории, а также механизмов адаптации людей к постсоветским социальным изменениям в обществе и формирования современной российской идентичности. Реконструируя истории крестьянских, номенклатурных семей, семей интеллигентов, а также судьбы бывших дворянских и купеческих семей, исследователи пытались выяснить, какими «правилами игры» определялась жизнь советского человека, какие стратегии вели к жизненному успеху и восхождению по социальной лестнице, а какие, напротив, — к нисходящей мобильности. Исследуя социальные возможности семей в современных условиях, исследователи приходят к выводу о постепенном «растворении» советской культурной модели, которая формировалась в советском дискурсе.

Метод изучения истории семьи является незаменимым при исследовании социальной истории сообществ, классов, сословий. Например, ретроспективный анализ семейных историй потомков российских дворян позволил изучить индивидуальные и коллективные стратегии ассимиляции и «растворения» представителей сословия в послереволюционном классовом обществе (см.: Чуйкина 2006).

Исследование семейных социальных сетей. В рамках данного направления могут изучаться всевозможные типы практических связей и отношений в многопоколенной семье. Интерес представляют экономические и эмоциональные функции родственных сетей и формальные институты, которые они компенсируют; роль родственных отношений в повседневности и ритуалы, связанные с поддержкой этих отношений. Проект, посвященный изучению роли бабушек в российских семьях, может служить примером подобного исследования (см.: Семенова 1996).

В *исследованиях семейной памяти* социологи и устные историки фокусируются на передаче из поколения в поколение моральных принципов и ценностей, культурных ресурсов, спо-

собах конструирования семейной истории (создание семейного архива, передача семейных преданий, рождение тайн и т. д.). Этот генеалогический материал позволяет исследовать механизмы формирования семейной, родовой, этнической, классовой идентичности (см.: Бредникова 1997; Разумова 2004; Semenova 2000).

Исследования различных многопоколенных семейных проектов: династий, семейного бизнеса и наследования (см., например: Lima de 2000; Marcus, Hall 1992; Seymour 2001), включая проблемы неформальной и теневой экономики. Предметом исследования в данном направлении могут быть механизмы передачи традиционной семейной профессии из поколения в поколение; принципы функционирования семейных проектов; причины их успешности/неуспешности; соотношение домашнего и рабочего пространств в жизни членов семей и т. д.

Примером исследования в рамках данного направления является изучение рабочих династий в советском и постсоветском контексте. Под рабочей династией понимается несколько поколений родственников, работающих на одном промышленном предприятии. Мы прослеживаем социальную траекторию советской рабочей династии из перспективы институциональных условий и внутрисемейных процессов. Советский этап семейной траектории интересен тем, что он представляет, каким образом потомственные рабочие вписывались в предложенный «сверху» сценарий «образцовой» семьи и официально ожидаемых моделей поведения, а также вырабатывали стратегии, обеспечивающие доступ к ресурсам советского заводского предприятия. На современном этапе траектории интерес представляют истории, содержащие примеры семейного воспроизводства в условиях экономической трансформации, а также случаи разрыва династической линии. Воспроизводство рабочей династии в новых условиях позволяет изучить причины сохранения семейных традиций в отсутствии структурной и экономической поддержки, возможности и ограничения семейной преемственности.

В заключение нельзя не отметить, что, как и любая другая стратегия качественного исследования, метод изучения семейной истории имеет свои ограничения. В связи с применением данного подхода возникает принципиальный методологический

вопрос: насколько генеалогический метод релевантен изучению современных социальных реалий? Исходная предпосылка о важности и даже уникальности многопоколенной семьи как канала социализации и социальной мобильности индивида оспаривается многими западными исследователями, разрабатывающими концепцию «общества индивидов» (Бауман 2002; Бек 2000, 2001, и др.). Они считают, что в современном атомизированном обществе семья не просто утрачивает свое значение как канал передачи социальных ресурсов; она начинает исключаться из системы социальных координат как на институциональном, так и на повседневном уровне.

«Сегодня ожидаемая продолжительность жизни семьи не превышает срока жизни ее членов, — пишет Зигмунд Бауман, — и мало кто может уверенно утверждать, что семья, которую они только что создали, переживет их самих. Вместо того чтобы служить прочным звеном в непрерывной цепи кровного родства, браки становятся тем местом, где цепь рвется, а идентичность семейных родов затуманивается, ослабляется и растворяется» (Бауман 2002: 309). Между тем с точки зрения разработчиков метода такая формулировка сомнительна. По их мнению, она отражает предубеждение эпохи общества всеобщего благоденствия, в котором, как кажется, происходит эволюция от внутрисемейной «наследуемости» составляющих социального статуса к меритократической системе открытого рынка труда. На наш взгляд, дискуссии о границах применения метода возможны строго в рамках проведения конкретного эмпирического исследования, сфокусированного на тех или иных социальных средах. Лишь его применение на практике продемонстрирует (не)значимость межпоколенческих и родственных отношений и процессов в жизни современного человека.

Библиография

Айвазова С.Г. 1998. *Русские женщины в лабиринте равноправия. Очерки политической теории и истории. Документальные материалы.* М.: ЗАО «РИК Русанова».

Айвазова С.Г. 2001. Контракт «работающей матери»: советский вариант, в кн.: М. Малышева, ред., *Гендерный калейдоскоп. Курс лекций.* М.: Academia, с. 291–310.

Айвазова С.Г. 2002. Патриархат, в кн.: *Словарь гендерных терминов.* М.: Информация XXI век, с. 169–171.

Антонов А.И., Сорокин С.А. 2000. *Судьба семьи в России XXI века: Размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции.* М.: Грааль.

Ашвин С. 2000. Влияние советского гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости, *Социологические исследования*, № 11, с. 63–72.

Бараулина Т. 2002. Моральное материнство и воспроизводство женского опыта, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *В поисках сексуальности.* СПб.: Дмитрий Буланин, с. 366–405.

Барчунова Т.В. 2002. «Эгоистичный гендер», или Воспроизводство гендерной асимметрии в гендерных исследованиях, *Общественные науки и современность*, № 5, с. 180–192.

Батлер Дж. 2000. Гендерное беспокойство, в кн.: Гапова Е., Усманова А., сост., *Антология гендерной теории.* Минск: Пропилеи, с. 297–346.

Бауман З. 2002. *Индивидуализированное общество.* М.: Логос.

Бек У. 2000. *Общество риска. На пути к другому модерну.* М.: Прогресс-Традиция.

Бек У. 2001. *Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию.* М.: Прогресс-Традиция.

Беккер Г. 2003. *Человеческое поведение: экономический подход.* М.: ГУ ВШЭ.

белл хукс. 2000. Феминистская теория: от края к центру, в кн.: Гапова Е., Усманова А., сост., *Антология гендерной теории.* Минск: Пропилеи, с. 236–253.

Бергер П., Лукман Т. 1995. *Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.* М.: Медиум.

Берто Д., Берто-Вьям И. 1992. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяжении пяти поколений, *Вопросы социологии*, № 2, с. 106–122.

Блюм А. *Родиться, жить и умереть в СССР*. М.: Новое издательство, 2005.

Бовуар С. 1997. *Второй пол*. М.: Прогресс; СПб.: Алетейя.

Божков О. 1998. Родословные (генеалогические) деревья как объект социологического анализа, *Социологический журнал*, № 3/4, с. 117–143.

Божков О. 2001. Биографии и генеалогии: ретроспективы социально-культурных трансформаций, *Социологический журнал*, № 1, с. 74–87.

Божков О., Боголюбов И. 2002. Хронографический анализ генеалогий, *Социологический журнал*, № 1, с. 48–59.

Бойко В. 1985. *Рождаемость. Социально-психологические аспекты*. М.: Мысль.

Борисов В.А. 1976. *Перспективы рождаемости*. М.: Наука.

Бредникова О. 1997. «Семейная» и «коллективная» память (способы конструирования этнической идентичности), в кн.: В. Воронков, Е. Здравомыслова, ред., *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы международного семинара*. СПб., Труды ЦНСИ, вып. 5. с. 70–74.

Бурдье П. 2001. *Практический смысл*. СПб.: Алетейя. Кн. 2.

Бурдье П. 1995. Структуры, Habitus, Практики, в кн.: *Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас*. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, с. 16–39.

Бурдье П. 2005. Мужское господство, в кн.: Бурдье П. *Социальное пространство: поля и практики*. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, с. 286–364.

Воронина О. 2001. Формирование гендерного подхода в социальных науках, в кн.: М. Малышева, ред., *Гендерный калейдоскоп. Курс лекций*. М.: Academia, с. 10–12.

Воронина О. 2004. *Феминизм и гендерное равенство*. М.: Эдиториал УРСС.

Воронина О. *Глоссарий гендерных терминов*. М.: МЦГИ. (в печати).

Гапова Е. 2004. От гендера к нации с остановкой на классе, в кн.: *Гендер по-русски. Тезисы выступления*. Тверь, 10-11 сентября 2004 г.

Гендерная экспертиза российского законодательства 2001. Л.Н. Завадская, ред., М.: Издательство БЕК.

Герасимова К. 1998. Советская коммунальная квартира, *Социологический журнал*, № 1–2, с. 224–244.

Гидденс Э. 1995. Элементы теории структурации, в кн.: *Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас*. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, с. 40–80.

Гидденс Э. 1999. *Социология*. М.: Эдиториал УРСС.

Гидденс Э. 2003. *Устроение общества: Очерки теории структурации*. М.: Академический проект.

Гилинский Я. 1991. Проституция как она есть, в кн.: *Проституция и преступность*. М.: Юридическая литература, с. 99–122.

Гирц К. 1997. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры, в кн.: *Антология исследований культуры*. Т. 1. СПб.: Университетская книга, с. 171–200.

Голод С. 1998. *Социология семьи и брака: историко-социологический анализ*. СПб.: Петрополис.

Голосенко И., Голод С. 1998. *Социологические исследования проституции в России (история и современное состояние вопроса)*. СПб.: Петрополис.

Голофаст В. 1997. Три слоя биографического повествования, в кн.: В. Воронков, Е. Здравомыслова, ред., *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы международного семинара*. СПб., Труды ЦНСИ, вып.5, с. 23–26.

Гордон Л.А., Клопов Э.В. 1972. *Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени*. М.: Наука.

Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. 2002. Здоровье матери и ребенка в России: социально-демографический аспект, в кн.: Н.С. Григорьева, ред., *Охрана материнства и детства в России и Великобритании. Междисциплинарный подход*. М.: Медицина, с. 22–41.

Грушин Б. 1967. *Свободное время*. М.: Мысль.

Гурко Т. 1999. Феномен современного отцовства, в кн.: *Мужчина и женщина: меняющиеся роли и образы. Материалы междунар. науч. конф.* Т. 1. М.: Ин-т этнологии и антропологии, с. 217–229.

Гурко Т. 2001а. Критика концепции половых ролей. Применение феминистской теории к анализу супружества и родительства, в кн.: *Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций*. М., с. 331–351.

Гурко Т. 2001б. Представление об институте семьи в различных течениях феминизма, в кн.: *Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций*. М., с. 322–331.

Дементьева И. 1990. Семья и воспитание, в кн.: *Жизнедеятельность семьи: проблемы и тенденции*. М.: Наука.

Дюркгейм Э. 1991. О разделении общественного труда, в кн.: Дюркгейм Э. *О разделении общественного труда. Метод социологии.* М.: Наука, с. 3–390.

Ерофеев В.В. 1999. *Мужчины.* М.: Подкова.

Женщины и мужчины России. 1999. М.: Госкомстат.

Женщины и мужчины России. 2004. М.: Росстат.

Здравомыслов Я.И. 1926. *Вопросы половой жизни.* Ленинград: Изд-во П.П. Сойкин.

Здравомыслова Е. 2004. Гендерное гражданство в Советской России – практики абортов, в кн.: И. Григорьева, Н. Килдал, С. Кюнле, В. Минина, ред., *Развитие государства благосостояния в странах Северной Европы и России: сравнительная перспектива. Сборник статей.* СПб.: ООО «Скифия-принт», с. 179–196.

Здравомыслова Е., Темкина А., ред. 1996. *Гендерное измерение социальной и политической активности.* СПб: ЦНСИ. Вып. 4.

Здравомыслова Е., Темкина А. 1998. Социальное конструирование гендера, *Социологический журнал,* № 3–4, с. 171–182.

Здравомыслова Е., Темкина А. 1999. Социальное конструирование гендера как феминистская теория, в кн.: Хоткина З., Пушкарева Н., Трофимова Е., ред., *Женщина. Гендер. Культура.* М.:МЦГИ, с. 46–65.

Здравомыслова Е., Темкина А. 2000а. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью, *Гендерные исследования,* № 5, с. 211–225.

Здравомыслова Е., Темкина А. 2000б. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии, *Социс,* № 11. с. 15–23.

Здравомыслова Е., Темкина А. 2001. Социальное конструирование гендера: феминистская теория, в кн.: И. Жеребкина, ред., *Введение в гендерные исследования.* Ч. 1. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, с. 147–173.

Здравомыслова Е., Темкина А. 2002а. Кризис маскулинности в поздневсоветском дискурсе, в кн.: С. Ушакин, сост., *О муже(N)ственности. Сб. статей.* М.: НЛО, с. 432–351.

Здравомыслова Е., Темкина А., ред. 2002б. *В поисках сексуальности: Сборник статей.* СПб.: Дмитрий Буланин.

Здравомыслова Е., Темкина А. 2003. Советский этакратический гендерный порядок, в кн.: Н.Л. Пушкарева, ред., *Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история.* М.: РОССПЭН, с. 436–463.

Здравомыслова О.М. 2001. Российская семья в 90-е годы: жизненные стратегии мужчин и женщин, в кн.: М. Малышева, ред., *Гендерный калейдоскоп. Курс лекций.* М.: Academia, с. 473–489.

Здравомыслова О.М. 2003. *Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации.* М.: Эдиториал УРСС, с. 67–76.

Здравомыслова О., Арутюнян М. 1998. *Российская семья на европейском фоне.* М.: Эдиториал УРСС.

Зеликова Ю. 2002. Женское тело: «отчуждение» и запрет на удовольствия, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *В поисках сексуальности.* СПб.: Дмитрий Буланин, с. 406–427.

Ильф И., Петров Е. 1995а. *Золотой теленок.* М.: Панорама.

Ильф И., Петров Е. 1995б. *Двенадцать стульев.* М.: Панорама.

Караханова Т. 2001. Использование времени работающими городскими жителями в зависимости от семейного положения, в кн.: *Бюджет времени и перемены в жизнедеятельности городских жителей в 1965–1998 годах.* М.: ИС РАН, с. 73–91.

Касымова С. 2004. Гендерная система таджикского общества: путь к модернизации (советский период), в кн.: Ш. Шоисматуллоев, ред., *Гендерная система: состояние и тенденции развития.* Душанбе, с. 132–159.

Келли К. 2003. «Хочу быть трактористкой!» (Гендер и детство в довоенной советской России), в кн.: Н.Л. Пушкарева, ред., *Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история.* М.: РОССПЭН, с. 385–411

Кирилина А. 1999. *Гендер: лингвистические аспекты.* М.: ИС РАН.

Коллонтай А. 1920. Предисловие, в кн.: *Резолюция Первого Всероссийского совещания работниц.* Пг.: Гос. изд-во.

Коллонтай А. 1922. *Семья и коммунистическое государство.* Пг.; Харьков: Гос. изд-во.

Коллонтай А. 1923. *Любовь пчел трудовых.* М.; Пг.: Гос. изд-во

Кон И.С. 2002. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире, в кн.: *Гендерный калейдоскоп.* М.: Academia. с. 188–208.

Кон И. 2005. *Сексуальная культура в России. Клубничка на березке.* М.: Айрис-пресс.

Конан-Дойль А. 1991. Этюд в багровых тонах, в кн.: Конан-Дойль А. *Собр. соч. в 10-ти т.* М.: МП «Останкино». Т. 1, с. 6–126.

Коннелл Р. 2000. Современные подходы, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *Хрестоматия феминистских текстов.* СПб.: Дмитрий Буланин, с. 251–279.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1953. Ч. 1. 1898–1925. ИМЛ, Гос. изд-во политической литературы.

Курганов И. 1967. *Семья в СССР. 1917–1967.* Нью-Йорк.

Лебина Н. 1999. *Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 1920–1930 годы.* СПб.: Журнал «Нева»; Летний сад.

Левада Ю. 1993. *Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х.* М.: Мировой океан.

Либоракина М. 1996. *Обретение силы: российский опыт. Пути преодоления дискриминации в отношении женщин (культурное измерение).* М.: Черо.

Лукеренко К. 2004. «Пожарная» организация власти: семейные кланы как принцип политической организации, в кн.: С. Ушакин, ред., *Семейные узы: Модели для сборки. Сб. статей.* Кн. 2. М.: Новое литературное обозрение, с. 324–352.

Максимович Л. Материнство и отцовство: эволюция правового регулирования, в кн.: *Семейное право России: проблемы развития. Сб. обзоров и статей.* М., 1996. с. 80–96.

Малышева М. 2001 *Современный патриархат. Социально-экономическое эссе.* М.: Academia.

Манхейм К. 1994. Идеология и утопия, в кн.: Манхейм К. *Диагноз нашего времени.* М.: Юрист, с. 7–276.

Маркс К., Энгельс Ф. 1955. Немецкая идеология, в кн.: Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения.* 2-е изд. Т. 3. с. 7–544.

Мещеркина Е. 2002. Бытие мужского сознания: опыт реконструкции маскулинной идентичности среднего и рабочего класса, в кн.: Ушакин С., сост., *О муже(N)ственности. Сб. статей.* М.: НЛО, с. 268–287.

Миллет К. 1994. Теория сексуальной политики, *Вопросы философии,* № 9, с. 147–172.

Мхитарян А. 1999. Гендерные отношения и лидерство в армянской семье, в кн.: *Женщины в развитии: гендерные проблемы современного общества (по результатам социологического опроса).* Ереван: ЦГИ, с. 251–266.

Неномнящая К. 2004. Татьяна Толстая: текст семьи и семья в тексте. Генеалогия, гендер и риторика родословной, в кн.: С. Ушакин, ред., *Семейные узы: Модели для сборки. Сб. статей.* Кн. 2. М.: Новое литературное обозрение, с. 211–225.

Нечаева А.М. 1996. Основные направления развития семейного права, в кн.: *Семейное право России: проблемы развития. Сб. обзоров и статей.* М., с. 10–31.

Нечаева А.М. 2002. *Семейное право. Курс лекций.* М.: Юристъ.

Никонов А. 2005а. *Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека.* М.: Изд-во НЦ ЭНАС.

Никонов А. 2005б. *К барьеру!* www.regnet.ru.

Олейник А. 2001. *Тюремная субкультура.* М.: Инфра-М.

Орлова Г. 2004. Семь «я» президента: призрак родства в российской политике 1990-х годов, в кн.: С. Ушакин, ред., *Семейные узы: Модели для сборки. Сб. статей.* Кн. 2. М.: Новое литературное обозрение, с. 297–323.

Пергамент А. 1951. Алиментные обязательства по советскому праву, Советское государство и право, № 9. М.: Госюриздат.

Поповский М. 1985. *Третий лишний. Он, она и советский режим.* Лондон.

Посадская А. 1993. Женское измерение социальной трансформации: от Форума к Форуму, в: *От проблем к стратегии. Материалы Второго независимого женского форума г. Дубна.* М.: ЦГИ ИСЭПН РАН, с. 13–19.

Прохоров А. 2004. «Человек родился»: сталинский миф о большой семье в киножанрах «оттепели», в кн.: С. Ушакин, сост., ред, *Семейные узы: Модели для сборки.* Кн. 1. М.: Новое литературное обозрение, с. 114–133.

Пфау-Эффингер Б. 2000. Опыт кросс-национального анализа гендерного уклада, *Социологические исследования.* № 11. с. 24–35.

Радаев В.В., Шкаратан О.И. 1996. *Социальная стратификация.* М.: Аспект-Пресс.

Разумова И. 2004. Родословие: семейные истории России, в кн.: С. Ушакин, сост., ред, *Семейные узы: Модели для сборки.* Кн. 1. М.: Новое литературное обозрение, с. 90–113.

Райнкрофт Ч. 1995. *Критический словарь психоанализа.* СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа.

Репина Л.П. 1997. Гендерная история: проблемы и методы исследования, *Новая и новейшая история,* № 6.

Римашевская Н.М. 1997. Гендерные аспекты социально-экономической трансформации в России, в: И.В. Рывкина, Л.Я. Косалс, ред., *Социальные последствия рыночных реформ в России.* Сер. «Демография и социология». Вып. 17, с. 138–155.

Римашевская Н.М. 2002. Гендерные аспекты социально-экономической трансформации в России, в: М. Малышева, ред., *Гендерный калейдоскоп.* М.: Academia, с. 243–257.

Рубин Г. 2000. Обмен женщинами. Заметки о «политической экономии» пола, в:. Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *Хрестоматия феминистских текстов.* СПб.: Дмитрий Буланин, с. 89–140.

Савкина И. 2004. Род/дом: семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксенова , в кн.: С. Ушакин, сост., ред, *Семейные узы: Модели для сборки.* Кн. 1. М.: Новое литературное обозрение, с. 156–182.

Семенова В. 1996. Бабушки: семейные и социальные функции прародительского поколения, в кн.: В. Семенова, Е. Фотеева, Д. Берто, ред., *Судьбы людей. Россия XX век. Биографии семей как объект социологического исследования*. М.: ИС РАН, с. 326–355.

Семенова В. 1998. *Качественные методы: введение в гуманистическую социологию*. М.: Добросвет.

Семенова В., Фотеева Е., ред. 1995. *Судьбы людей. Россия. XX век*. М.: ИСАН.

Скотт Дж. 2000. Гендер: полезная категория исторического анализа, *Гендерные исследования*, № 5. с. 142–171.

Слесарев Г.А., Янкова З.А. 1969. Женщина на промышленном предприятии и в семье, *Социальные проблемы труда и производства*. М.: Наука.

Современный словарь иностранных слов. 2001. М.: Русский язык.

Тартаковская И. 1997. *Социология пола и семьи*. Самара: Международный институт «Открытое общество».

Тартаковская И. 2003. «Несостоявшаяся маскулинность» как тип поведения на рынке труда, в кн.: Л.Н. Попкова, И.Н. Тартаковская, ред., *Гендерные отношения в современной России: исследования 1990-х годов: Сб. научных статей*. Самара: Изд-во «Самарский университет», с. 42–71.

Тарусина Н.Н. 2001. *Семейное право. Курс лекций*. М.: Проспект, с. 84.

Темкина А. 1996. Женский путь в политику: гендерная перспектива, в: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. Труды Центра независимых социальных исследований*, № 4. СПб., с. 19–32.

Темкина А. 1999. Динамика сценариев сексуальности в автобиографиях современных российских женщин: Опыт конструктивистского исследования сексуального удовольствия, в кн.: А. Клецина, ред., *Гендерные тетради*, вып. 2. СПб.: ИС РАН, с. 20–55.

Темкина А. 2001. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность и идентичность, в кн.: О. Хархордин, ред., *Мишель Фуко и Россия: Сб. статей*. СПб.; М.: ЕУСПб; Летний сад, с. 316–347.

Темкина А. 2002. Сценарии сексуальности и гендерные различия, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина ред., *В поисках сексуальности: Сборник статей*. СПб.: Дмитрий Буланин, с. 247–286.

Темкина А. 2003. Половая жизнь в позднесоветском браке, в кн.: С. Ушакин, ред, *Семейные узы: модели для сборки*. М.: Новое литературное обозрение, с. 515–547.

Темкина А. 2005. Гендерный порядок: постсоветские трансформации (Северный Таджикистан), в кн.: С. Касымова, ред., *Гендер: традиция и современность. Душанбе*, с. 6–91.

Темкина А., Роткирх А. 2002. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России, *Социс*, № 11. с. 4–15.

Ткач О. 2003. Патриархат по-советски, или Большая семья на большом экране, в кн.: И. Тартаковская, Л. Попкова, ред., *Гендерные отношения в современной России: исследования 1990-х годов*. Самара: Изд-во «Самарский университет», с. 294–316.

Томпсон П. 2003a. *Голос прошлого. Устная история*. М.: Весь мир.

Томпсон П. 2003b. Семейный миф, модели поведения и судьба человека, в кн.: М. Лоскутова, ред., *Хрестоматия по устной истории*. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, с. 110–145.

Ушакин С. 1999. Видимость мужественности, в кн.: И. Аристархова, ред., *Женщина не существует: Современные исследования полового различия*. Сыктывкар: Центр женских исследований (ИСИТО), с. 116–131.

Уэст К., Зиммерман Д. 1997. Создание гендера, в кн.: А. Клецин, ред., *Гендерные тетради. Труды СПбФ ИС РАН*. Вып. 1. СПб., с. 94–124.

Фицпатрик Ш. 2001a. *Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 1930-е годы: город*. М.: РОССПЭН.

Фицпатрик Ш. 2001б. *Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 1930-е годы: деревня*. М.: РОССПЭН.

Фуко М. 1996. *Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности*. М.: Касталь.

Фуко М. 1999. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы*. М.: Ad Marginem.

Харевен Т. 2003. Время семьи и время промышленности, в кн.: М. Лоскутова, ред., *Хрестоматия по устной истории*. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, с. 146–188.

Харчев А. 1979. *Брак и семья в СССР*. М.: Мысль.

Хасбулатова О. 2005. *Российская гендерная политика в XX столетии: мифы и реалии*. Иваново: Иван. гос. ун-т.

Хоф Р. 1999. Возникновение и развитие гендерных исследований, в кн.: Э. Шоре, К. Хайдер, ред, *Пол. Гендер. Культура*. М.: РГГУ, с. 23–54.

Чернова Ж. 2002. Романтик нашего времени: с песней по жизни, в кн.: С.М. Ушакин, сост., ред., *О муже(N)ственности. Сб. статей*. М.: Новое литературное обозрение, с. 452–478.

Чернова Ж. 2003. «Мужская работа»: анализ медиа-репрезентаций, в кн.: Л.Н. Попкова, И.Н. Тартаковская, ред., *Гендерные отно-*

шения в современной России: исследования 1990-х годов: Сб. научных статей. Самара: Изд-во «Самарский университет», с. 276–294.

Черняк Е., Захаркин В. 1987. *Семья рабочего.* М.: Мысль.

Чуйкина С. 1996. Участие женщин в диссидентском движении (1956–1986), в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период. Труды ЦИСИ,* № 4. СПб., с. 61–81.

Чуйкина С. 2002. «Быт неотделим от политики»: официальные и неофициальные нормы «половой» морали в советском обществе 1930–1980-х годов, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *В поисках сексуальности.* СПб.: Дмитрий Буланин.

Чуйкина С. 2006. *Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920—30-е годы).* СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Шанин Т., ред. 1999. *Неформальная экономика. Россия и мир.* М.: Логос.

Щеглов Ю. 1995. Комментарии, в кн.: И. Ильф, Е. Петров, *Двенадцать стульев. Золотой Теленок.* М.: Панорама.

Юваль-Дейвис Н. 2001. *Гендер и нация.* Elpa.

Ядов В. 1999. *Стратегия социологического исследования.* М.: Добросвет.

Ярошенко С. 2002. Кризис семьи и сексуальности: бедность без любви в семьях нуждающихся, в кн.: Е. Здравомыслова, А. Темкина, ред., *В поисках сексуальности.* СПб: Дмитрий Буланин, с. 172–196.

Ярская-Смирнова Е. 2001. *Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований.* Саратов: Гос. техн. ун-т. Центр соц. политики и гендерных исследований.

Ясенский Б. 1983. *Человек меняет кожу.* М.: Правда.

Acker J. 1989. The Problem with Patriarchy, *Sociology,* vol. 23, N 2, p. 235–240.

Anthias F., Uuval-Davis N. 1983. Contextualizing Feminism — Gender, Etnic and Class Divisions, *Feminist Review,* N 15.

Anthias F., Yuval-Davis N. 1992. *Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist Struggle.* London: Routledge.

Ashwin S., ed. 2000. *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia.* London; New York: Routledge.

Attwood L. 1996. The Post-Soviet Women in the Move to the Market», in: R. Marsh, ed., *Women in Russia and the Ukraine.* Cambridge: Cambridge University Press.

Attwood L. 1985. *The New Soviet Men and Women: Sex Role Socialisation in the USSR.* Bloomington.

Azhgikhina N., Goscilo H. 1996. Gelling under Their Skin: The Beauty Salon in Russian Women's Lives, in: H. Goscilo, B. Holmgren, eds., *Russia — Women — Culture*. Indiana University Press, p. 94–121.

Barrett M. 1980. *Women's Oppression Today: Problems in Marxist-Feminist Analysis*. London: New Left Books.

bell hooks B. 1984. *Feminist Theory: From Margin to Centre*. Boston: South End Press.

Bertaux D. 1994. Families and Mobility: The European Experience, *Innovation*, vol. 3, N 1, p. 89–103.

Bertaux D., Bertaux-Wiame I. 1981. Artisanal Bakery in France: How It Lives and Why It Survives. The Petite Bourgeoisie, in: F. Behchhofer, E. Brian, eds., *Comparative Studies of the Uneasy Stratum*. London: Macmillan Press.

Bertaux D., Bertaux-Wiame I. 1997. Heritage and its Lineage: A Case History of Transmission and Social Mobility over Five Generations, in: D. Bertaux. P. Thompson, eds., *Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility*. Oxford: Clarendon Press, p. 62–97.

Bertaux D., Tompson P., eds. 1993. *Between Generations: Family Models, Myths, and Memories. International Yearbook of Oral History and Life Stories*, vol. 2. Oxford: Oxford University Press.

Blau P., Duncan O. 1967. *The American Occupational Structure*. New York: Wiley.

Bloom L. 1980. Heritages: Dimensions of Mother-Daughter Relationships in Women's Autobiographies, in: C. Davidson and E. Broner, eds., *The Lost Tradition. Mothers and Daughters in Literature*. New York: Ungar Pub. Co., p. 291–303.

Bruld M. 1995. Monstrositet og modernitet. Fra historiske renselser i Sovjet ill cafeteria-religioner. Et assay om rene og urene linier, *Nordisk Ostforum*, N 1.

Buckley M. 1997. Victims and Agents: Gender in Post-Soviet States, in: M. Buckley, ed., *Post-Soviet Women from the Baltic to Central Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 3–16.

Cealey Harrison W., Hood-Williams J. 1998. More Varieties than Heinz: Social Categories and Sociality in: Humphries, Hammersley and Beyond», *Sociological Research Online*, vol. 3, N 1. <http://www.socresonline.org.uk/socresonline/3/1/8.html>

Clements B. 1991. Later Developments: Trends in Soviet Women's History, 1930 to the Present, in: B. Clements, B. Engel and C. Worobec, eds., *Russia's Women. Accomodation, Resistance, Transformation*. Berkeley: University of California Press, p. 220–237.

Connell R. W. 1987. *Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics*. Cambridge: Polity Press.

Connell R. W. 1995. *Masculinities*. Cambridge: Polity.

Connell R. W. 2000. *The men and the boys*. Cambridge: Polity Press.

Connell R. W. 2002. *Gender*. Oxford: Basil Blackwell.

Crompton R. 1999. Discussion and Conclusions, in: R. Crompton, ed., *Restructuring Gender Relations and Employment. The Decline of the Male Breadwinner*. Oxford; New York: Oxford University Press, p. 200–214.

Dallin A. 1977. Conclusion, in: D. Atkinson, A. Dallin and G. Lapidus, eds., *Women in Russia*. Stanford (Calif.): Stanford University Press, p. 386–400.

De Certeau M. 1984. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press.

Denzin N., Lincoln Y., eds. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.

Empowerment. 1999. *Влияние женщин на характер власти. Результаты исследования зарубежных проектов Фонда им. Генриха Белля*. Берлин: Фонд им. Генриха Белля.

Engel B. 2002. Marriage and Masculinity in Late-Imperial Russia: the «Hard Cases», in: B. Clements, R. Friedman and D. Heally, eds., *Russian Masculinities in History and Culture*. Palgrave, p. 113–127.

Farnsworth B. 1977. Bolshevik Alternative and the Soviet Family: The 1926 Marriage Law Debate, in: D. Atkinson, A. Dallin and G. Lapidus, eds., *Women in Russia*. Stanford (Calif.): Stanford University Press, p. 139–166.

Firestone S. 1970. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: Bantham Books.

Fischer-Rosenthal W. 1995. The Problems with Identity: Biography as Solution to Some (Post)modernist Dilemmas, *Comenius*, N 3, p. 250–266.

Fraser N. 1997. *Justice Interruptus. Critical Reflections on the «Post-socialist condition»*. New York: Routledge.

Garfinkel H. 1967. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs (N.J.):Prentice-Hall.

Gelb J. 1989. *Feminism and Politics. A Comparative Perspective*. Berkeley: University of California Press.

Giddens A. 1991. *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

Giddens A. 1992. *The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford (Calif.): Stanford University Press.

Glass D. 1954. *Social Mobility in Britain*. London: Routledge.

Gluck Sh. 1976. *From Parlor to Prison: Five American Suffragettes Talk about Their Lives*. New York.

Goffman E. 1997a. Gender Display. From «Gender Advertisements: Studies in the Anthropology of Visual Communication», in: C. Lemert and A. Branaman, eds., *Goffman Reader*. Oxford, UK: Blackwell Publ., p. 208–227.

Goffman E. 1997b. Frame Analysis of Gender. From «The Arrangment Between the Sexes», in: C. Lemert and A. Branaman, eds., *Goffman Reader*. Oxford, UK: Blackwell Publ., p.201–208.

Goldthorpe J. 1980. *Social Mobility and Class Structure in Modern Britain*. Oxford: Clarendon Press.

Guba E., Lincoln Y. 1998. Competing Paradigms in Qualitative Research, in N. Denzin and Y. Lincoln, eds., *The Landscape of Qualitative Research*. London: Sage, p. 195–220.

Haley A. 1976. *Roots: The Saga of an American Family*. New York: Doubleday.

Hankiss E. 1988. The «Second Society»: Is there an Alternative Social Model Emerging in Contemporary Hungary?, *Social Research*, vol. 55.

Hankiss E. 1990. *East European Alternative*. Oxford: Clarendon Press.

Hareven T. 2000. *Families, History, and Social Change: Life-Course and Cross-Cultural Perspectives*. Oxford: Westview Press.

Hartman H. 1979. The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union, *Capital and Class*, N 8.

Hartman H. 1983. Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex, in: E. Abel and E. K. Abel, eds., *The 'Signs' Reader: Women, Gender and Scholarship*. Chicago: University of Chicago Press.

Haukanes H., ed. 2001. Women after Communism. Ideal Images and Real Lives, *Skriftserien*, N 12. Bergen: University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research.

Hauser R., Featherman D. 1977. *The Process of Stratification. Trends and Analysis*. New York: Academic Press.

Heath A. 1981. *Social Mobility*. Glasgow: William Collin Sons.

Hirdman H. 1991. The Gender System, in: Andreasen et al., eds., *Moving on*. Aarhus: Aarhus University Press, p.187–207.

Hochschild A. 1983. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.

Holmgren B. 1995. Bug Inspectors and Beauty Queens: The Problems of Translating Feminism into Russian, in: E. Berry, ed., *Postcommunism and the Body Politics*. New York; London: New York University Press, p. 15-31.

Kandiyoti D. 1988. Bargaining with Patriarchy, *Gender and Society*, vol. 2, N 3, p. 274–290.

Katz K. 2001. *Gender, Work and Wages in the Soviet Union*. Palgrave, chap. 2.

Kiblitskaya M. 2000, Russia's Female Breadwinners. The Changing Subjective Experience, in: S. Ashwin, ed., *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*. London; New York: Routledge, p. 55–69.

Komarovsky M. 1950. Functional Analysis of Sex Roles, *American Sociological Review*, N 15, p. 508–516.

Kon I. 1995. *The Sexual Revolution in Russia. From the Age of the Czars to Today*. New York: The Free Press.

Kukhterin S. 2000. Fathers and Patriarchs in Communist and Post-Communist Russia, in: S. Ashwin, ed., *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*. London; New York: Routledge, p. 71–90.

Lapidus G. 1977. Sexual Equality in Soviet Policy: A Developmental Perspective, in: D. Atkinson, A. Dallin and G. Lapidus, eds., *Women in Russia*. Stanford (Calif.): Stanford University Press, p. 115–138.

Lapidus G. 1978. *Women in Soviet Society. Equality, Development, Social Change*. Berkley; Los Angeles.

Laslett B., Brenner J. 1989. Gender and Social Reproduction: Historical Perspective, *Annual Review of Sociology*, vol. 15, p. 381–404.

Ledeneva A. 1998. *Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.

Leira A. 2002. Updating «Gender Contract»? Childcare reforms in the Nordic countries in the 1990s, *Nora*, vol. 10, N 2, p. 81–89.

Lennerhed L. 1994. *Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige 1960-taler*. WSOY, Fenland: Norstedts.

Leontieva A. 2001. A Victim of Socialism or a Capitalist Career Woman?, in: H. Haukanes, ed., *Women after Communism. Ideal Images and Real Lives*. Bergen: University of Bergen, N 12, p. 147–157.

Levi-Strauss C. 1969. *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press.

Liljeström M. 1993. The Soviet Gender System: The Ideological Construction of Femininity and Masculinity in the 70's, in: M. Liljeström, E. Mantysaari and A. Rosenholm, eds., *Gender Restructur in Russian Studies*. Tampere: Slavica Tamperensia II, p. 163–174.

Liljeström M. *Emanciperode till underordning. Det Sovjetiska könssystements uppkomst och diskursiva reprodurion*. Turku: Ebo Akademi University Press, 1995.

Lima de A. 2000. Is Blood Thicker Than Economic Interest in Familial Enterprises?, in: P. Schweitzer, ed., *Dividends of Kinship: Meaning and Uses of Social Relatedness*. London and New York, Routledge, p. 151–176.

Lindquist G. 1994. The Feminist Message as a Threatening Experience: a Story of a Russian Urban Intellectual Woman, *Ethnos*, N 1–2, p. 7–35.

Lipset S., Bendix R. 1967. *Social Mobility in Industrial Society*. Berkeley: University of California Press

Lister R. 1997. *Citizenship: Feminist Perspective. Basingstoke: Macmillan*. London; New York: Routledge

Lorber J., Farell S., eds. 1981. *Social Construction of Gender*. London: Sage Publications.

Lorde A. 1984. Age, Race, Sex and Class: Women Redefining Difference, in: *Sister Outsider*. California: The Crossing Press, p. 114–123.

Mac An Ghaill M. 1994. *The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling*. Buckingham: Open University Press.

MacKinnon C. 1986. Difference and Dominance: On Sex Discrimination, in: B. Fullinswinder, C. Mills, eds., *The Moral Foundation of Civil Rights*. Rowman and Littlefield. New York: To Towa.

Marcus G., Hall P. 1992. *Lives in Trust: Fortunes of Dynastic Families in Late Twentieth-Century America*. Boulder: Westview Press.

Marshall T. 1992. Citizenship and Social Class, in: T. Marshall and T. Bottomore, eds., *Citizenship and Social Class*. London: Polity Press.

Mitchell J. 1971. *Women's Estate*. Harmondsworth: Penguin; New York: Vintage.

Moore H. 1994. *A Passion for Differnece*. Oxford: Polity Press.

Nye F.I. et al. 1976. *Role Structure and Analysis of the Family*. Beverly Hills: Sage Publications.

O'Neill J., Pollachek S. 1993. Why the Gender Gape in Wages Narrowed in the 1980th, *Journal of Labor Economics*, 11, N 1, p. 205–228.

Parkin F. 1974. Strategies of Social Closure in Class Formation, in: F. Parkin, ed., *The Social Analysis of Class Structure*. London: Tavistock Publications, p. 1–19.

Parsons T. 1949. Age and Sex in the Social Structure, in: Parsons T. *Essays in Sociological Theory. Pure and Applied*. Glencoe (Illinois): The Free Press, p. 218–232.

Parsons T., Bales R. 1955. *Family, Socialization and Interaction Process*. New York: The Free University Press.

Pateman C. 1988. *The Sexual Contract*. Stanford: Stanford University Press.

Pateman C. 1992. Equality, Difference, Subordination: the Politics of Motherhood and Women's Citizenship, in: G. Bock, S. James, eds., *Beyond Equality and Difference. Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity*. London: Routledge.

Peto A., Waaldijk B. 2002. Writing the Lives of Foremothers, History and the Future of a Feminist Teaching Tool, in: R. Braidotti, J. Nieboer and S. Hirs, eds., *The Making of European Women's Studies*. Utrecht: University of Utrecht.

Pilkington H. 1996. *Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia*. London: Routledge.

Popkova L. 2004. Political Participation of Women in Russia / Post-Soviet Women Encountering Transition, in: K. Kuehnast, C. Nechemias, eds., *Nation Building Economic Survival and Civic Activism*. Washington, DC: Woodrow Wilson Cener Press.

Ramazanoglu C. 1992. On Feminist Methodology: Male Reason Versus Feminist Empowerment, *Sociology*, vol. 26, N 2, p. 46–57.

Rantalaiho L. 1994. Sukupuolisopimus ja Suomen malli, in: A. Anttonen, L. Henriksson and R. Natkin, eds., *Naisten hyvinvointivaltion*. Tampere: Vastapaino, p. 9–30.

Renzetti C., Curran D. 1992. *Women, Men and Society*. Boston: Allyn & Bacon.

Riley D. 1988. *Am I That Name? Feminism and the Category of 'Women' in History*. Basingstoke, London: Macmillan.

Roos J. P., Rotkirch A. 1997. Falt i skuggan av falt, *Studier av kulturella falt*. Stockholm: Lararhog skolan.

Rotkirch A. 2000. *The Man Question. Loves and Lives in Late 20th Century Russia*. University of Helsinki, Department of Social Policy. Research report 1/2000.

Rowbotham Sh., McCrindle J. 1977. *Dutiful Daugthers*. London.

Sacks H. 1972. An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology, in: D. Sudnow, ed., *Studies in Social Interaction*. New York: Free Press, p. 31–74.

Sacks H. 1974. On the Analysability of Stories by Children, in: R. Turner, ed., *Ethnomethodology*. Harmondsworth: Penguin.

Sacks H., Schegloff E., Jefferson G. 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-talking in Conversation, *Language*, 50. p. 696–735.

Savage M. 1997. Social Mobility and the Survey Method: A Critical Analysis, in: D. Bertaux and P. Tompson, eds., *Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility*. Oxford: Clarendon Press, p. 299–325.

Scheler M. 1960. Wissensformen und die Gesellschaf, *Probleme einer Soziologie des Wissens*. Bern.

Schrand T. 2002. Socialism in One Gender: Masculine Values in the Stalin Revolution, in: B. Clements, R. Friedman, D. Heally, eds., *Russian Masculinities in History and Culture*. Palgrave, p. 195–209.

Schwandt T. 1998. Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry, in: N. Denzin, Y. Lincoln, eds., *The Landscape of Qualitative Research*. London: Sage Publications, p. 221–259.

Scott J. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Scott J. 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, London: Yale University Press.

Semenova V. 2000. The Message from the Past: Experience of Suffering Transmitted Though Generations, in: R. Breckner, D. Kalekin-Fishman and I. Miete, eds., *Biographies and the Division of Europe. Experience, Action, and Change on the 'Eastern Side'*. Opladen: Leske+ Bunrich, p. 93–113.

Seymour J. 2001. «Treating the Hotel Like a Home»: Developing 'Family Practices' in Hotels, Pubs and Boarding Houses, *Working Paper no. 4, Centre For Social Study of Childhood*. Hull: University of Hull.

Shlapentokh V. 1989. *Public and Private Life of the Soviet People: Changing Values in Post-Stalin Russia*. New York: Oxford University Press.

Siim B. 2000. *Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain and Denmark*. Cambridge: Cambridge University Press.

Silverman D. 1993. *Interpreting Qualitative Data*. London: Sage Publications.

Steward A., Prandy K., Blackburn R. 1980. *Social Stratification and Occupations*. London: Macmillan.

Tartakovskaya I. 2000. The Changing Representation of Gender Roles in the Soviet and Post-Soviet Press, in: S. Ashwin, ed., *Gender, State and Society in the Soviet and Post-Soviet Russia*. London: Routledge, p. 118–136.

Temkina A. 1995. Entering Politics: Women's Ways, Gender Ideas and Contradictions of Reality, in: A. Rotkirch and E. Haavio-Mannila, eds., *Women's Voices in Russia Today*. Dartmouth, p. 206–234.

Therborn G. 2004. *Between Sex and Power. Family in the World, 1900–2000*. London, New York: Routledge.

Thompson P. 1997. Women, Men and Transgenerational Family Influences in Social Mobility, in D. Bertaux, P. Tompson, eds., *Pathways to Social Class. A Qualitative Approach to Social Mobility*. Oxford: Clarendon Press, p. 32–61.

Timasheff N. S. 1946. *The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia*. New York: E.P. Dutton and Company Inc.

Turner B. 1990. Outline of a theory of citizenship, *Sociology*, vol. 24, N 2, p. 189–217.

Tuttle L. 1986. *Encyclopedia of Feminism*. New York: Arrow Books.

Vainshtein O. 1996. Female Fashion. Soviet Style: Bodies of Ideology, in: H. Goscilo and B. Holmgren, eds., *Russia, Women, Culture*. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press.

Walby S. 1986. *Patriarchy at Work*. Polity Press.

Walby S. 1990. *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.

Walby S. 1994. Is Citizenship Gendered?, *Sociology*, vol. 2, N 2, p. 379–395.

Watson J. 2001. Genealogy, in: M. Jolly, ed., *Encyclopedia of Life Writing. Autobiographical and Biographical Forms*. Vol. 1 A-K. London; Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, p. 361–363.

Watson P. 1993 Eastern Europe Silent Revolution: Gender, *Sociology*, vol. 27, N 3. p. 471–487.

Watson P. 1997. Civil Society and the Politics of Difference in Eastern Europe, in: J.W. Scott, C. Kaplan and D. Keates, eds., *Transition, Environments, Translations. Feminism in International Politics*. London: Routledge, p. 21–29.

West C., Zimmerman D. 1982. Conversational Analysis, in: K. Scherer and P. Ekman, eds., *Handbook of Methods in Nonverbal Behaviour Research*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 506–541.

Worobek Ch. 1991. Accommodation and Resistance, in: B. Clements, B. Engel and Ch. Worobec, eds., *Russia's Women*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, p. 17–28.

Young, I. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.

Zdravomyslova E. The Problems of Becoming a Housewife, in: *Women's Voices: Work, Everyday Life and Social Skills of Russian Women*. Dartmouth Publishers, 1996.

Zdravomyslova E. 2001. Hypocritical Sexuality of the Late Soviet Period: Sexaul Knowledge and Sexual Ignorance, in S. Webber, I. Liikanen, eds., *Education and Civic Culture in Post-Communist Countries*. Palgrave, p. 151–167.

Zhuk O. 1994. The Lesbian Subculture: The Historical Roots of Lesbianism in the Former USSR, in.: A. Posadskaia, ed., *Women in Russia*. London: Verso, p. 146–153.

Научное издание

Труды факультета политических наук и социологии

Выпуск 12

Российский гендерный порядок: социологический подход

Коллективная монография

Утверждено к печати Ученым советом
Европейского университета в Санкт-Петербурге

Редактор, корректор — Т.Л. Ломакина
Верстка — М.Ю. Кондратьевой

Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, 3
www.eusp-press.spb.ru
e-mail: books@eu.spb.ru

Подписано в печать 02.04.2007
Усл. печ. л. 19,1.
Тираж 800 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии **издательства**
ООО Издательство «Нестор-История»
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7
тел. (812) 2356815 nestor@mail.wplus.net